

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1989

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ    Н. И. ТОЛСТОЙ

### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПОЛОМЕ Э. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	РАСТОРГУЕВА В. С.
БУДАГОВ Р. А.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАРДУЛЬ И. Ф.	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВАХЕК Й. (ЧССР)	<b>СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.</b>
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ГУХМАН М. М.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	УОТКИНС К. (США)
ДЖАУКЯН Г. Б.	ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ДОМАШНЕВ А. И.	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХЕМП Э. (США)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ШВЕДОВА Н. Ю.
ЗИНДЕР Л. Р.	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. РС.	ШАРБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

М а й р х о ф е р М. (Вена). О принципах составления древнеиндоарийского этимологического словаря . . . . .	5
П а д у ч е в а Е. В. (Москва). Идея всеобщности в логике и в естественном языке . . . . .	15
П е т р е н к о В. Ф., Н и с т р а т о в А. А., Р о м а н о в а Н. В. (Москва). Рефлексивные структуры обыденного сознания (На материале семантиче- ского анализа фразеологизмов) . . . . .	26
М у р я с о в Р. З. (Уфа). Словообразование и теория номинализации . . . . .	39
Ш е р в а ш и д з е И. Н. (Тбилиси). Фрагмент общетюркской лексики. Заим- ствованный фонд . . . . .	54
Г и п н и у с А. А. (Москва). Система формальных признаков языка древне- русской письменности как предмет лингвистического изучения. . . . .	93
П о л и н с к а я М. С. (Москва). Порядок слов «объект — субъект — глагол»	111

### К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

#### Р е ц е н з и и

Ж и в о в В. М. (Москва). <i>Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata</i> . . . . .	136
В е р е щ а г и н Е. М. (Москва). <i>Gröber B., Müller L. Vollständiges Wörterver- zeichnis zur Nestorchronik</i> . . . . .	141
В и н о г р а д о в В. А. (Москва). <i>Noun classes and categorization</i> . . . . .	144
Р е в з и н а О. Г. (Москва). Именные классы в языках Африки . . . . .	148

#### Н А У Ч Н А Я Ж И З Н Ъ

Хроникальные заметки . . . . .	152
--------------------------------	-----

## CONTENTS

M a y r h o f e r M. (Vienna). On the principles of compiling an Old-Indo-Aryan etymological dictionary; P a d u č e v a E. V. (Moscow). Universal quantification in logics and in natural languages; P e t r e n k o V. F., N i s t r a t o v A. A., R o m a n o v a N. V. (Moscow). Reflexive structure of common consciousness (founded on the semantic analysis of phraseologisms); M u r i a s o v R. Z. (Ufa). Word-formation and the theory of nominalization; S h e r v a s h i d z e I. N. (Tbilisi). A fragment of Common Turkic word-stock. Loanwords; G i p p i u s A. A. (Moscow). A system of formal features in the language of Old Russian written monuments as an object of linguistic research; P o l i n s k a j a M. S. (Moscow). The word order «object—subject—verb»; **Surveys:** Z i v o v V. M. (Moscow). *Studia slavica mediaevalia et humanistica* Riccardo Picchio dicata; V e r e š č a g i n E. M. (Moscow). *Gröber B., Müller L. Vollständiges Wörterverzeichnis zur Nestorchronik*; V i n o g r a d o v V. A. (Moscow). Noun classes and categorization; R e v z i n a O. G. (Moscow). Nominal classes in the languages of Africa; **Scientific life.**

МАЙРХОФЕР М.

**О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕИНДОАРИЙСКОГО  
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ**

Около тридцати лет автор этих строк, которому в свое время выпала честь рассказать о своей работе на страницах «Вопросов языкознания», трудился над этимологическим словарем древнеиндийского языка (санскрита). Задуманный в молодости «краткий» словарь — этот неподходящий эпитет сохранился и после появления четвертого тома — открывался предисловием к первому тому, датированным 22 августа 1951 г., и завершался послесловием к последнему, справочному, тому, написанному весной 1980 г. [1, т. I, с. XV; т. IV, с. IV]. Указанная работа, которую автор давно уже считает незрелой в ее начальной части, — именно это побудило меня написать новую книгу, которая начала выходить в год моего 60-летия и о которой здесь пойдет речь <sup>1</sup>, — является в настоящее время единственным крупным завершенным этимологическим словарем древнеиндоарийского, который следует считать ключевым для индоевропеистики. Ранее был завершен лишь действительно «краткий» (объемом 367 с.) словарь К. К. Уленбека [3]; другие словари не были закончены: так, намного превосходящий словарь Уленбека по фундаментальности анализа индийского и иранского материала и по полноте библиографии словарь братьев Лойман, который и в наши дни не может не приниматься в расчет, был доведен только до словарной статьи *jū* [4], а широко задуманная книга В. Вюста [5], которая сейчас представляет лишь библиографическую ценность, будь она закончена, стала бы многотомным сводом унифицированной информации по всем проблемам древнеиндоарийской лексики. Появился лишь «Выпуск 1—3» (1935 г.) этой книги, содержащий только четыре словарные статьи на букву *a*; к сожалению, автор, находящийся сейчас уже в преклонном возрасте, по-видимому, не будет продолжать прерванную в 1935 г. работу.

Почему автор этих строк, у которого работа над первым этимологическим словарем древнеиндоарийского [1] заняла около 30 лет, попытался посвятить этой проблеме еще одну книгу [2]? Ответ отчасти уже был дан выше: первый том книги, написанный мной в 20—30-летнем возрасте, не удовлетворяет автора в настоящее время, когда он вступил в седьмое десятилетие своей жизни. «„Этимологический словарь древнеиндоарийского (ЭСДИА)“ — это не новое издание „Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка“. С последним его объединяют только тема и автор. Хотя это и позволяет в отдельных случаях сохранить в новой книге прежние формулировки, читатели смогут убедиться, что автор почти никогда не пользуется этим правом», — так открываются «Предварительные замечания» к новому словарю [2, с. 1].

<sup>1</sup> К настоящему времени опубликовано три выпуска примерно по 80 страниц [2]; словарь, который теперь уже не характеризуется эпитетом «краткий», должен состоять из трех больших томов.

Что же изменилось между 1951 и 1985 гг.<sup>2</sup> — не только в жизни автора этих строк, который долгие годы учился и копил опыт, но и в индоевропеистике и, в особенности, в изучении древнеиндоарийского языка? Многие! Прежде всего, в образцовых работах К. Гоффмана (род. в 1915 г.)<sup>3</sup> был выработан новый метод, который, конечно же, применялся и раньше — такими учеными, как Я. Вакернагель<sup>4</sup>, — но стал активно использоваться большинством индоевропеистов лишь с 1950 г.: лексика языка, на материале которого проводятся этимологические исследования, должна быть подвергнута тщательнейшему филологическому анализу. Необходимо изучить тексты, разграничить архаичные и новые типы употребления и детально выяснить значения слов в текстах. Более того, в новом «ЭСДИА» [2] сначала приводится только лексика «раннего языка», и лишь потом — лексика «позднего языка», причем в последнюю категорию попадают слова, впервые засвидетельствованные не раньше появления эпоса или юридических трактатов. «Я убежден, что практиковавшийся до сих пор способ подачи древнеиндоарийского этимологического материала, когда ведийские и средневековые употребления уравниваются в правах, сходен с таким типом этимологического словаря — теоретически возможного и даже любопытного — греческого языка, который объединял бы микенские и гомеровские слова с византийскими и новогреческими» [2, с. 2]. Мой опыт показывает, что слова, в первые засвидетельствованные в «позднем языке» (т. е. не те, которые появляются уже в ранней литературе, в Ведах, но зафиксированы и в Махабхарате или в классическом санскрите), по большей части являются «инородным телом» — заимствованиями из средне- и новоиндоарийских разговорных языков, из неиндоевропейских языков Индии, а также переосмыслениями переставших быть понятными ведийских слов, заимствованных из древних текстов<sup>5</sup>. С другой стороны, необходимо учитывать, что большинство слов раннего языка (Ригведа и другие Веды) — помимо тех, для которых не удается найти ясную этимологию, — это характерно для любого языка, — имеют индоиранское происхождение (и, таким образом, обнаруживают соответствия в одном из иранских языков) и в большинстве случаев как исконные слова («Erbwörter») восходят к индоевропейскому в соответствии с древнеиндоарийскими фонетическими законами.

Эти два соображения обуславливают ряд требований к составлению раздела «Ранний язык» древнеиндоарийского этимологического словаря.

1. Существуют древнеиндоарийские слова, которые имеют бесспорное индоевропейское происхождение и, следовательно, должны принадлежать к общеиндоиранской лексике, — однако в древнеиранском материале, приведенном в словаре Хр. Бартоломэ [10], их обнаружить не удается.

<sup>2</sup> Предварительные замечания к [2] датированы 10 мая 1985 г. [2, с. 6].

<sup>3</sup> Немногочисленные, но весьма ценные работы этого ученого, который является для меня, пожалуй, крупнейшим индоевропеистом и, разумеется, крупнейшим индологом и иранистом нашего времени, собраны в [6].

<sup>4</sup> Из большого наследия этого маститого швейцарского ученого (1853—1938) для изучения древнеиндийского материала наиболее ценна обширная, но, к сожалению, не вполне завершенная грамматика [7], в которой отсутствует IV т. «Глагол — Наречие», а также большинство его великодушных работ, собранных в [8].

<sup>5</sup> Известный пример — слово *ibha-*, которое в Ригведе и других древних текстах означает только «прислуга, свита, двор» (ср. [2, с. 194]); в позднем же языке *ibha-* имеет значение «слон», и, согласно знаменитой работе Л. Рену [9], значение «слон» обязано своим возникновением лишь ошибочной интерпретации ведийских текстов. В таком случае сопоставления со словами, имеющими значение «слон» в египетском и других языках, оказываются несостоятельными.

Объясняется это просто: авестийский материал невелик по объему (тексты содержат много повторений), а древнеперсидский и вовсе мал; в связи с этим слова определенных семантических полей в обоих языках могут быть вообще не засвидетельствованы. Тем не менее такие слова в большинстве своем реально существовали в древнеиранском и продолжают свое существование в тех средне- и новоиранских языках, предки которых не были засвидетельствованы в древности, сохранившей для нас лишь два иранских языка (восточноиранский — авестийский и юго-западноиранский — древнеперсидский). Поскольку пока нет сравнительного словаря иранских языков, в котором следовало бы искать соответствующий лексический материал, автор этимологического словаря санскрита вынужден обращаться к литературе по более поздним иранским языкам, а также — рассылая «опросные листы» — к ряду специалистов, занимающихся соответствующими языками, в том числе к выдающемуся советскому иранисту И. М. Стеблин-Каменскому (ср. [2]: обратная сторона задней обложки в вып. 2). Приведу один пример того, как приходится устанавливать индоиранский характер старого, засвидетельствованного уже в ведийском, слова, имеющего и.-е. происхождение.

Древнеиндоарийское слово *śasá-* «заяц» засвидетельствовано уже начиная с Ригведы. Оно возникло в результате ассимиляции сибилантов (*ś* — *s* → *ś* — *ś*) из *\*śasá-*, а *\*śas°* восходит к и.-е. *\*kas-*, отраженному в нем. *Hase*, и т. д. В иранском к моменту появления книги Уленбека [3] было известно только одно соответствие: пушту (афганское) *zōe* «заяц». Конечно, уже из этого можно было бы заключить, что *śasá-* восходит к *\*śasá-*, однако это обстоятельство часто игнорировалось<sup>6</sup>. Иранская праформа *\*saha-* стала очевидной позднее, когда в XX в. были обнаружены — главным образом в ходе турфанской экспедиции — прежде не известные иранские языки, в частности, хотаносакский, в котором существует слово *saha-* «заяц»<sup>7</sup>. После того, как соответствия индоарийскому *\*śasá-* стали известны уже в нескольких поздних иранских языках, Г. Клингеншмитт показал косвенным путем, используя метод строгого филологического анализа, что то же происхождение имеет ожидаемая в соответствии с фонетическими законами древнеиранская авестийская форма *saṃha-* [12].

Другое направление поиска при изучении этимологии индоарийских слов, которым на первый взгляд не удастся найти соответствия в иранском, — древнеиранская *о н о м а с т и к а*, привлечение которой стало особенно актуальным после открытия персепольских хозяйственных архивов, где были найдены таблички, содержащие почти 2000 собственных имен, большей частью иранских. Так, появляющееся уже в Ригведе прилагательное *vigrá-* «резвый, деятельный» как будто бы не имеет иранских соответствий — кроме имени *\*Vigrāspa-* «с резвыми лошадьми», которое сохранили эламские клинописные таблички в закономерном написании *Mi-ik-ra-aš-ba*; кроме того, входящая в состав сложных слов форма *\*vig-i-*, ожидаемая в соответствии с так называемой суффиксальной системой Каланда наряду с *vig-rá-*, сохранилась в авестийских собственных именах с первым компонентом *viži*<sup>8</sup>.

2. Второе важное требование к новому этимологическому словарю — точное установление и.-е. праформ (*Herkunftsquellen*). Эта задача особен-

<sup>6</sup> См. библиографию в [1, т. III, с. 317].

<sup>7</sup> Ср. теперь словарь Бейли [11], который приводит соответствия хотаносакским словам в других иранских языках и тем самым в известной степени восполняет отсутствие сравнительного словаря иранских языков.

<sup>8</sup> По поводу обоих примеров см. [13] (с библиографией), [14].

но трудна, поскольку несмотря на разговоры о «завершенности индоевропеистики», реконструкция сложных парадигм с подвижным ударением, необходимая для того, чтобы понять происхождение многих древнеиндоарийских форм<sup>9</sup>, или установление рефлексов и.-е. форм с ларингалами<sup>10</sup> — исключительно трудоемкая работа и в то же время одна из предпосылок составления этимологического словаря древнего и.-е. языка на современном уровне исследований. Автор нового словаря недвусмысленно высказался о необходимости восстановления и.-е. праформ в «Предварительных замечаниях»: «На вопрос об и.-е. происхождении лексической единицы я отвечаю, если это возможно, реконструкцией праформы; не существует более надежного способа доказать бесспорный характер еще не установленного соответствия с точки зрения фонетических изменений и характера флексии, словообразовательной и корневой структуры» [2, с. 5]. Позволю себе показать на одном примере, как непросто обосновать общепризнанную и.-е. параллель в соответствии с нынешним состоянием исследований, если не довольствоваться приблизительным «сходством», а стремиться к доказательству путем реконструирования.

Прилагательное *kulva-* «лысый, плешивый» употребляется в качестве самостоятельного слова в поздневедийском (и в одной из шраутасутр); более древнее употребление засвидетельствовано в ранней Ваджасанейи-самхите, где встречается сложное слово *āti-kulva-* «слишком плешивый», причем редакция школы Канва сохраняет это слово в виде *āti-kūlva-*. Уже на заре индоевропеистики (<sup>o</sup>)*kūlva-* сопоставляли с лат. *calvus* «лысый»; иранское соответствие не бесспорно, так как младоавест. *kauruuā-*, характеризующее один из физических недостатков, видимо, означает не «лысый», а «короткий, искривленный» (см. уже [1, т. I, с. 243, 305]). Как доказать точное соответствие (*āti*-)*kūlva-* и лат. *calvus*?

Я считаю, что соответствие (<sup>o</sup>)*kūlva-* и *calvus* подтверждается и.-е. праформой *\*k̑H-uo-*. Это не так-то просто — если вообще возможно — доказать<sup>11</sup>. Что касается индоарийского, форму редакции Канва, *-kūlva-*, следует признать более архаичной; сокращение долготы перед сочетанием согласных (*-ūlv > -ulv-*) — известное явление<sup>12</sup>, а изменение *-iHC > -ūlC-* — закономерно. Гораздо сложнее ситуация в латыни и других итальянских языках. Само по себе лат. *calvus* могло бы возникнуть из *\*calavos* в результате синкопы, причем *\*-ala-* должно было бы восходить к ударному *\*-iH-*<sup>13</sup>. Этому как будто бы противоречит оск. *Kalūvieis*, что побудило выдающегося ученого Ф. Солмсена реконструировать *\*calovos* [19]. Не исключено, однако, что оскское имя было преобразовано по аналогии со многими другими именами на *-ovios* [19] и *calvus* может точно так же восходить к *\*calavos > \*caluvos*, как *salvus* — к *\*salavos > \*saluvos* (что можно предположить на основании весьма архаичной, относящейся, воз-

<sup>9</sup> Ср. в новом словаре сложные праформы, позволяющие выяснить этимон слов *ātman-ītmān-* «дыхание, душа» [2, с. 164 и сл.] или *usās-* «утренняя заря» (лат. *aurōra* и т. д. [2, с. 236 и сл.]). Связанные с этим исследования по и.-е. именному словоизменению до сих пор не завершены; в них опять-таки внесли большой вклад выдающийся ученый К. Гофман (см. выше примеч. 3) и его ученики.

<sup>10</sup> По поводу ларингальной теории ср. из последних работ книгу Линдемана [15] и обзор Р. Шмитта в ВЯ [16]. См. также ниже примеч. 21.

<sup>11</sup> Попытка реконструировать единую праформу может не увенчаться успехом — в таком случае приходится довольствоваться реконструкцией «вариантов» (на *-эuo-* и на *-эuo-*), как это принято в традиционной этимологии (ср. у Покорного [17]).

<sup>12</sup> Ср. об этом в «Kleine Schriften» Вакернагеля [8].

<sup>13</sup> См. библиографию в [18].



можно, к тому времени, когда еще не произошло явление синкопы, надписи VII в. до н. э. *saluetod tita* [20]). Существует еще возможность попытаться возвести оск. -ovos через \*-uvos к \*-avos<sup>14</sup>. Итак, можно остановиться на \*calavos (> calvus) < \*k<sup>h</sup>uovos = вед. °kūlva- и, таким образом, возводить ведийское и италийское слова к одной и.-е. праформе.

Но заключается ли задача нового этимологического словаря лишь в более точном обосновании давно (уже с XIX в.) известных соответствий, таких, как °kūlva-/calvus? никоим образом. Нельзя согласиться с высказыванием одного из крупнейших в истории индоевропеистов, В. Шульце [21]: «Индоевропейские этимологии, обоснованием которых служит их наглядность и неоспоримость, лежат на поверхности, и в том чтобы их обнаружить, нет, как правило, никакой заслуги; заслуга заключается лишь в том, что этимология устанавливает или уточняет смысл слова». Впрочем, возможно, приведенные выше мои рассуждения не противоречат тезису В. Шульце, а наоборот, подтверждают его: и в наши дни можно обнаружить хорошие этимологии, если исследовать изучаемые языки филологическим методом или опираться на уже имеющиеся филологические исследования, выполненные на высоком уровне. Вот несколько примеров.

Неоднократно засвидетельствованное в Атхарваведе слово *takmān-* авторитетный словарь Бётлингга и Рота [22, ч. III, стлб. 192] переводит как «определенная болезнь», возможно, «целый ряд болезней, сопровождаемых жаром и сыпью на коже». Большинство этимологов вплоть до наших дней на основании этих весьма неопределенных данных предлагали лишь осторожные гипотезы о происхождении этого слова, связывая его с санскритскими корнями *tak* «бежать, течь» или *tañc* «собирать». Однако уже в 1865 г. (!) можно было бы установить на основании имеющихся филологических исследований [23], какую болезнь обозначает *takmān-*, — это, без сомнения, «лихорадка». А для обозначения этого понятия в индоиранских языках используются производные от корня *tap* «быть горячим» (авест. *tafnu-*, *tafnah-* «лихорадка» и т. д.); *takmān-*, как показал К. Гофман [6], возникло в результате диссимиляции из \**tap-mān-*. Хорошей параллелью к такой диссимиляции служит, например, др.-лит. *sēkmas* «седьмой» из \**sepmas* (ср. лат. *septimus*).

С другой стороны, филологическое исследование, учитывающее действительные реалии, опровергает многие лежачие на поверхности этимологии. Для засвидетельствованного уже в Ригведе слова *akṣā-* («игральная» кость) очевидной предполагалась грамматически корректная этимология — *akṣā-* «имеющий глаза» (*ākṣi-* «глаз»), поскольку в представлении европейцев игральные кости снабжены «очками» (круглыми насечками — от одной до шести). Однако благодаря глубоким исследованиям Г. Людерса были полностью выяснены условия и характер индийской игры в кости и, в частности, то, что *akṣā-* — это не «кости» (с «глазами»), а орехи дерева *Terminalia bellerica Roxb.*; захват определенного числа орехов приводил к выигрышу. Таким образом, кажущееся очевидным толкование *akṣā-* как \*«имеющий глаза» опровергается р е а л и я м и; вероятно, название ореха *akṣā-* — ботанический термин, заимствованный из какого-либо автохтонного языка Индии<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Можно еще было бы объяснить оскскую форму диссимиляцией \**kala-* > \**kalo-*. Я весьма признателен за ряд ценных замечаний по поводу приведенных выше выкладки коллеге и одному из первых своих учеников М. Петеру (Вена).

<sup>15</sup> Детальное обсуждение и библиографию см. теперь в [2, с. 42].

Внимательное изучение текстов может неожиданно прояснить считавшуюся прежде неясной этимологию. Начиная с Махабхараты засвидетельствовано слово *akṣauhiṇī* «войско», считавшееся загадочным до тех пор, пока Я. Шарпантье <sup>16</sup> не обнаружил в одном палийском тексте выражение *senā . . . akkhobhaṇī* «непоколебимое (*a-kkhobhaṇa-*) войско (*senā*-)». Тем самым ситуация неожиданно прояснилась: в одном из среднеиндоарийских языков существовало слово «войско» (*senā-*), сопровождавшееся эпитетом «непоколебимый» (*\*a-kṣobhaṇī-*), который в форме *\*ak-khobhiṇī-* вошел в употребление, превратившись из эпитета в самостоятельное существительное (подобно итал. *strada* < лат. [*via*] *strāta*, нем. *Elektrische* < *elektrische Straßenbahn* «электрический трамвай» и т. д.). Исследуемое слово — результат преобразования (отчасти ошибочного) санскритского прототипа: *-kkh-* правильно заменили на *-kṣ-*, а *-o-* в результате гиперкоррекции ошибочно исправили на *-au-*, не учитывая при этом, что палийскому *-h-* в санскрите соответствует *-bh-*.

Иногда правдоподобную этимологию помогает отыскать общелингвистический опыт. Позволю себе привести одно собственное объяснение. Засвидетельствованное начиная с Махабхараты слово *nitamba* «зад, ягодицы (у женщины)» не имеет достоверной этимологии: обычно его анализировали как *\*ni-tamba-*, апеллируя к сомнительным и.-е. соответствиям, чтобы объяснить *\*-tamba-* [1, т. II, с. 162]. Однако если вспомнить, что слова этого семантического поля часто претерпевают геминацию <sup>17</sup> и что для передачи понятия «зад» часто служат описательные выражения, как лат. *posteriora*, нем. *der Hintere*, то правдоподобным выглядит объяснение посредством *\*ni-tama-* «(самое) нижнее» (=авест. *nitama-* «положенный глубже всего, в самом низу») с геминированным вариантом *\*nitamma-*, преобразованным в *nitamba-* (*-mb-* возникло в результате контактной диссимляции из *mm-* и представляет собой своеобразную санскритизацию).

Разумеется, этимологический словарь, по выражению Г. Шухардта [25], должен ставить целью выяснение вопроса не только о том, «откуда пришли слова, но и куда они идут». Современный древнеиндоарийский словарь дает возможность легко ответить на этот вопрос: с 1966 г. мы располагаем полным сравнительным словарем индоарийских языков Р. Тёрнера [26]. В большинстве случаев достаточно просто сослаться на эту великолепную книгу, чтобы доказать, что слово исчезло уже в раннем ведийском или, наоборот, сохранилось во многих средне- и новоиндоарийских языках. Особенно важны данные словаря Р. Тёрнера для раздела «Поздний язык» моего этимологического словаря, где встречаются слова, зафиксированные только санскритскими лексикографами. Последних можно заподозрить в том, что они изобрели такие слова из псевдонаучных соображений <sup>18</sup>. Но если такое слово сохраняется во многих новоиндоарийских языках, на которых говорят миллионы человек, то вполне вероятно, что лексикограф не изобрел его, а услышал в современном ему разговорном языке.

Для другого рода этимологических исследований также следует привлекать данные средне- и новоиндоарийских языков: бывает, что они на-

<sup>16</sup> См. по этому поводу (и о ранних гипотезах) в [1, т. I, с. 16 и сл.].

<sup>17</sup> Примеры и библиографию см. в [24].

<sup>18</sup> Известный пример — слово *put* «ад», которое изобрели, чтобы объяснить псевдонаучным образом *putrá-* «сын» через *put-tra-* «спасенный из ада». Из лексикографических трактатов это слово заимствовали даже некоторые поздние поэты, и один индоевропеист счел эту этимологию правильной! (ссылки см. в [1, т. II, с. 303]).

следуют лексику, не сохранившуюся в тех диалектах, которые зафиксированы в древнеиндоарийских текстах. Так, безукоризненное соответствие греческому *týrós* «сыр» существует, вероятно, лишь в одном из поздних среднеиндийских языков, апабхрамша, в виде *tūra-* [27]. Тем не менее ввиду уникальности соответствия эту этимологию следует еще проверить. В целом же я сохраняю скептическое отношение к такого рода гипотезам, высказанное в одной из моих статей [28], и не разделяю оптимизма недавней работы К. Р. Нормана [29], который отыскивает в среднеиндоарийском многие и.-е. архаизмы, на первый взгляд отсутствующие в древнеиндоарийском. В некоторых случаях его можно опровергнуть методами ономастиологии, задавшись вопросом о мотивах номинации. Так, он полагает, что палийское *pāṇikā* «ложка» не связано с скр. *pāṇi-* «рука», а восходит непосредственно к той же и.-е. праформе, что и англ. *spoon*. Если же детально рассмотреть эту проблему, то становится ясно, что не так-то просто корректно сопоставить *spoon* и *pāṇikā-*; с другой стороны, на примере скр. *dāru-hastaka-* «деревянная ложка» видно, что способ семантической мотивации для названия ложки — «ручка» (*-hasta-ka-*); таким образом, *pāṇikā* «ложка» должно соотноситься с распространенным индоарийским словом *pāṇi-* «рука».

И последнее замечание. Мой первый словарь [1] отличался от своих предшественников — словарей Уленбека [3] и братьев Лойман [4] — признанием существования в санскрите многочисленных заимствований из дравидийских языков и языков мунда. Ведь незадолго до начала работы над [1] появилось несколько работ Т. Барроу о дравидийских заимствованиях в санскрите <sup>19</sup> и вышла книга Ф. Б. Я. Койпера о словах протомунда в древнеиндоарийском [31]. Разумеется, мой новый словарь [2] также содержит ссылки на эту литературу, однако читатель не сможет не заметить моего явного скепсиса в отношении интерпретации индоарийских слов из дравидийских источников или языковых памятников на языках мунда, особенно слов раннего санскрита. Я не отвергаю принципиальную возможность заимствования чужих слов — хотя следует заметить, что обычно язык сохраняет лексику предшествующей стадии своего развития, подвергнушуюся изменениям в соответствии с фонетическими законами, а если происходит заимствование слов из другого языка, то это — исключение из правила, требующее специального обоснования. Действительная трудность заключается в том, что пока не существует реальной возможности реконструировать дравидийские и, особенно, мунда праформы точно в том виде, в каком они существовали во II тысячелетии до н. э., когда они могли быть заимствованы в язык Ригведы. Особенно это очевидно в случае с «протомунда»: языки мунда были описаны лишь в прошлом и нынешнем столетиях — таким образом, исследователю приходится преодолевать пропасть более чем в три тысячи лет! Хотя такой замечательный лингвист, как Ф. Б. Я. Койпер, и предпринял подобную попытку, опираясь на свою великолепную научную подготовку, его реконструкция форм протомунда [31, прежде всего с. 6 и сл.] скорее заставляет восхищаться остроумием и терпением ученого, нежели рассматривать описанное им происхождение древних ведийских слов из протомунда как нечто большее, чем просто гипотеза (не бесспорная и не доказанная).

<sup>19</sup> Итоговый перечень санскритских слов, для которых наиболее вероятно дравидийское происхождение, приводится в главе «Заимствованные слова в санскрите» [30, особенно с. 381 и сл.]. (См. также русский перевод этой книги, выполненный со второго, более раннего (1959 г.) издания [30, с. 354—361]. — *Примеч. перев.*)

В отличие от своей первой, написанной в юности книги [1], в новом словаре [2] я, хотя и ссылаюсь на гипотезы Койпера с должным уважением, не считаю их окончательным решением проблемы.

Проблематично — хотя и в другом отношении — апеллирование к дравидийским языкам как источнику пополнения лексики санскрита, в особенности на ранней стадии его развития. Правда, ситуация с дравидийским более благоприятна, чем с языками мунда: существует несколько хорошо засвидетельствованных литературных языков, из которых важнейший, тамильский, зафиксирован, вероятно, уже с начала нашей эры. Фонетические законы изучены лучше, лексика собрана в образцовом этимологическом словаре [32]. Проблема тут в том, что дравидийские языки слишком близки друг к другу, в связи с чем прадравидийская фонологическая система почти идентична фонологической системе древнейшего из дравидийских языков, тамильского; реконструкция часто оказывается лишь немногим древнее его первых письменных фиксаций. Вероятно, это аналогично ситуации в славистике, где реконструкция праславянского \**čьrnъ* «черный» лишь слегка отличается от древнейшей засвидетельствованной формы, ст.-сл. *čьrnъ* — только сопоставления с неславянскими и.-е. языками делают реконструкцию менее тривиальной (др.-пруск. *kirsna-*, вед. *kr̥ṣṇá-*, и.-е. \**kr̥snó-*). Но в то время как родство славянских языков с другими и.-е. языками уже с начала XIX в. не вызывает сомнений, попытки объединить дравидийские языки с какой-либо другой семьей в рамках более древней языковой общности пока не увенчались успехом. Что же касается дравидийских заимствований, это означает — в особенности когда речь заходит о раннем санскрите (ок. 1000 г. до н. э.), — что мы не знаем наверняка, могла ли соответствующая данному индоарийскому слову общедравидийская форма иметь тот или иной определенный облик: метод реконструкции не позволяет нам проникнуть так глубоко.

Тем не менее существование дравидийских слов, особенно в позднем санскрите, не подлежит сомнению. Возможно, наиболее убедительная простая аргументация, которой пользуется Менакшисундаран [33]: такие слова, как тамиль. *nīr* и скр. *nīra-* «вода», тамиль. *tīn* и скр. *tīna-* «рыба», встречаются почти во всех дравидийских языках; дравидийские языки не имеют других общих слов для обозначения воды и рыбы, они не могут обходиться без этих слов — в то время как санскрит имеет и другие слова со значением «вода» и «рыба» и потому в нем могли отсутствовать *nīra-* и *tīna-*. Таким образом, либо сходство дравидийских \**nīr*, \**tīn* с скр. *nīra-*, *tīna-* — случайность, либо эти слова связаны, причем исходными формами являются дравидийские. *Tertium non datur*<sup>20</sup>.

\*

Сравнение старого этимологического словаря (предисловие к нему я написал в 1951 г.) с новым (который я сдал в печать в 1985 г.), вероятно, свидетельствует в пользу последнего. Тем не менее и сегодня не соблюдены все условия для создания идеального этимологического словаря древнеиндоарийского языка; многие из них, видимо, вообще невозможно выполнить — например, в случае с дравидийскими и мунда заимствования-

<sup>20</sup> Об отдельных проблемах, связанных с этими заимствованиями, см. [1, т. II, с. 172 и сл. (*nīra-*, Махабхарата и т. д.), с. 643 и сл. (*tīna-*, начиная с «Законов Ману»)]; см. также [32, с. 328 (тамиль. *nīr* и т. д.), с. 436 (тамиль. *tīn* и т. д.)].

ми; не вполне завершены филологические исследования, прежде всего работа по созданию отвечающего нынешнему уровню науки словаря ранних ведийских текстов. Не существует полного словаря иранских языков. Более всего впечатляет работа, сделанная между 1951 и 1985 гг. в области и.-е. фонологии и морфологии; нельзя не отметить признание ларингальной теории всеми серьезными индоевропеистами (в 1951 г. многие еще отвергали ее<sup>21</sup>); без учета достижений этой теории не могут быть адекватно составлены многие словарные статьи этимологического словаря древнего и.-е. языка. В этой области также желательно появление обобщающей работы, которая бы подвела итог данной стадии исследований,— но не более того; ибо, как гласит санскритское изречение:

*Anantapāraṃ kila śabdaśāstram* («Не имеет предела наука о языке»).

Перевел с немецкого *Куликов Л. И.*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd 1—IV. Heidelberg, 1956—1980.
2. *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd I. Lf. 1—3. Heidelberg, 1986—1988.
3. *Uhlenbeck C. C.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache. Amsterdam, 1898—1899.
4. *Leumann E. und J.* Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-Sprache. Lf. I: Einleitung und a bis jū. Leipzig, 1907.
5. *Wüst W.* Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Alt-indischen). Lf. 1—3. Heidelberg, 1935.
6. *Hoffmann K.* Aufsätze zur Indoiranistik / Hrsg. von Narten J. Bd 1—2. Wiesbaden, 1975—1976. S. 153.
7. *Wackernagel J.* Altindische Grammatik. Bd 1, 2(1), 2(2), 3. Nachträge zu 1 und 2(1). Göttingen, 1896—1957.
8. *Wackernagel J.* Kleine Schriften. Bd 1—3. Göttingen, 1955—1979. S. 343 (Anm. 1).
9. *Renou L.* Les éléments védiques dans le vocabulaire du sanskrit classique // JA. 1939. Bd 231. S. 337 ff.
10. *Bartholomae C.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904. [= фотомеханическая перепечатка — Berlin; New York, 1979].
11. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979. P. 423.
12. *Klingenschmitt G.* Altindisch *śāsvat*-// Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1975. Bd 33. S. 77 (Anm. 3).
13. *Mayrhofer M.* Onomastica Persepolitana. Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen. Wien, 1973. S. 198.
14. *Mayrhofer M.* Die altiranischen Namen // Iranisches Personennamenbuch. Bd I. Wien, 1979.
15. *Lindeman F. O.* Introduction to the «Laryngeal theory». Oslo, 1987.
16. *Шмитт Р.* Прагматика и систематика в ларингальной теории // ВЯ. 1988. № 1.
17. *Рокорны Ж.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Bern; München, 1959. S. 554.<sup>1</sup>
18. *Mayrhofer M.* Die Vertretung der indogermanischen Laryngale im Lateinischen // KZ. 1987. Bd 100. S. 101 (Anm. 64).
19. *Solmsen F.* Studien zur lateinischen Lautgeschichte. Strassburg, 1894. S. 136.
20. *Devoto G.* Storia della lingua di Roma. 2. ed. V. I. Bologna, 1983. P. LXV.
21. *Schulze W.* Kleine Schriften. Göttingen, 1934. S. 724.

<sup>21</sup> Ср. в связи с этим выше примеч. 10, 11, а также мой обзор в [34, с. 121—150]. В моей книге [34, с. 92—97] подробно анализируется также новый вариант реконструкции и.-е. консонантизма, основанный на типологических соображениях (с учетом глоттализированных смычных); его создание связано с именами Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова, П. Дж. Хоппера и других лингвистов. По мере выхода новых выпусков словаря [2] будут учитываться основные аргументы этих исследователей — например, в словарной статье *bāla*- «сила» (ср. [34, с. 99]).

22. *Böhtlingk O., Roth R.* Sanskrit-Wörterbuch. Tl I—VII. St.-Petersburg, 1855—1875.
23. *Grohmann V.* Medicinisches aus dem Atharva-Veda, mit besonderem Bezug auf den Takman // Indische Studien. Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums. 1865. Bd 9. S. 381 ff.
24. *Pfister R.* Methodologisches zu *fluere—fließen* u. ä. // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1969. Bd 25. S. 81 ff.
25. *Hugo-Schuchardt-Brevier.* Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft / Hrsg. von Spitzer L. Halle, 1922. S. 113.
26. *Turner R. L.* A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. L., 1966.
27. *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd II. Heidelberg, 1970. S. 948.
28. *Mayrhofer M.* Das Problem indogermanischer Altertümlichkeiten im Mittelindischen // Studia Indologica. Festschrift für W. Kirfel. Bonn, 1955.
29. *Norman K. R.* The dialectal variety of Middle Indo-Aryan // Proc. of the Fourth world Sanskrit conference, Weimar, May 23—30, 1979. Berlin, 1986.
30. *Burrow T.* The Sanskrit language. L., 1973. (= *Бурроу Т. Санскрит. М.*, 1976).
31. *Kuiper F. B. J.* Proto-Munda words in Sanskrit. Amsterdam, 1948.
32. *Burrow T., Emeneau M. B.* A Dravidian etymological dictionary. 2-nd ed. Oxford, 1984.
33. *Meenakshisundaran T. P.* A history of Tamil language. Poona, 1965. P. 159—160.
34. *Mayrhofer M.* Lautlehre: Segmentale Phonologie des Indogermanischen // Indogermanische Grammatik / Hrsg. von Mayrhofer M. Bd 1—2. Heidelberg, 1986.

ПАДУЧЕВА Е. В.

ИДЕЯ ВСЕОБЩНОСТИ В ЛОГИКЕ И В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Языки математической логики с их точно описанной семантикой в свое время сыграли важную роль в качестве упрощенных, но ясных семантических моделей естественного языка. Современные семантические модели имеют цель, не снижая уровня точности описания, избавиться от упрощения, т. е. адекватно отразить те семантические противопоставления естественного языка, которые на первых порах представлялись несущественными «тонкостями». В данной работе речь идет о семантике кванторных слов *все, каждый, всякий, любой*; в тот же ряд входит и «нулевой» показатель всеобщности, когда всеобщность выражена не словом, а всем контекстом предложения, ср.: *Человек признается в своих недостатках только из тщеславия* (Ларошфуко); *В равнобедренном треугольнике углы при основании равны*.

Важным вкладом логики в лингвистическую семантику является трактовка кванторных слов как сентенциональных операторов. Действительно, слова *все, всякий, каждый, любой*, равно как и нулевой показатель общности, используются главным образом для выражения общего суждения. Однако поначалу считалось, что все эти слова и показатели просто соответствуют квантору общности и, следовательно, синонимичны. Между тем это не так.

Значение (понимаемое как условие истинности) квантора общности определяется в учебниках математической логики следующим образом: предложение  $\forall x P(x)$  [где  $\forall$  — квантор общности,  $x$  — переменная,  $P(x)$  — пропозициональная форма, содержащая  $x$  в качестве свободной переменной] истинно, если  $P(x)$  принимает значение «истина» при всех значениях переменной  $x$ . По А. Черчу [1], переменная — это то же, что собственное имя (или определенная дескрипция), с тем отличием, что имя имеет единственный денотат, а переменная «пробегает» некоторую область значений (т. е. множество допустимых значений, или иначе — квантифицируемое множество).

*Замечание.* В лингвистических применениях логики удобно исходить из того, что квантор общности может быть ограниченным, т. е. что область значений переменной  $x$  может быть задана специальным ограничительным условием. Например, во фразе *Всякий равносторонний треугольник является равноугольным* квантифицируемое множество состоит из равносторонних треугольников. Иначе говоря, с каждой переменной связан некоторый концепт — значение общего имени в составе именной группы; он и задает квантифицируемое множество.

В естественном языке на месте одной «идеи всеобщности» имеется около десятка вполне отчетливых семантических противопоставлений, которые заставляют носителя языка выбирать для выражения всеобщности то одни языковые средства, то другие. Ниже следует перечень этих противопоставлений.

Противопоставление 1. Идея всеобщности связана с идеей множественности. Множественность, как она выражается в естественном языке, может быть разделительной и собирательной. Квантор общности в логике выражает всеобщность только в контексте разделительной множественности: в формуле  $\forall x P(x)$  пропозициональная форма  $P(x)$  указывает на свойство отдельного объекта класса  $x$ , а квантор означает, что это свойство выполняется для всех объектов того же класса (например: *Все вороны черные*  $\approx$  «Этот ворон черный, тот ворон черный, и так для всех воронов»). Между тем естественные языковые показатели всеобщности способны выражать всеобщность также в контексте собирательной множественности<sup>1</sup> (о противопоставлении собирательной и разделительной множественности см. [3]). Так, фраза *Все участники конференции собрались в актовом зале* не может быть представлена с помощью квантора общности, поскольку слово *собраться* имеет аргументом множество в целом и бессмысленно в применении к единичному его элементу, например, к одному человеку. Ср. также *Общее число всех выступивших достигло двадцати* (о способе представления собирательной множественности в логическом языке см. [4, с. 89]).

Противопоставление 2 касается количества элементов в области значений переменной. Для квантора общности в логике число элементов в квантифицируемом множестве (его «мощность») безразлично. Для естественного языка это не так.

А. Если множество конечно, то идея всеобщности может быть выражена словом *каждый* или *каждый из*, ср. [3, с. 90; 4]; с другой стороны, *всякий* в применении к конечным множествам в современном языке не употребляется<sup>2</sup> (ср. *каждый из них, каждый из этих двух, но \*всякий из них; \*всякий из этих двух*):

(1) а. *Каждый из них побывал на нашей выставке.*

б. *\*Каждый из бобров строит плотины.*

(2) *\*Всякий ее ребенок учится в музыкальной школе.*

Слово *все* безразлично к этому противопоставлению (как, впрочем, и ко всем другим — *все* может выражать всеобщность практически во всех контекстах): ср., с одной стороны, фразу *Все бобры строят плотины* (квантифицируемое множество бесконечно) и, с другой стороны, *Все ее дети учатся музыке* (квантифицируемое множество конечно).

Слово *любой* в одних употреблениях предполагает потенциальную бесконечность квантифицируемого множества, см. пример (3), а в других — нет, см. пример (4):

(3) а. *Пока я ехал сюда, у меня глох мотор на каждом (\*любом) перекрестке.*

б. *На каждом (любом) перекрестке у меня глохнет мотор.*

(4) а. *Биссектриса любого (\*каждого) угла треугольника делит противоположающую сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам;*

б. *Каждой диагональ ромба есть его ось симметрии.*

В (3а) множество перекрестков, которые попадались на дороге, конечно, и *любой* недопустимо, а в (3б) множество потенциально бесконечное, от-

<sup>1</sup> Такой вариант всеобщности можно, используя термин из [2], назвать *тотальной*: собственно всеобщность противопоставлена существованию, а тотальность — партиципальности.

<sup>2</sup> В языке XIX в. эта норма, видимо, еще не сформировалась, ср.: *Вот новая <кухня>, нарочно <бабушка> выстроила отдельно; Теперь у всякого свой угол есть* (Гончаров).



крытое, и любой возможно. Однако в (4б) любой возможно и при конечном множестве.

*Каждый* в применении к бесконечному множеству не исключено, но обычно требует специального контекста. Перечислим эти контексты.

а. В современном русском языке формируется норма (отсутствовавшая в языке XIX — начала XX в.) исключительного употребления *каждой* (вместо *всякий*) с названиями временных отрезков — хотя множество таких отрезков мыслится, разумеется, как бесконечное<sup>3</sup>:

(5) *Каждый день начинается с фабричного гудка; У него каждая минута на учете; Этот вопрос надо каждый раз решать заново.* Ср. также у Пушкина: *День каждый, каждую минуту Привык я думой провождать; Встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба; При наступлении ночи сон каждый раз мною овладевал совершенно.*

Слово *всякий* во временных контекстах воспринимается сейчас как устаревшее, ср.: *...да сколько раз, бывало, В неделю он на мельницу ездил? А? в с я к и й божий день, а иногда и дважды в день* (Пушкин); *Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович достаивал их своим посещением* (Пушкин); *Всякий раз, когда мы встречались с ней... она как бы не сразу узнавала меня* (Набоков).

Исключением является слово *время* — например, надо сказать *во всякое время года*, а не *в каждое время года*; ср. также: *Люди во все времена с большой неохотой сдают насиженные позиции, где все объясняется контекстом объединенности* (см. ниже), но *каждый* исключено. Возможно, дело здесь в том, что множества временных отрезков — таких, как *год, день, час, минута, раз* (но не *время!*) — обладают естественной упорядоченностью, что делает их счетными, а следовательно, «обозримыми» [5]. Другие счетные множества, например, числовые, тоже легко допускают *каждый*, ср.: *Для каждого числа есть число, которое больше его.*

б. В контексте дополнительного значения дистрибутивности (см. ниже) *каждый* свободно квантифицирует в равной мере конечное и бесконечное множество:

(6) *Рано или поздно каждому воздается по заслугам; У каждого человека есть что-то святое; Такие вещи каждый решает сам для себя; В каждой голове должен быть царь <свой>, а не только в одной.*

Опять-таки здесь *каждый* употребляется как бы «вместо» *всякий*.

в. Еще один контекст, где предпочтительно *каждый*, а не *всякий*, несмотря на бесконечность множества, — это контекст должностования:

(7) *Каждый пионер должен быть честным; Об этом должен знать каждый.*

Ср. некоторые не вполне ясные примеры:

(8) *Время к а ж д о г о (\*всякого) о помощи просит; Он ловит к а ж д ы й (\*всякий) доброжелательный взгляд; Это писатель, которым к а ж д ы й русский гордится; Две фигуры называются симметричными относительно данной точки О, если к а ж д о й точке одной фигуры соответствует симметричная ей точка другой фигуры* (Киселев); *К а ж д ы й дурак будет мне указания давать!*

Б. Особый способ выражения всеобщности имеется в русском языке применительно к множеству, состоящему из двух элементов: можно сказать *все четыре, все три*, но вместо *все два* (или вместо *все*, когда известно, что два) надо сказать *оба* (см. [4, с. 99]):

(9) *\*Если все концы отрезка (⇒ оба конца отрезка) принадлежат прямой, то и сам отрезок принадлежит прямой.*

<sup>3</sup> В английском языке этой аномалии нет, ср. русск. *каждый день, каждый второй день, каждые два дня* и англ. *every day, every second day, every two days* (а не *each day*).

В. Естественно, если квантифицируемое множество состоит из одного элемента, то кванторные слова со значением всеобщности в естественном языке не употребляются, а возможны только показатели определенности <sup>4</sup>, в то время как для логической традиции употребления квантора общности это несущественно. Например, в логическом представлении фразы *Перпендикуляр, опущенный из точки на прямую, короче всякой наклонной, опущенной из той же точки на ту же прямую* может быть вовсе не отражено то обстоятельство, что такой перпендикуляр (при фиксированной точке и прямой) ровно один.

Г. Наконец, последнее количественное противопоставление касается непустоты квантифицируемого множества. В логическом языке обычно принимается допущение о непустоте предметной области (см. [1]) — как в случае переменных универсальной области, так и в многосортных исчислениях. Однако ограничительное условие может сделать квантифицируемое множество пустым. Квантор общности, естественно, не реагирует на это различие; между тем языковые показатели общности могут его фиксировать. Так, есть ощущение, что *любой* более чем все остальные кванторные слова уместно в ситуации отсутствия презумпции непустоты квантифицируемого множества, ср.: *Любой (всякий) ее недостаток можно исправить* (различие в экзистенциальной предпосылке — existential import — у слов *each* «каждый» и *any* «любой» усматривает Вендлер [3]). Возможно, это не отдельный признак, а следствие других семантических свойств слова *любой* (см. ниже).

Противопоставление 3 отделяет слова *все* и *каждый*, с одной стороны, от слов *всякий* и *любой* — с другой: *всякий* и *любой* несут презумпцию качественной неоднородности квантифицируемого множества, тогда как в значениях слов *все* и *каждый* такого смыслового компонента нет (ср. об этом в [7]). Так, осмысленно *Задумай любое число*, но странно *Нарисуй любую прямую*. К группе *всякий, любой* примыкает слово *какой-нибудь* (которое служит показателем экзистенциальной квантификации) — оно тоже несет презумпцию неоднородности; к группе *все, каждый* — слова *один* и *несколько*.

Противопоставление 4: наличие — отсутствие дополнительного (т. е. сопутствующего всеобщности) значения дистрибутивности или объединенности <sup>5</sup>. При дополнительном значении дистрибутивности употребляются *каждый, всякий*; а при дополнительном значении объединенности *каждый, всякий* неуместны. Слово *все* возможно при обоих дополнительных значениях, но предпочтительнее в контексте объединенности:

(1) а. \**Каждое из этих движений (⇒ все эти движения) преследовало одну и ту же цель.*

б. ?*Все движения преследовали свои собственные цели.*

(2) \**На каждый свой вопрос (⇒ на все свои вопросы) он получил один и тот же ответ.*

---

<sup>4</sup> О связи определенности со всеобщностью при логическом понимании всеобщности см. [6].

<sup>5</sup> Противопоставление «дистрибутивность — объединенность» подробно описано в [4, с. 98], но ошибочно отождествлено с противопоставлением «разделительная — собирательная множественность». Так, *оба* (= «все, а именно, два») возможно в контексте дополнительного значения объединенности — *Оба движения преследовали одну и ту же цель*, но невозможно в контексте собирательной множественности: \**Оба отрезка равны между собой.*

(3) ?*Всякий начинающий* ( $\Rightarrow$  все начинающие) совершает одни и те же ошибки.

Ср. характерные сочетания: *все вместе и каждый в отдельности* [3].

Предложение *Возьми каждое из них* (о яблоках в корзине), как справедливо замечает Вендлер [3], кажется странным и может быть осмыслено разве что в предположении «возьми поочередно». Но очередность — это значит дистрибутивность во времени.

Нарушение указанного распределения не воспринимается, однако, как грубая ошибка, ср.: *Ты знаешь, государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе Прощалось каждому* (Пушкин), где *каждому* = «*всем*». Аналогичный запрет для *любой* отсутствует; так, допустимо *В этом языке любому существительному соответствует одна и та же форма прилагательного*.

Противопоставление 5: к чему относится всеобщность — к самим элементам квантифицируемого множества или же к их свойствам? Это противопоставление было охарактеризовано в работе О. Н. Селиверстовой [7] несколько экзотично как «количественное участие» (объекта в ситуации) в противоположность «качественному». По этому признаку противопоставлены друг другу, например, слово *каждый* (и *все*) и слово *всякий*.

Прилагательное *всякий* означает, что предиктируемое свойство  $P$  не зависит ни от каких индивидуальных свойств объектов квантифицируемого множества, а предопределено теми свойствами, которые входят в концепт переменной  $x$ . Слову *всякий* можно предложить следующее приблизительное толкование: *Для всякого  $x$  верно  $P(x)$*  [или:  $P$  (*всякий*  $x$ )] = «Чтобы объект обладал свойством  $P$  (или, в более общем виде, принимал участие в ситуации  $P$ ), достаточно, чтобы он обладал теми свойствами, которые входят в концепт переменной  $x$ , — никакие индивидуальные свойства объекта не играют роли для его участия/неучастия в ситуации  $P$ »  
Например:

(1) *Всякий вписанный угол, опирающийся на диаметр, есть прямой; Около всякой равнобочной трапеции можно описать окружность; ...всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно* (Пушкин).

Во всяком случае идея несущественности индивидуальных свойств объектов составляет главный компонент смысла слова *всякий*. Действительно, *всякий* в своих некванторных употреблении означает «обладающий какими угодно свойствами» (ср.: *Люди бывают всякие* — т. е. не только хорошие, но и плохие). Таким образом, *всякий* показывает, что существенно только то свойство, которое входит в концепт переменной  $x$ . В контексте, где потенциально различные свойства объектов в квантифицируемом множестве не приходят в голову (точнее, различные свойства, которые могли бы быть существенны с точки зрения данного предиката  $P$ ), *всякий* неуместно. Так, фраза *Всякая прямая бесконечна* звучит странно.

Связь слова *всякий* с идеей качества предопределена его морфологией — качественным местоименным суффиксом *-ак*, ср. тот же суффикс в словах *дво-ак-ий*, *ин-ак-ий* (*иначе*), *т-ак-ой* и др. Показательно, что в контексте отрицательного предиката *всякий* имеет контекстный синоним *никакой*, тогда как для *все* таким синонимом служит *ни один* [8]. Отметим также, что *не каждый* означает просто «не все», см. пример (2), а *не всякий* и *не любой* = «не при всех свойствах», см. (3):

(2) Я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей.

(3) Уровень великолепного озера Экумбене на 16 метров ниже обычного: из питающих его речек не каждая доносит до него свои воды, превращаясь по пути в мутные лужи.

Введенный в [8] универсальный денотативный статус именной группы (ИГ) — это статус такой ИГ, которая включает кванторное прилагательное *всякий* (или *любой* в значении «всякий»). Для универсальной ИГ выполнение свойства, выражаемого предикатом, не может быть проверено простым перебором — ввиду потенциальной бесконечности квантифицируемого множества, — а дедуктивно выводится из концепта ИГ или по крайней мере связано с концептом ИГ причинной связью [8].

Связь универсальной ИГ с идеей причинности подтверждается тем, что именно для такой ИГ естественно звучит перефразировка определенного оборота в условное предложение, предсказываемая логической интерпретацией квантора общности, ср. [4, с. 133]: *У всякого равнобедренного треугольника углы при основании равны = Если треугольник равнобедренный, то у него углы при основании равны*. Таким образом, из всех кванторных прилагательных именно *всякий* (и *любой*) ближе всего по значению к логическому квантору общности.

Противопоставление *всякий* — *каждый* подробно описано в работе [5], где эта особенность значения слова *всякий* охарактеризована как интенсиональный тип интерпретации: интенциональный тип противопоставлен экстенциональному (он маркируется словом *каждый*), при котором проверка истинности свойства Р для квантифицируемого множества объектов осуществима посредством перебора элементов множества.

Известное сочетаемое ограничение слова *всякий*, состоящее в том, что это слово возможно только в контексте стативных предикатов, выражающих постоянные или устойчивые свойства объектов [4, с. 92]<sup>6</sup>, можно попытаться вывести из отмеченного выше семантического компонента слова *всякий* — «независимо от прочих свойств». В самом деле, из свойств могут быть дедуктивно выведены только свойства: участие объекта в конкретных событиях всегда в той или иной мере случайно.

Противопоставление б: исчисляемость — неисчисляемость квантифицируемого множества (или дискретность — недискретность). В логике неисчисляемые множества обычно не принимаются во внимание (исключение составляет работа [9]), хотя естественный язык вполне справляется с их квантификацией, ср.: *Получена некоторая новая и н-ф орм а ц и я; вся в о д а на земле; как много д о б р о т ы и т. д.* Как справедливо отмечено в [5], *каждый* в контексте неисчисляемых имен исключено (ср. \**каждая вода*). В самом деле, *каждый* связано именно с идеей счета.

Беспорным выразителем идеи всеобщности в контексте неисчисляемых имен является слово *весь*, ср.: *Когда-нибудь вся пролитая нами кровь будет отомщена; Вся мебель тут тяжелая; Не в состоянии выразить всё мое восхищение!* Что касается слова *всякий*, то оно тоже может выражать универсальную квантификацию при неисчисляемых именах: противопоставление *весь/всякий* (как для неисчисляемых имен, так и для

<sup>6</sup> Ср. не нормативное для современного языка употребление *всякий* в контексте предикатов временного состояния: *Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий — раздет, разут* (Блок). Исключение составляет контекст с дополнительным значением дистрибутивности во времени, см. [4, с. 92]: сочетание *всякий когда-нибудь* допустимо.

исчисляемых) — это противопоставление всеобщности количества и всеобщности свойств, ср.: *все вино — всякое вино; вся красота — всякая красота; всю свою звонкую силу поэта — всякую силу*. Ср. также: *Всякий лед тает; Всякий песок гигроскопичен; Не всякая музыка действует благотворно*.

Имена качеств и состояний, типа *беспокойство, несправедливость, успех, жалость*, которые после Есперсена принято рассматривать в одном ряду с именами масс, широко сочетаются с *всякий*, но при этом они обозначают часто счетные сущности; так, *Всякая жалость унижает* (пример из [5]) означает, скорее всего, «Всякое проявление жалости унижает».

Противопоставление 7 демонстрируется парой *всякий — любой*. *Любой*, как и *всякий*, выражает идею безразличия индивидуальных свойств объекта данного типа с точки зрения его возможности принимать участие в данной ситуации и в этом смысле выражает всеобщность. Отличие *любой* от *всякий* в том, что ИГ *любой* относится к участнику не реально существующей, а потенциальной ситуации — либо а) в том смысле, что ситуация относится к плану будущего, либо б) в том смысле, что она относится к настоящему, но не просто имеет место в настоящем, а многократно воспроизводится, будучи зависимой в своем наступлении от некоторого условия. При этом в каждом воспроизведении ситуации участвует свой объект квантифицируемого класса <sup>7</sup>.

Ситуация, которая относится к будущему, тоже всегда чем-то обусловлена; таким образом, различие между а) и б) только в том, что в будущем ситуация может быть и однократной, а в настоящем — обязательно многократная:

(1) а. *Вот мои книги. Возьми любую.*

б. *Он умнее любого из вас.*

В (1а) ситуация однократная и предмет один; в (1б) — ситуация многократная и предмет в каждом повторении свой, а вместе они могут исчерпывать квантифицируемое множество.

Условие воспроизведения ситуации может быть выражено имплицитно, как в (1) и (2), или эксплицитно, как в (3):

(2) *Любой покажет тебе дорогу <если ты его спросишь>; Сообщи мне о любых изменениях вашего маршрута <если таковые произойдут>;*

(3) *Любой на твоём месте (=«если бы был на твоём месте») поступил бы так же; Из них любой в огонь пойдет, только прикажи; Любой способен обозначения приемлем, если он обладает наглядностью.*

Неограниченная употребительность слова *любой* в контексте возможности, разрешения [в том числе в речевом акте разрешения, как в (1а)] и сослагательного наклонения может быть объяснена тем, что в этих контекстах без ограничения домысливается необходимый для *любой* имплицитивный компонент <sup>8</sup>, ср.:

(4) *Он мог сделать любую глупость <какую только можно помыслить>; Хороший был слесарь, открывал (=«мог открыть») любые замки <какие надо было>.*

<sup>7</sup> Мы рассматриваем здесь только одно противопоставление, связанное с семантикой слова *любой*. Полное описание этого слова составляет предмет отдельного исследования.

<sup>8</sup> Связь идеи «возможно» с идеей «если» подробно рассматривается в статье Остина [10], которая начинается словами: «Are *sans constitutionally iff*?». Далее Остин разъясняет свой вопрос: «Верно ли, что если мы говорим, что можем, могли или могли бы что-то сделать, то это значит, что где-то поблизости маячит *если* — подавленное, но непременно выходящее на поверхность, чуть только мы захотели сделать свое высказывание более полным или разъяснить его смысл?» (с. 153).

Роль семантического компонента «возможность» для употребления *любой* показывают примеры (5), (6):

(5) *Хорн приводит три аргумента. Я покажу, что любой из них можно опровергнуть* (ср. \**Я покажу, что любой из них несостоятелен*).

(6) а. *Это слово может иметь любой смысл.*

б. \**Это слово имеет любой смысл.*

Примеры (7), (8) показывают роль будущего времени как благоприятного контекста для *любой* — замена будущего времени на прошедшее приводит к неправомерности:

(7) а. *Любая добросовестная работа найдет своего читателя.*

б. \**Любая добросовестная работа нашла своего читателя.*

(8) а. *Любые поиски будут напрасны.*

б. \**Любые поиски оказались напрасны.*

Там, где ситуация однократная, замена *любой* на *всякий* просто невозможна, ср.: *Она решила достичь популярности любой (\*всякой) ценой*. В случае многократно воспроизводимой ситуации слова *всякий* и *любой* часто оба допустимы, но имеют разный смысл: *всякий* подразумевает «актуальную бесконечность», а *любой* — как бы поочередное возникновение объектов и ситуаций в поле зрения. При этом, как справедливо настаивает Вендлер [3], перебор всех элементов квантифицируемого множества для верификации предложения со словом *любой* не обязателен — достаточно несколько убедительных примеров<sup>9</sup>; так, в (9) *любой* не в точности то же, что *всякий*:

(9) а. *Любая физическая теория <какую ни построй> неполна.*

б. *Любой патологический процесс <если он возникает> сопровождается комплексом обменных нарушений.*

в. *Любая теория значения <какая бы ни была предложена>, если она не является также теорией понимания, бьет мимо цели.*

Во фразе (10) *Всякая наука изучает динамику через статику*, в отличие от (9а), *любая* было бы неуместно — видимо, *изучает* (для науки) предполагает «существует», и, следовательно, рассмотрение ограничивается существующими науками.

Противопоставление 8 — наличие vs. отсутствие логического акцента на идее всеобщности. Это различие выражается, естественно, наличием в составе ИГ одного из кванторных слов со значением всеобщности, в противоположность подразумеваемой всеобщности, которая всего лишь вытекает из контекста, ср. ИГ в роли субъекта родовой пропозиции в (1) или универсальную ИГ с нулевым показателем всеобщности в (2):

(1) *Атом состоит из ядра и электронов; Человек смертен; Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.*

(2) *Человек, который привыкает все делать без рассуждений становится безразличным к добру и злу.*

Необходимость различения именных групп с эксплицитной и подразумеваемой всеобщностью доказывается наличием ряда контекстов, где они не взаимозаменяемы.

1) Операторы «только» и «даже» допустимы в контексте подразумеваемой, но не в контексте эксплицитной всеобщности:

<sup>9</sup> Ср. описание значения кванторов в теоретико-игровой семантике [11], где квантор общности означает, что «ход в игре» передается оппоненту, который стремится опровергнуть утверждение и с этой целью может выбрать такое значение переменной, для которого он считает выполнение свойства Р наименее вероятным.

(3) *Только (\*всякий) специалист может ответить на этот вопрос; Эта книга доступна только (\*всякому) специалисту; Даже (\*всякий) человек, прошедший войну, не привыкает к свисту пуль.*

2) Подразумеваемая, но не эксплицитно выраженная всеобщность допустима в контексте, где разные роды объектов противопоставляются друг другу:

(4) *Появление в сих местах о ф и ц е р а было для него настоящим торжеством, и л ю б о в н и к у в о ф р а к е плохо было в его соседстве; Ж и в о й без сапог обойдется, а м е р т в ы й без гроба не живет (Пушкин); П о л ь з о в а т е л ю нужна специализированная система, обеспечивающая именно его задачи; для р а з р а б о т ч и к о в же предпочтительны универсальные системы, удовлетворяющие сразу многих пользователей.*

Аналогично, *всякий* невозможно в позиции контраста, хотя противочлен может и не присутствовать в явном виде:

(5) *Девочки/ | они аккуратно \носят платье;*

*Котам/ | обычно почему-то говорят «ты» \, <хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта>.*

То же в случае рематического контраста: *Пословица не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народный* (Даль) — к слову *пословица* нельзя добавить *всякая*.

Ограничения 1) и 2) могут быть обобщены следующим образом. Кванторное слово *всякий* задает а к ц е н т на всеобщем характере свойства, а родовая ИГ указывает лишь на сам факт наличия свойства у соответствующего класса. Поэтому *всякий* несовместимо с другими противопоставлениями или сопоставлениями в том же предложении (о том, что частицы *только* и *даже* предполагают сопоставление данного объекта с так называемым ассоциированным множеством, см. [12]): акцент во фразе должен быть один, и в эксплицитно универсальной пропозиции он уже приходится на всеобщность, а противопоставление порождает новый акцент.

3) Напротив, отрицательная частица возможна в составе эксплицитно универсальной ИГ, но не родовой; так,

(6) а.  $\neg$ (*Всякое простое число нечетно*) = *Не всякое простое число является нечетным.*

б.  $\neg$ (*Норвежцы высокого роста*) = ?

Это сочетаемостное ограничение можно осмыслить следующим образом. Слово *всякий* порождает логический акцент на всеобщности; тем самым в предложении возникает однозначная рема, которая и принимает на себя отрицание. Между тем в родовой пропозиции нет четких акцентов: главное ударение предложения заведомо не на всеобщности, поэтому родовая ИГ не может принять на себя отрицание; а отрицание при предикате было бы слишком сильным, так как опровержение того, что свойство является всеобщим для членов класса, — не то же самое, что утверждение отсутствия этого свойства у всех членов класса.

Естественно, что *всякий, любой* не может быть опущено в таких контекстах, где на всеобщности лежит главный акцент, ср.:

(7) *Он поступил так, как в с я к и й порядочный человек поступил бы на его месте; Квадрат л ю б о г о числа положителен.*

Имеется и ряд других сочетаемостных различий, которые мы для краткости опускаем.

П р о т и в о п о с т а в л е н и е 9. Как показывают примеры из предыдущего раздела, ИГ без референциальных показателей, имеющие им-

плицитное значение всеобщности, не являются семантически единими: их можно разделить на два класса — родовые и неэксплицитно универсальные. В неэксплицитно универсальных, как и в эксплицитно универсальных, например, с кванторным словом *всякий*, свойство, выражаемое предикатом, так или иначе вытекает из свойства, выражаемого концептом субъектной ИГ, ср. (1):

(1) *Человек, который творит добро, не заботится о благодарности.*

Между тем родовое высказывание представляет предципируемое свойство объекта как следствие его принадлежности к классу, причем этому классу может не соответствовать никакое легко формулируемое свойство. Таким образом, если ИГ с имплицитным значением всеобщности и без эксплицитных референциальных показателей является именем *р е а л ь н о г о* класса, т. е. натурального (как *человек*, *рыба*) или класса артефактов (как *чашка*, *книга*), то она может быть названа *родовой*, а если *н о м и н а л ь н о г о* (как *треугольник* или *человек, который творит добро*), то универсальной. Так, в (2), как и в (1), можно предполагать нулевой показателем универсальной квантификации:

(2) *Я считал, что люди, не стремящиеся к ясности мысли, являются в силу этого генетически поврежденными; Под лежачий камень вода не течет; Мужчина, который любит собак, равнодушен к женщинам.*

Возможно, причинные отношения между концептами субъекта и предиката порождаются не столько словом *всякий*, как говорилось выше в связи с противопоставлением 6, сколько просто определительной связью. Так, фраза *Человек, прошедший войну, не может привыкнуть к свисту пуль*, звучит странно, так как концепт субъектной ИГ должен скорее порождать обратное свойство: надо сказать *Даже человек... или ...все-таки не может...*

Универсальные и родовые ИГ в равной мере допускают только интенциональный тип интерпретации (в смысле [5]): экстенциональная интерпретация для родовых ИГ невозможна, поскольку экстенционал *родовой* ИГ мыслится как открытый, т. е. бесконечный, класс. Вообще, как справедливо отмечено О. Далем [13], родовые пропозиции имеют статус закона, т. е. истинны не только для реальных, но и для потенциальных членов класса. Следовательно, по этому признаку родовые ИГ не отличаются от универсальных. Различие между ними можно усмотреть в том, что для универсальных пропозиций установление истинности носит скорее дедуктивный характер, а для родовых — скорее индуктивный: универсальные пропозиции — это, прежде всего, дедуктивные заключения, а родовые — индуктивные обобщения.

Наконец, последнее *п р о т и в о п о с т а в л е н и е* 10, которое необходимо принять во внимание, чтобы правильно описать употребление кванторных слов со значением всеобщности в естественном языке: наличие — отсутствие отрицания в составе предиката *P*. Если *P* (*x*) имеет вид  $\neg P' (x)$ , то выражение универсальной квантификации с помощью слов *всякий*, *каждый*, *любой*, *все* иногда оказывается невозможным (см. [4, с. 96]), ср. \**Всякий человек не может этого выдержать* (надо: *никакой человек*). Таким образом, в значение слов *все*, *всякий*, *каждый*, *любой* должно быть внесено уточнение: «допустимы без ограничений только в контексте положительного *P*».



Итак, мы видим, что в естественном языке логически простая идея всеобщности обрастает массой дополнительных, т. е. сопутствующих ей, компонентов значения или ограничений на допустимый контекст употребления. Предложенный нами перечень семантических признаков еще не обеспечивает полного описания значения ни для одного из исследованных слов; однако ясно, что в адекватном описании значения все эти признаки должны найти себе место.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960.
2. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Когнитивные характеристики языковых выражений // Язык и логическая теория. М., 1987.
3. Vendler Z. Linguistics and philosophy. Ch. 3: *Each and every, any and all*. Ithaca, 1967.
4. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
5. Кронгауз М. А. Тип референции именных групп с местоимениями *все, всякий, каждый* // Семиотика и информатика. Вып. 23. М., 1984.
6. Шмелев А. Д. Определенность — неопределенность в названиях лиц в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
7. Селиверстова О. Н. Опыт семантического анализа слов типа *все* и типа *кто-нибудь* // ВЯ. 1964. № 4.
8. Падучева Е. В. Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении предложения // НТИ. Сер. 2. 1979. № 9.
9. Bunt H. C. The formal semantics of mass terms. Amsterdam, 1981.
10. Austin J. L. *Ifs and cans* // Austin J. L. Philosophical papers. Oxford, 1961.
11. Hintikka J. Quantifiers in logic and quantifiers in natural languages // Game-theoretical semantics / Ed. by Saarinen E. Dordrecht, 1979.
12. Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
13. Dahl Ö. On generics // Formal semantics of natural languages. London — Cambridge, 1975.

ПЕТРЕНКО В. Ф., НИСТРАТОВ А. А., РОМАНОВА Н. В.

**РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРУКТУРЫ ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ**  
(На материале семантического анализа фразеологизмов)

Взаимопроникновение психологии и лингвистики выразилось, в частности, в появлении понятия «языковая личность». Как справедливо отмечает Ю. Н. Караулов, «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю — к человеку, к конкретной языковой личности» [1].

Психологическое исследование сознания и личности с неизбежностью приводит к анализу языковых значений, опосредующих психические процессы. Настоящая статья посвящена анализу фразеологизмов. Для психолога они интересны тем, что несут в себе совокупный общественный опыт, содержат структуры обыденного, житейского сознания, отражают национально-культурологическую специфику языка. (Таким образом, фразеологизмы в настоящей статье рассматриваются в том их аспекте, который сближает их с некоторыми жанрами фольклора. Ср. ниже точку зрения Ф. И. Буслаева.) Мы полагаем, что использование для описания человека образного, емкого и метафорического языка фразеологизмов может расширить и углубить арсенал методических средств психосемантики в области психологии личности. Построение семантических фразеологических словарей может оказаться полезным для проведения культурно-сопоставительных исследований специфики мировосприятия и мироощущения представителей различных языковых культур, для преподавания и усвоения иностранного языка.

Выражая абстрактное через конкретное, отвлеченное через чувственно и наглядно осязаемое, фразеологизмы являются как бы формой рефлексии внеязыковой действительности. Они порождены потребностью в выразительных средствах для нужд коммуникации — вербального выражения чувств, эмоциональных оценок, способов эмоционального воздействия, ярких и метких характеристик человека, предметов, явлений. «Передавая в сжатом виде сюжет басни, легенды, суть притчи, исторического события, фразеологизмы являются мощным средством компрессии информации, которая возможна благодаря емкости фразеологического значения» [2]. Уместно вспомнить известное положение А. А. Потебни о «сгущении мысли», при котором смысл целого текста находит выражение в одном изречении. Шутливость, каламбур, ирония, свойственные фразеологизму, служат для выражения самых разнообразных чувств и отношений: радости, удовольствия, пренебрежения, — они выручают там, где невозможно найти точные определения, и короткий фразеологизм может дать гораздо более емкую характеристику человека и его действий, чем длинное расплывчатое описание.

В силу компрессии общественного опыта во фразеологии наиболее ярко проявляется национально-культурная специфика языка, его связь с материальной и духовной жизнью народа, его историей. Эти «обычные

выражения», являющиеся, по мнению Ф. И. Буслаева, своеобразными микромифами, содержат в себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» [3].

Обращение психологов к различным этнографическим и фольклорным материалам позволяет подойти к изучению особенностей человеческой психики не абстрактно, исследуя некоего внеисторического субъекта, а в контексте и связи с определенным своеобразным строем культуры, характерным для того или иного народа. Являясь результатом, продуктом деятельности людей, культура в то же время оказывает обратное влияние на формирование человеческого мышления и сознания, в ней закрепляются определенные формы регуляции человеческого поведения [4]. В традиционной культуре такие образования, как пословицы, поговорки, загадки, по мнению казахского психолога М. М. Муқанова, являются для обыденного сознания своеобразной формой рефлексии, понимаемой как процесс критического осмысления текущей деятельности и осознания необходимости предпринять новую деятельность [5]. Мысль о рефлексивной функции фольклора, несущего в себе вековой опыт и систему ценностей народа, можно с полным правом отнести и к фразеологии.

Работы В. Н. Губарева [6], А. В. Жукова [7] позволяют полагать, что одной из особенностей фразеологической семантики является ее преимущественно субъектная направленность. «Фразеологизмы оценивают человека с точки зрения физических, психических, морально-этических, интеллектуальных качеств, характеризуют его в отношении социальной принадлежности, рода занятий, возраста и жизненного опыта, родственных связей» [7]. Существующая же объектная фразеология, связанная с характеристикой предметов и явлений действительности, составляет, по данным «Фразеологического словаря» [8], 4—5% от общего числа фразеологизмов. Причем из выделенных четырех типов объектной фразеологии два относятся к объектно-субъектным, т. е. могут быть отнесены и к объекту, и к субъекту (например, *видать виды* — «много испытать» и «быть сильно поношенным») [7]. Все это говорит о том, что большая часть фразеологического богатства языка может рассматриваться как некоторая форма рефлексии, отражения человеческих отношений.

К проблеме метода. Анализ фразеологизмов в настоящей работе проводился в рамках психосемантического подхода. В отличие от лингвистических методов анализа, ориентированных на структурный анализ объектов (лексики, текстов и т. д.) или использующих лингвистическую интроспекцию, которая опирается на языковую компетенцию исследователя, его «чувство языка», психосемантические методы анализа ориентированы на моделирование реальной речемыслительной деятельности субъекта-испытуемого и исследование значений, так сказать, «в режиме употребления».

Основным методическим приемом выделения категориальных структур и формой их модельного представления является построение субъективных семантических пространств [9, 10]. Семантические пространства являются неким метаязыком исходного языка описания — в нашем случае фразеологизмов, — и их построение заключается в выделении обобщенных категорий-факторов, на языке которых, как на некотором базисном алфавите, записывается исходная лексика. При геометрическом представлении семантического пространства категории-факторы выступают координатными осями такого  $n$ -мерного семантического пространства (размерность пространства определяется числом независимых, некоррелирующих

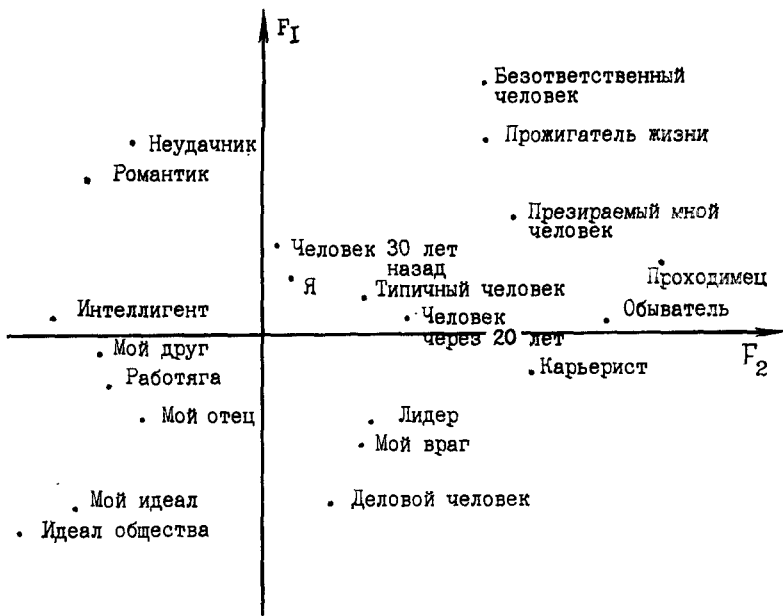


Рис. 1

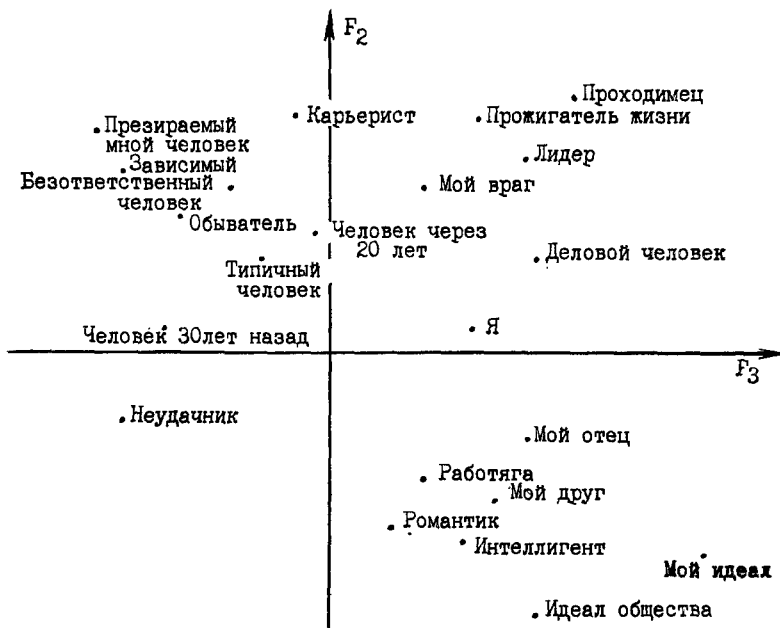


Рис. 2

факторов), а значения анализируемой содержательной области (в нашем случае — ролевых позиций) задаются как координатные точки (или векторы) внутри этого пространства. Размещение объектов в семантическом пространстве позволяет проводить семантический анализ этих значений, выносить суждения об их сходстве и различии, вычисляя семантические расстояния между соответствующими координатными точками.

#### Эксперимент 1. Семантическое пространство русских фразеологизмов.

В качестве экспериментального материала нами был отобран 71 фразеологизм (см. [8]), относящийся к разряду глагольных.

**Процедура эксперимента.** Для построения матрицы сходства фразеологизмов (первый этап построения семантического пространства) степень сходства фразеологизмов оценивалась косвенным образом: на основе их отнесения к неким «ролевым позициям». Ролевыми позициями называются обобщенные образы людей, или, другими словами, некоторые типы (например, *типичный человек*, *романтик*, *обыватель*). В нашем эксперименте всего 22 ролевые позиции: см. рис. 1, 2 [11].

Выбор ролевых позиций в качестве объектов оценки диктовался, как было указано выше, теоретическими соображениями о преимущественно субъектной направленности фразеологизмов. При отборе фразеологизмов мы стремились выбрать как можно более контрастные позиции («идеал» — «презираемый человек», «лидер» — «безответственный человек», «мой враг» — «мой друг», «романтик» — «обыватель»), чтобы охватить как можно более широкий диапазон аспектов личности человека (волевой аспект, ценностный, временной ориентации личности и т. п.), которые предположительно могут отражаться во фразеологизмах.

Испытуемых просили оценивать по семибалльной шкале (3, 2, 1, 0, —1, —2, —3) верность утверждения, зафиксированного в образной форме каждого фразеологизма, относительно каждой ролевой позиции.

В роли испытуемых экспертов выступали 20 мужчин с высшим гуманитарным образованием в возрасте от 24 до 35 лет, родной язык которых русский.

**Процедура обработки.** Индивидуальные матрицы оценок испытуемых суммировались в одну общегрупповую матрицу ( $71 \times 22$ ), которая подвергалась процедуре факторного анализа. Матрица корреляции ( $71 \times 71$ ), отражающая связь каждого из 71 фразеологизма друг с другом, строилась на основе 22 ролевых позиций по этим фразеологизмам. Последующая факторная обработка матрицы корреляций позволяет выделить пучки коррелируемых, взаимосвязанных фразеологизмов и описать содержание ролевых позиций через набор базисных категорий факторов. При этом факторные нагрузки фразеологизмов соответствуют проекции вектора, описывающего фразеологизм, на ось фактора. Величина факторной нагрузки показывает, насколько выражен некий смысл, стоящий за фактором в данном конкретном фразеологизме, а содержание фактора выступает как смысловой инвариант входящих в него фразеологизмов. При этом фразеологизмы, имеющие положительную нагрузку по данному фактору, и фразеологизмы, имеющие отрицательную нагрузку по тому же фактору, образуют содержательные полюса этого биполярного фактора: знак факторной нагрузки задает отнесение фразеологизма к тому или иному полюсу фактора (левому или правому) и содержательного, интерпретационного значения не имеет.

**Полученные результаты и обсуждение.** В результате обработки данных было выделено три значимых фактора, объясняющих соответственно 32, 29, 14% вклада в общую дисперсию.

По первому фактору ( $F_1$ ) доминирующие нагрузки имели следующие фразеологизмы, которые перечисляются в порядке убывания величины факторной нагрузки: *сесть в лужу* (0, 91), *витать между небом и землей* (0, 88), *купить kota в мешке* (0,88), *влезать в долги* (0,86), *белены объесться* (0,84), *заглядывать в рюмку* (0,83), *гоняться за двумя зайцами* (0,83), *сидеть на бобах* (0,83), *делать как бог на душу положит* (0,82), *ломиться в открытую дверь* (0,81), *лезть в бутылку* (0,81), *дурака валять* (0,77), *строить воздушные замки* (0,76), *метать бисер перед свиньями* (0,76), *воду в ступе толочь* (0,76), *рубить сплеча* (0,76), *бить баклуши* (0,74), *дойти до ручки* (0,74), *выносить сор из избы* (0,72), *переливать из пустого в порожнее* (0,70), *играть с огнем* (0,68), *искушать судьбу* (0,67), *тянуть kota за хвост* (0,60), *не видеть дальше собственного носа* (0,58), *делать из мухи слона* (0,53) — на одном полюсе и — *держат себя в узде* (—0,86), *знать свое место* (—0,83), *брать быка за рога* (—0,73), *заглядывать вперед* (—0,62), *не оставаться в долгу* (—0,55) — на другом полюсе.

Полученные оппозиции характеризуют, на наш взгляд, различные аспекты контроля и целесообразности поведения субъекта. С одной стороны, это нецелесообразная активность без прогноза будущего. Это как бы «тушиковая» активность, у нее нет позитивного выхода. С другой стороны — это активность, при которой субъект контролирует себя и ситуацию, избегая опрометчивости. Содержание фактора раскрывается как оппозиция «безответственности, неорганизованности, несдержанности» — в противоположность — «ответственности, организованности, сдержанности». Назовем это измерение фактором «нецелесообразности — целесообразности» поведения.

Наиболее полярными по этому фактору оказались ролевые позиции: *безответственный человек, неудачник, прожигатель жизни*, с одной стороны, и *деловой человек, идеал с точки зрения общества* — с другой (см. рис. 1), что подтверждает предложенную нами интерпретацию.

Интересно отметить, что среди отобранных нами достаточно случайным образом фразеологизмов большее количество представляет негативный полюс «нецелесообразного поведения», это, очевидно, является свидетельством того, что к фразеологии чаще прибегают для оценки неадекватного поведения, чем для одобрения позитивного.

Второй выделенный фактор ( $F_2$ ) представлен следующими фразеологизмами: *чужими руками жар загребать* (0,96), *снимать пенки* (0,96), *подложить ссинью* (0,96), *ловить рыбу в мутной воде* (0,92), *втирать очки* (0,91), *плевать в душу* (0,90), *надевать маску* (0,87), *обводить вокруг пальца* (0,87), *рыться в грязном белье* (0,86), *пускать пыль в глаза* (0,85), и *нашим и вашим* (0,80), *брать на пушку* (0,78), *идти по линии наименьшего сопротивления* (0,76), *напускать туману* (0,76), *наступать на любимую мозоль* (0,76), *валить с большой головы на здоровую* (0,75), *делать хорошую мину при плохой игре* (0,61) — на одном полюсе и — *держат свое слово* (—0,81), *бороться с самим собой* (—0,62), *не оставаться в долгу* (—0,57), *уходить в себя* (—0,54) — на другом полюсе. Оценочный характер второго фактора ярко проявляется в том, что на одном полюсе оказались такие явно отрицательные ролевые позиции, как «проходимец», «карьерист», а на другом — такие явно положительные, как «идеал человека с точки зрения общества», «мой идеал человека» и т. д. (см. рис. 1).

Фразеологизмы, попавшие на один полюс (*чужими руками жар загребать, втирать очки, надевать маску* и т. п.), описывают поведение, в котором другой человек оказывается средством, объектом манипуляции в

достижении неким субъектом своей цели. Можно сказать, что эти фразеологизмы выявляют нарушение действующим субъектом «категорического императива». Немногочисленные фразеологизмы, попавшие на другой полюс фактора (*держат свое слово, бороться с самим собой* и т. д.), описывают поведение, в котором субъект в чем-то ограничивает себя ради чувства долга.

Таким образом, второй фактор нашего семантического пространства фразеологизмов можно назвать фактором «оценки» или фактором «аморальности — моральности». Дифференциация ролевых позиций по этому фактору определяется представлениями наших испытуемых о том, «что такое хорошо и что такое плохо», или, вернее, кто хороший и кто плохой (см. рис. 2). Интересна антипрагматическая направленность в оценке людей (ролевых позиций), проявившаяся у наших испытуемых-экспертов. Так, наряду с «идеалом с точки зрения общества», «моим идеалом человека», «отцом», «романтиком» и «работягой» положительную оценку по этому фактору получила и ролевая позиция «неудачник», имеющая в семантическом пространстве координаты, близкие к ролевой позиции «романтик», в то время как ролевая позиция «деловой человек» имеет несколько отрицательную коннотацию. Наличие смыслового оттенка манипулирования другим человеком во фразеологизмах на полюсе «аморальности» привело, очевидно, к тому, что и ролевая позиция «лидер» оказалась обладающей слабой негативной оценкой. Ведь лидер в каком-то смысле управляет, манипулирует людьми.

Дифференциация ролевых позиций даже в рамках двух первых выделенных факторов позволяет установить достаточно тонкие семантические нюансы лексики. Так, близкие по смыслу оценки «карьерист» и «проходимец» попали в разные квадраты нашего семантического пространства. Имея сходную негативную коннотацию по второму оценочному фактору, они занимают контрастные позиции по первому фактору «нецелесообразности — целесообразности» (см. рис. 1). «Карьерист» отличается от «проходимца» тем, что действует выдержанно и целенаправленно, в то время как «проходимец» может действовать с известной долей риска, без достаточного прогнозирования будущего.

В третий фактор ( $F_3$ ) вошли следующие фразеологизмы: *не лезть за словом в карман* (0,87), *гнуть свою линию* (0,75), *много брать на себя* (0,72), *жить своим умом* (0,63) — на одном полюсе и — *держаться за бабулю юбку* (-0,69), *плакаться в жилетку* (-0,72), *смотреть как баран на новые ворота* (-0,63), *поджечь хвост* (-0,62), *дрожать над копейкой* (-0,59), *ходить вокруг да около* (-0,58) — на другом полюсе.

На одном полюсе третьего фактора сосредоточены фразеологизмы, отражающие позиции уверенного в себе, независимого субъекта (*гнуть свою линию, жить своим умом* и т. д.), в то время как противоположный полюс фактора описывает неуверенного, несамостоятельного субъекта, зависящего от другого человека или от обстоятельства (*держаться за бабулю юбку, дрожать над копейкой* и т. д.). Мы интерпретировали этот фактор как фактор «силы его» или как фактор «уверенности — неуверенности». Третий фактор близок классическому осгудовскому фактору силы [12], который на материале личностных качеств выступает как фактор «силы личности», или «силы его».

Размещение ролевых позиций по оси третьего фактора подтверждает предложенную интерпретацию. Так, наиболее полярными по этому фактору оказались ролевые позиции «мой идеал», «идеал с точки зрения общества», «лидер» и «проходимец» (различные по фактору оценки, но близ-

кие по параметру уверенности в себе) — с одной стороны, и ролевые позиции «зависимый человек», «неудачник» как обладающие слабой силой личности — с другой (см. рис. 2).

Подводя итоги результатов первого эксперимента, отметим, что выделенные факторы дифференциации фразеологизмов являются наиболее глобальными параметрами, своего рода «архисемами» [13] фразеологизмов, позволяющими проводить их наиболее общую классификацию. Более тонкий семантический анализ содержания фразеологизмов требует привлечения других средств, одним из которых является так называемый кластерный анализ [14].

В отличие от факторного анализа, выделяющего обобщенную структуру семантических связей на каком-либо одном (в зависимости от построения эксперимента) уровне (чаще всего на уровне глобальных коннотативных факторов), кластерный анализ позволяет построить многоуровневое дерево категоризации, фиксирующее семантические связи на различных уровнях сходства.

**Эксперимент 2. Исследование категориальной структуры фразеологизмов (семантический анализ фразеологизмов) методом кластерного анализа.**

**Экспериментальный материал:** те же глагольные фразеологизмы, что и в первом эксперименте. Они были распечатаны каждый на отдельной карточке, которая и предъявлялась испытуемым.

**Испытуемыми-экспертами** были 24 человека обоего пола с высшим гуманитарным образованием, родным языком которых являлся русский.

**Процедура эксперимента.** В качестве процедуры установления семантических связей фразеологизмов и построения матрицы сходства (I этап психосемантического эксперимента) использовался метод сортировки Миллера [15, 10]. Испытуемым предлагалось расклассифицировать карточки с фразеологизмами в произвольное количество групп с произвольным количеством объектов (фразеологизмов) в каждой группе. После классификации испытуемых просили дать условные названия выделенным группам и попытаться сформулировать принцип (основание) классификации.

**Процедура обработки данных** и построение классификационного дерева осуществлялись с помощью кластеранализа [16], где мерой попарного сходства объектов (фразеологизмов) являлось количество их попаданий в одни и те же классы. Легко понять, что если в эксперименте участвовало  $n$  испытуемых, то мера сходства пары объектов может варьироваться от  $n$ , если все испытуемые отнесли эту пару фразеологизмов в одни классы до 0, если ни один из испытуемых не сгруппировал их вместе. Для того чтобы сделать меру сходства объектов независимой от числа испытуемых, ее нормируют, т. е. делят на число испытуемых, и, таким образом, она получает значение от 1 до 0.

Последовательное объединение объектов на разных уровнях сходства дает дерево классификации анализируемых объектов. Построение дерева кластеризации (классификации) позволяет наряду с глобальными классами, объединяющими объекты на низких уровнях сходства, выделять более мелкие гроздьи смысловых объединений, и, соответственно, провести более детальный семантический анализ объектов (в нашем случае фразеологизмов).

**В результате обработки данных на низких уровнях сходства** было выделено три больших семантических класса (кластера), первые два из которых по входящим в них фразеологизмам полностью совпадают с содержанием двух первых факторов («целесообразности» и «оценки»), выделенных с помощью факторно-аналитического решения (см. первый



эксперимент). Малочисленные фразеологизмы, находящиеся на положительных полюсах всех трех факторов первого эксперимента (целенаправленность, моральность, сила личности), образуют единый кластер положительно-активного поведения (*жить своим умом, держать себя в узде, не лезть за словом в карман, бороться с самим собой, заглядывать вперед* и т. д.).

Наибольший интерес в плане интерпретации представляют для нас кластеры, выделенные на средних уровнях сходства. Рассмотрим подкластеры первого большого класса фразеологизмов — «нецелесообразности» поведения. Он разбивается на ряд подкластеров, отражающих различные аспекты этой «нецелесообразности».

Первый подкластер: *строить воздушные замки, витать между небом и землей, вариться в собственном соку, не видеть дальше своего носа*. Архисема этого подкластера, или его формула: «образ мира субъекта»  $\neq$  «действительности», где  $\neq$  — несоответствие.

Общим содержанием, объединяющим эти фразеологизмы, является, очевидно, отсутствие у некоего субъекта (или субъектов) адекватного образа внешнего мира, действительности, т. е. общий смысл, присущий всему классу фразеологизмов нецелесообразности поведения, конкретизируется в этом кластере как нецелесообразность в силу неадекватности представлений о действительности.

Неадекватность представлений о мире может быть конкретизирована в каждом отдельном фразеологизме как бы добавлением к двум родовым архисемам («нецеленаправленности поведения» и «неадекватности образа действительности») дифференциальных признаков, превращающих фразеологизм в некую неповторимую «единичность». Следует подчеркнуть гораздо большую произвольность нашей интерпретации результатов кластерного анализа по сравнению с факторно-аналитическим экспериментом. В нашей интерпретации мы формализуем содержание образного фразеологизма, переводя его на язык деятельностных структур, работаем с фразеологизмом как с лексемой, а не как с образом. Образное же содержание фразеологизма бесконечно богаче и несет в себе множество дополнительных смыслов и нюансов. Сходство образного наполнения фразеологизмов влияет на их объединение, группировку на высоких уровнях идентичности. Например, наиболее близкими в классификационном дереве оказались фразеологизмы *строить воздушные замки* и *витать между небом и землей*.

Второй подкластер первого большого класса включает следующие фразеологизмы: *сесть в лужу, поджечь хвост, сидеть на бобах, плакать в жилетку*.

Формула подкластера: «действительность  $\gg$  цель», где  $\gg$  — субъективная значимость. Мы интерпретируем содержание этого кластера как снижение, затруднение собственной активности и целесообразности деятельности в силу зависимости от внешних обстоятельств.

Третий подкластер первого большого класса включает фразеологизмы: *переливать из пустого в порожнее, воду в ступе толочь, ходить вокруг да около, бить баклуши, дурака валять, делать как бог на душу положит, тянуть кота за хвост*.

Формула подкластера: «цель  $\leftrightarrow$  отсутствие цели» или «цель наличная  $\neq$  цели деятельности».

Смысловым содержательным инвариантом перечисленных фразеологизмов, определяющим интерпретацию этого кластера, на наш взгляд, выступает констатация отсутствия целенаправленной активности в силу: а) подмены ее несущественной активностью (*переливать из пустого в порожнее*,

воду в ступе толочь, бить баклуши; б) подмены ее развлечением (*дурака валять*); в) оттягивания времени реализации этой деятельности (*ходить вокруг да около, тянуть kota за хвост*) и т. п.

Четвертый подкластер объединяет фразеологизмы: *делать из мухи слона, гоняться за двумя зайцами, смотреть как баран на новые ворота, ломиться в открытую дверь, метать бисер перед свиньями, лезть в бутылку, белены объесться*.

Формула подкластера: «цель» > < «действительность», где > < — неадекватность.

Фразеологизмы этого кластера, по-видимому, объединяет констатация нарушений целесообразности деятельности в звене целеполагания. Это — констатация невозможности реализации двух целей одновременно (*гоняться за двумя зайцами*) или неспособности идентификации цели (*смотреть как баран на новые ворота*), неадекватности цели действия (*ломиться в открытую дверь, метать бисер перед свиньями*), подмены цели действия целью самоутверждения (*лезть в бутылку*) или неспособности субъекта к постановке цели (*белены объесться*).

Последний, пятый подкластер включает фразеологизмы: *играть с огнем, искушать судьбу, рубить с плеча, много брать на себя, гнуть свою линию, мерить на свой аршин, брать быка за рога*.

Формула подкластера: «цель» >> «действительность».

Фразеологизмы этой группы объединены описанием некоторой активности субъекта, не соотношенной с реальной ситуацией. Негибкость поведения человека характеризуется на основе этих фразеологизмов как отсутствие ориентировки в объектной и социальной действительности, несоотнесенность с ней цели действия.

Перейдем к рассмотрению второго большого класса фразеологизмов, объединенных проявлением «аморальности». Отметим, что все фразеологизмы этого оценочного класса подразумевают наряду с субъектом деятельности некоего другого субъекта (или субъектов), по отношению к которому (вернее, во вред которому) и реализуется деятельность. Можно сказать, что все эти фразеологизмы реализуют субъект-субъектные отношения. Можно высказать гипотезу, что оценочная компонента вообще возникает тогда, когда в описании индивидуальных характеристик человека имманентно присутствует его отношение к другому человеку или к людям. Говоря, например, что этот человек тревожный или уверенный, мы только описываем его индивидуальные особенности, но говоря, что этот человек гордый, мы имманентно и оцениваем его, так как гордость характеризует его поведение по отношению к другим. Субъект-субъектные отношения фразеологизмов нашего второго большого оценочного класса можно характеризовать с другой позиции анализа и как проявление диалогичности.

Семантический кластер «аморальность» также распадается на ряд подкластеров. Первый подкластер этого большого класса представлен фразеологизмами: *чужими руками жар загребать, рыться в грязном белье, держать камень за пазухой, плевать в душу, подложить свинью, валить с большой головы на здоровую, наступать на любимую мозоль, выносить сор из избы*. Общий смысл всей группы фразеологизмов этого подкластера может быть выражен следующим образом: «некий субъект А (или группа субъектов) реализует предикат „делать плохо некоторому субъекту В или группе субъектов“». Все эти фразеологизмы содержат также дополнительные признаки (семы) по отношению к архисеме «делать плохо в моральном плане» и «делать плохо недозволенными средствами». Предикат «делать плохо другому» конкретизируется в единичных

фразеологизмах и может быть раскрыт следующим образом: «использовать другого человека не как субъекта деятельности, а как средство реализации собственных целей (*чужими руками жар загребать*), как средство удовлетворения собственного любопытства (социально неприемлемой познавательной активности во фразеологизме *рыться в грязном белье*) или дискредитировать образ другого человека в глазах третьих лиц (*выносить сор из избы*)» и т. д. Таким образом, семантически фразеологизмы второго большого кластера, описывающие межличностные взаимодействия, оказываются несравненно сложнее фразеологизмов первого кластера, описывающих нецелесообразную активность единичного субъекта.

Второй подкластер кластера «аморальность» включает следующие фразеологизмы: *втирать очки, обводить вокруг пальца, брать на пушку, пускать пыль в глаза*. Семантический признак, объединяющий эти фразеологизмы, очевидно, задан предикатом «обманывать» — т. е. «использовать другого человека как средство достижения собственных целей, поставляя ему неверную информацию о собственных целях, социальной или предметной действительности». К первым двум подкластерам примыкают на более низких уровнях сходства фразеологизмы: *ловить рыбу в мутной воде, как сыр в масле кататься, снимать пенки*. Общий смысл этих фразеологизмов, очевидно, включает признак «нечестности» — семантически очень многоплановый и сложный. Признак нечестности явно не содержится в двух последних фразеологизмах, но к нему приводит цепочка осознаваемых или неосознаваемых умозаключений: «жить очень хорошо», значит, «жить за чей-то счет». Нечестность заключается в несоответствии индивидуальных ценностей субъекта и форм их реализации по отношению к неким общественным ценностям и нормам при внешней демонстрации лояльности этим нормам.

Третий подкластер семантического класса «аморальность» включает фразеологизмы: *и вашим и нашим, держать нос по ветру, идти по линии наименьшего сопротивления, дрожать над копейкой, себе на уме*. Фразеологизмы этой группы, по-видимому, описывают поведение субъекта, связанное с изменением ценностных ориентаций, целей и жизненных задач в зависимости от житейских обстоятельств с пользой для самого субъекта и, в конечном итоге, во вред другим участникам совместной деятельности, в которую этот субъект включен. Таким образом, некий субъект оказывается слабым звеном в совместной деятельности в связи с неустойчивостью ценностно-мотивационной структуры его личности — на него нельзя положиться.

Наконец, третий самостоятельный семантический класс фразеологизмов, полученный группировкой оценочно-положительных полюсов всех трех факторов первого эксперимента, интерпретируется как кластер «положительного», «целесообразного» активного поведения. Он включает следующие фразеологизмы: *держат свое слово, жить своим умом, держать себя в узде, не оставаться в долгу, не лезть за словом в карман, бороться с самим собой, заглядывать вперед, уходить в себя, знать свое место, делать веселую мину при плохой игре, сглаживать острые углы*.

В отличие от двух предыдущих больших подкластеров, включающих фразеологизмы, описывающие те или иные формы неадекватности поведения субъекта, и расположенных на отрицательных (в содержательном, а не математическом смысле) полюсах факторов первого эксперимента, в третьем кластере объединены те фразеологизмы, которые находились на положительных полюсах всех трех факторов первого эксперимента, т. е. на полюсах «целесообразности», «моральности» и «уверенности». Исходя

из большого количества фразеологизмов «целесообразности» и «моральности», назовем этот кластер кластером «осмотрительности».

**Общественное.** В первом эксперименте, используя фразеологизмы в «режиме употребления» для характеристики обобщенных образов других людей (ролевые позиции), мы показали, что такое употребление фразеологизмов позволяет дифференцировать их по неким базисным измерениям, специфицирующим характер индивидуальности и совместной деятельности людей. Другими словами, сам факт построения семантического пространства фразеологизмов на базе шкалирования обобщенных образов других людей свидетельствует о наличии некоей внутренней структуры искусственных текстов, порождаемых испытуемым при соотнесении фразеологизма и образа другого человека. К таким базисным измерениям, как показал эксперимент, относятся факторы «нецелесообразности — целесообразности» поведения, «моральности — аморальности», «силы — слабости» личности субъекта деятельности. Являясь характеристиками субъекта деятельности, фразеологизмы характеризуют и саму деятельность, в рамках которой субъект получает эту характеристику. Действительно, ролевые позиции — обобщенные человеческие образы-типажи («деловой человек», «неудачник», «работяга», «лидер», «интеллигент» и т. п.) являются по сути производными от неких обобщенных деятельностей и стилей жизни, которые они реализуют. Очевидно, соотнесение деятельностных структур, имплицитно содержащихся во фразеологизме и реальной житейской ситуации, и делает возможной рефлексия этой ситуации в обыденном, житейском сознании. При этом наблюдается рефлексия на разных уровнях сознания, с разной степенью детализации опосредующих рефлексия структур. Так, уже простая оценка «хорошо» или «плохо» есть рефлексия ситуации в обобщенных, недифференцированных эмоциональных эталонах.

Второй эксперимент на классификацию фразеологизмов с построением кластерной структуры выявил более детализированную систему категоризаций и семантических признаков, имплицитно присущих фразеологизмам. Так, например, категория-фактор «нецелесообразности — целесообразности» поведения дифференцируется на более дробные основания категоризации: неадекватность поведения в силу неадекватности «образа мира» субъекта; неадекватность поведения в силу излишней зависимости от внешних условий («поле» подавляет внутреннюю активность субъекта); неадекватность поведения в силу отсутствия цели действия или в силу подмены ее несущественной активностью; неадекватность поведения в силу неадекватности его цели внешним условиям и, наконец, неадекватность поведения в силу игнорирования внешних условий при реализации цели.

Для описания выделяемых структур категоризации возникает необходимость в некоем метаязыке, репрезентирующем их не обыденному, а научному сознанию. Остановимся на этом подробнее. Являясь предикатами, описывающими в образной форме некое действие, субъектные фразеологизмы характеризуют отношения между рядом объектов (аргументов). Восстановление недостающих членов (аргументов) некоего отношения осуществляется на основе анализа степени «местности предиката»; необходимо решить вопрос, является ли предикат одно-, двух-, трехместным и т. д. В лингвистике эта проблема выступает как «восстановление смысловой неполноты текста» [17]. Отметим, что при анализе глагольных формы сталкиваемся с проблемой оценки количества мест, присущих тому или иному предикату. Например, полагают, что предикат *ударить* — двухместный (*кто? и кого?*), но может быть задан вопрос *и за что?, как сильно?*,

по какому месту? и т. п. Формальные критерии для определения степени «местности» предиката не разработаны, и в реальной практике исследователь опирается на свое лингвистическое чутье, на контекст.

Аналогично для раскрытия содержания таких предикатных форм, как субъектные фразеологизмы, необходимо реконструировать аргументы — заполнить места отношения, задаваемого фразеологизмом. И здесь мы сталкиваемся с еще более сложным случаем по сравнению с анализом глагольных форм, так как за счет образного, метафорического содержания фразеологизмов номинация членов отношения задается не в конкретной предметной, а в коннотативной форме. Например, фразеологизм *ловить рыбу в мутной воде* обладает, конечно, не прямым, а переносным смыслом, и слово *рыба* по коннотации соответствует некоей ценности, некоему благу. Восстановление аргументов этого многоместного предиката подразумевает необходимость введения некоего «субъекта», совершающего действие по добыче этого блага (рыбы) в среде, которая обозначается как «мутная вода». Признак «мутная», характеризующий место этого действия, подразумевает негативную коннотацию и тогда имплицитно задается еще один аргумент (некое место или некие нормативные места или среды, где соответствующее действие допустимо). Тем самым задается еще отношение между социально одобряемым и неодобряемым местом действия. В иной трактовке отрицательная коннотация слова *мутная* выступает в более непосредственном прямом своем значении. В этом случае негативная коннотация этого фразеологизма заключается в том, что в качестве аргумента сложного отношения подразумевается еще некий или некие субъекты, для которых «мутность» ситуации не позволяет совершить действия для получения блага, а описанный ранее субъект почему-либо обладает этой возможностью. При такой трактовке фразеологизма требуется введение еще одного аргумента отношения — неких социальных норм, с позиции которых извлечение блага субъектом, когда другие люди не могут получить его, социально неодобряемо.

Для описания содержания фразеологизмов, таким образом, требуется построение определенного метаязыка, фиксирующего базисные аргументы или глубинные роли (в терминах Филлмора), через описание отношений которых раскрывается содержание фразеологизмов. Для более простого класса субъектных фразеологизмов, описывающих индивидуальную деятельность субъекта, мы попытались задать эти отношения, введя простые символы. Однако эта попытка — скорее иллюстрация необходимого движения по пути формализации содержания фразеологизмов. Создание метаязыка, описывающего рефлексивные структуры, — насущная задача. Тем не менее в настоящее время имеется определенная основа для решения этой задачи. Система понятий в теории деятельности А. Н. Леонтьева (мотив, цель, деятельность, действие, операция, субъект, объект и т. д. [18]) или в теории падежной грамматики Ч. Филлмора (агент (одушевленный инициатор действия), контрагент (сила, противодействующая действию), пациент (субъект, испытывающий воздействие), объект (предмет, подвергающийся действию), результат (вещь или физическое состояние, возникшее в результате действия), инструмент (орудие или средство действия), место и время действия и т. д. [19]), семантические теории Ю. Д. Апресяна [20], Р. Шенка [21] создают основу такого метаязыка деятельности структур, хотя, очевидно, не охватывают всего богатства глубинных семантических ролей [22].

Хорошо описывая деятельность субъекта в предметном физикальном мире, понятийный аппарат этих теорий оказывается менее приспособленным

для описания деятельности субъекта в ментальном психическом плане, в частности, для описания рефлексии собственной деятельности. Требуется расширение исходного смысла семантических ролей и для описания совместной деятельности людей, и для описания их общения. Так, наверняка наряду с глубинными ролями субъекта (агента), мотива, цели, инструмента (средства) деятельности должны войти такие роли, как вынесенный в самосознание «образ Я субъекта», или «образ идеального Я», или «образ Меня», который субъект приписывает (атрибутирует) другому человеку, участнику совместной деятельности или общения, или «образ Я другого» (контрагента или соагента), который имеется у одного субъекта относительно другого или других, или «образ Я», который приписывает один субъект самосознанию другого. Такие глубинные роли, как «идеаль», «нормативные ценности», «нормативные средства», время и место действия в субъективных пространствах взаимодействующих субъектов, также, очевидно, войдут в базовый список глубинных семантических ролей.

Дальнейшая разработка теории деятельности и общения может, на наш взгляд, идти как путем «восхождения от абстрактного к конкретному», т. е. движения теоретического сознания в психологии и лингвистике, так и путем восхождения от эмпирической данности естественного языка и фиксированных в нем структур обыденного, житейского сознания (путем их экспликации и рефлексии) к теоретическим моделям.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 7.
2. Берлизон С. Б. Специфика семантики фразеологических единиц и роль структурных компонентов в ее определении // Семантическая структура слова и фразеологизма. Рязань, 1980. С. 17.
3. Русские пословицы и поговорки собранные и объясненные Ф. Буслаевым. М., 1854.
4. Лотман Ю. М. Культура как информация // Статьи по типологии культуры. Вып. 1. Тарту, 1970.
5. Муканов М. М. Исследования когнитивной эмпатии и рефлексии у представителей традиционных культур // Исследование речемысли и рефлексии. Алма-Ата, 1979.
6. Губарев В. Н. К проблеме семантики устойчивых словесных комплексов как словесных знаков прямой и косвенной номинации // Семантическая структура слова и фразеологизма. Рязань, 1980.
7. Жуков А. В. Объективная фразеология в русском языке // Семантико-грамматические характеристики фразеологизмов русского языка. Л., 1978.
8. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. Молоткова А. И. М., 1967.
9. Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: исследование индивидуального сознания // Вопросы психологии. 1982. № 5.
10. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику. М., 1983. С. 176.
11. Kelly G. A. Theory of personalities. The psychology of personal constructs. N. Y., 1963.
12. Osgood Ch., Suci G., Tannenbaum P. The measurement of meaning. Urbana, 1957.
13. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. М., 1971.
14. Дюран Н., Одвелл П. Кластерный анализ. М., 1977.
15. Miller G. A. Empirical method in study of semantics // Semantics / Ed by Steinberg W. and Jakobovits L. A. Cambridge, 1971.
16. Johnson S. C. Hierarchical clustering schemes // Psychometrika. 1967. V. 32.
17. Леонтьева Н. Н. Семантический анализ и смысловая полнота текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1968.
18. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.
19. Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
20. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 367.
21. Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980. С. 361.
22. Петренко В. Ф. Идеи Л. С. Выготского и теория глубинных семантических ролей // Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. М., 1981.

МУРЯСОВ Р. З.

## СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ТЕОРИЯ НОМИНАЛИЗАЦИИ

Явление, известное в лингвистической литературе под названием «номинализация», охватывает широкий круг проблем, имеющих отношение как к процессу, так и к результатам преобразования одних номинативных единиц в другие, их развертыванию или, наоборот, свертыванию, что свидетельствует о глубинных процессах межуровневого взаимодействия единиц языковой системы.

В немецком языкознании явление номинализации стало предметом исследования еще в начале 30-х годов, прежде всего в трудах В. Порцига [1]. Следует подчеркнуть, что исследование номинализации в немецком языкознании проводилось до и независимо от известных разработок трансформационной грамматики. При этом номинализация рассматривалась не как синтаксический вопрос, а как проблема словообразовательная и в значительной мере стилистическая. В работах, посвященных номинализации, на передний план было выдвинуто исследование тенденции к употреблению в немецком языке именных конструкций и вытеснению последними глагольных конструкций. При этом увлечение именными формами в немецком языке приобрело такие масштабы, что языковеды, усматривая в этом явную негативную тенденцию и плохой стиль, забили тревогу по поводу некоей «субстантивомании» (Hauptwörterei, Hauptwörterseuche, Substantivitis, Substantivomanie) [2].

Бурное развитие синтаксических теорий в последние два десятилетия и вовлечение в орбиту синтаксических исследований явлений словообразования, особенно «синтаксической деривации», или «транспозиции» [3—5], заставило германистов вновь вернуться к проблеме номинализаций, но уже на новой теоретической основе, т. е. с учетом достижений трансформационной и генеративной грамматик. Это обеспечило определенную перспективу исследования словообразования в новом ракурсе и способствовало рельефной экспликации связей словообразования с синтаксисом, которые раньше оставались в тени. Развитие теории номинализаций внесло одновременно определенный хаос, путаницу в терминологическую систему дериватологии, так как некоторые находящиеся традиционно в ведении словообразования и известные под другими названиями явления оказались включенными в круг новой теории. Сам термин «номинализация» оказался на пересечении таких общеизвестных, но не всегда однозначно употребляемых в теории словообразования понятий, как деривация, транспозиция, субстантивация<sup>1</sup>. Осознание объема

<sup>1</sup> В немецкой грамматической традиции для имен действия используются термины «Verbalabstrakta», «Verbalsubstantive», «Verbide, nomina actionis», «Namen für Satzinhalte», «Satznamen», «Satzabstrakta» и т. п. В советской германистике они известны как «глагольные имена», «имена действия», «глагольные существительные», «отглагольные существительные».

этого термина и определение его границ зависит также от структурных особенностей того или иного языка.

Таким образом, в теоретическом контексте трансформационной грамматики идея номинализаций претерпела качественные изменения. Если раньше в центре внимания языковедов была корреляция «глагол — имя действия», то теория номинализации в рамках трансформационной грамматики вышла за пределы слова. Расширился и инвентарь языковых ресурсов, включаемых в круг номинализаций. Некоторые языковеды стали понимать номинализации слишком широко. Помимо классических номиналов (типа придаточных предложений, герундиальных форм, аффиксальных имен и т. п.) в класс номинализаций оказались включенными также отглагольные агентивные существительные (например, *killer*, что характерно для Ф. И. Ньюмайера, который номинализации определяет следующим образом: «Nominalization is the rule that creates „derived nominals“ and „action nominals“» [6, с. 142]). Такое расширительное толкование номинализаций размывает границы между номинализациями и словообразованием существительных вообще.

Как известно, Р. Б. Лиз, рассматривая номинализации в контексте трансформационной грамматики, определяет их как трансформы базисных ядерных предложений [7]. Однако во многих последующих исследованиях было достаточно убедительно показано отсутствие полного параллелизма между разными типами номинализаций (*predicative nominals*) и лежащими в их основе предложениями ввиду тяготения первых к идиосинкразии [8], а также наличия селективных и дистрибутивных различий между первыми и последними [9]. Не вдаваясь в анализ многочисленных источников, в которых можно обнаружить многообразие различных подходов к пониманию номинализаций (что, впрочем, достаточно полно представлено в монографии А. Колена [10]), отметим, что не все типы номинализаций в равной мере «синтаксичны» или, наоборот, в равной мере идиосинкратичны. Если чисто синтаксические номинализации, т. е. конструкции с сохранением финитной формы предиката (*whether-*, *that-clauses*), характеризуются минимумом расхождений с базисными предложениями, то в инфинитивных номинализациях усиливается тенденция к идиосинкразии, что, кстати, послужило для Н. Хомского и других языковедов основанием для исключения деривативных номинализаций из трансформационного анализа.

А. Колен на основе изучения достаточно обширной литературы по проблеме номинализаций приходит к однозначному выводу, что нет «номинализаций» в том смысле, в котором этот термин употребляется в генеративной грамматике. По его мнению, здесь лингвисты имеют дело с своеобразным типом дополнений (*complements*), под которым он понимает обязательный член главного предиката предложения, включая подлежащее [10, с. 36].

Интересно отметить, что к аналогичному выводу пришли некоторые советские языковеды, назвавшие подобные структуры «конструкциями с предикатными актантами» (КПА [11]).

Расширение круга явлений, включаемых в сферу проблем номинализации, и их перекрещивание с понятиями словообразования с необходимостью требуют рассмотрения типов номинализаций в их отношении к последним.

**Транспозиция.** Под транспозицией понимается такой словообразовательный акт, в результате которого изменяется только синтаксическая функция исходного слова, в то время как его основное, «вещественное»



значение [12], лексическое содержание [5] остается неизменным. В качестве классического примера приводится опредмечивание действия и качества. Транспозиция — это перевод слова одной части речи в другую, т. е. она носит межкатегориальный, межчлестеречный характер<sup>2</sup>. Самым существенным признаком транспозиции является использование слов одной части речи в функции другой части речи. Если же при переводе слова из одной части речи в другую возникает семантический класс, субкатегория внутри части речи, то такого рода деривационный акт не может быть отнесен к транспозиции. С этой точки зрения любой (аффиксальный или безаффиксальный) переход «действие → опредмеченное действие», «качество → опредмеченное качество» и т. д. представляет собой транспозицию, между тем как переход «действие → агенс», «действие → инструмент действия», «действие → место действия» не относится к транспозиции. Любой словообразовательный акт, служащий внутренней семантической структуризации, субкатегоризации части речи, перестает быть грамматическим.

Понятие транспозиции не лишено внутреннего противоречия. С одной стороны, транспозиция, будучи межкатегориальной заменой, представляет собой грамматическое явление, если исходить из концепции, согласно которой части речи являются грамматическими категориями. С другой стороны, как справедливо отмечает В. М. Павлов, здесь возникает трудность теоретического порядка, а именно: считая, что при синтаксической деривации имеет место только функциональное переключение слова из одной части речи в другую без каких-либо изменений его лексического значения, мы допускаем, что категориальное значение (т. е. такие значения частей речи, как предметность, признаковость, процессуальность) не входит в лексическое значение слова [14]. В случае транспозиции основное противоречие заключается в категориальной гетерогенности плана содержания и плана выражения, а именно: трансформированный номен — это имя по совокупности парадигматических характеристик и синтаксическим функциям и глагол по характеру выражаемого им лексического значения. Это имена-«хамелеоны», одновременно выражающие и абстрактную предметность, и процессуальность.

Различаются три основных вида транспозиций: номинализация, вербализация и адъективация. Таким образом, номинализация понимается как наиболее типичная и продуктивная разновидность транспозиции. В свою очередь, номинализация охватывает ряд других явлений, имеющих непосредственное отношение к словообразовательным процессам. Под номинализацией в широком смысле следует понимать как процесс, так и результат преобразования слов других частей речи в существительные или превращение сегментов текста теоретически любой величины в эквивалент имени существительного. Тогда в круг явлений, охватываемых термином «номинализация», входят: субстантивация, деривативная номинализация и синтаксическая номинализация.

Рассмотрим различные виды номинализаций. Субстантивация как один из видов номинализаций включает в себя формально и функционально неоднородные явления. Субстантивация — высокопродуктивный, преимущественно внутритекстовой (*textintern*) и текстоориентированный способ

<sup>2</sup> Иное толкование транспозиции находим у Ю. С. Степанова, который к транспозициям относит также отглагольные агентивные имена типа *летчик, разметчик, читатель* и т. п., так как «они представляют собой, во-первых, изменение грамматического значения (*летать* → „тот, кто летает“ и т. п.), а во-вторых, регулярное изменение «вещественного» значения («профессия или социальная группа») [13].

словообразования существительных, занимающий абсолютно монопольное положение в словообразовательной системе немецкого языка. По своей продуктивности субстантивацию можно сравнить только с универсальностью грамматических категорий. В немецком языке нет такой единицы, такого сегмента текста, начиная с отдельно взятой буквы или морфемы и кончая частью текста, состоящей из нескольких предложений, которые бы не были подвержены субстантивации. Общим для многих языков типом субстантивации является так называемый гипостаз, цитатная субстантивация, характеризующаяся, как правило, специфической орфографией — заключением в кавычки и написанием с большой буквы, хотя это вовсе не обязательно, например: *Ein frostiges «Guten Abend» genügt wohl nicht, Unbehauen muß auch Händchen reichen* [15, с. 78]; . . . *Ein Herr Moll habe sich per Telefon sehr ungeduldig geäußert, auch ernst, murmelt ein kurzes «jaja, ich weiß» vor sich hin...* [15, с. 23].

При явлении гипостаза из текста как бы вырывается кусок, который в другой части текста функционирует как нечто целое. Гипостаз сохраняет формальную самостоятельность своих компонентов. Это унифункциональные синтаксические конструкции, но не обязательно универбы.

Субстантивация в собственном смысле в немецком языке предполагает прежде всего соответствующее орфографическое оформление и включение субстантивируемой единицы в систему грамматических категорий существительного, формальным выразителем которых выступает (определенный/неопределенный/нулевой) артикль. Субстантивированная единица, как правило, универб. Правда, цельнооформленность поликомпонентных универбов иногда условна, и графически она оформляется путем вставки дефиса между словами или слитным написанием. Характерно, что при этом субстантивируемые словосочетания и предложения сохраняют свою каноническую грамматическую оформленность: виды синтаксических связей между своими компонентами, порядок слов: *Sie boxten sich in die Rippen, alter Junge, altes Haus, zum Weißtdunoch waren sie gar nicht gekommen* [16].

К гипостазу примыкают так называемые «сдвиги», особенно окказиональные. По-видимому, в лингвистической литературе границы сдвигов очерчиваются неоправданно широко. С одной стороны, в группу сдвигов включаются полностью десинтаксизированные и подвергающиеся метонимическим и/или метафорическим переосмыслениям конструкции, формально соотносимые с повелительными предложениями<sup>3</sup>, например, *das Rührmichnichtan* «мимоза, недотрога», *der Springinsfeld* (разг.) «ветрогон», *der Taugenichts* «бездельник, шалопай, негодник», *das Stelldichein* «свидание». В современном немецком языке имеется также устойчивый сдвиг типа *die Verstehste* или *der Verstehstemich*, формально соотносящийся с моделью вопросительного предложения, но в действительности восходящий к вводному предложению, со значением «ум, понятливость, смекалка», ср.: *Er hat keinen Verstehstemich* «он недогадлив». С другой стороны, следует учитывать все те окказионализмы, которые имеют модели не только императивных имен, но и всех других типов предложений. Представляется, что это два разных явления.

<sup>3</sup> Впрочем, как отмечает А. Линдквист, далеко не все так называемые императивные имена восходят к императивным предложениям. По его мнению, многие существительные, названные им «Satzwörter», в лингвистической литературе ошибочно соотношены с императивными предложениями и в действительности восходят к повелительным (*Hassenpflug, Haberecht, Habenichts, Taugenichts, Tunichtgut, Wagehals, Störenfried*) [17].

Кроме отдельных слов и их составляющих могут быть субстантивированы словосочетания: *Da war es wieder, jenes Bis-hierher-undnichtweiter...* [18, с. 272], простые распространенные и нераспространенные предложения — повествовательные: *ein Wolltemalundkonntenicht* [19, с. 361], *dieses Weißnichtwohin, Weißnichtwoher* [18, с. 267], вопросительные: *dieses Was-wäre-geworden-Wenn* [19, с. 426], повелительные: *mit vielen Schau-dochmal* [19, с. 130], эллиптированные: *...Und Gotti heilig will gerade ein Nun-aber-gute-Nacht sagen...*. Субстантивироваться могут также различные типы сложных предложений: *Jetzt nicht allein bleiben, die kleine Überlegenheit nutzen und eben jenes elende Ach-was-heut-ist-heut, Wer-weiß-ob-wir-morgen-nicht-alle-schon-tot, jenes gräßliche Torschlußgefühl, das er wohl herausspüren mochte* [18, с. 278]; *Erstlich den Feldküchenpferden, für die war es vorbei mit dem betulichen Kommst-du-heut-nicht-kommst-du-morgen...* [18, с. 308].

Иногда сентенциональные субстантиваты выполняют функции однородных членов предложения, при этом однородность наблюдается как между разными субстантиватами, так и между субстантиватом и другим существительным: *Ein Mann ist degradiert von Heimkehrer zum Dableiber, zum Achgottweißwas* [18, с. 558]. Целые словосочетания и предложения могут функционировать в качестве первого, атрибутивного члена поликомпонентных существительных: *der Bishierherundnichtweiter-Verein, die normfromme Diekirchemußindorfbleiben-Gemeinde, das erschreckend große Allesmußseinegrenzenhaben-Lager* [19, с. 296], *dieses Ich-rette-euch-Gefühl* [19, с. 341], *die zweckmäßigste Wie-krieg-ich-Glanz-aufs-Koppel-Methode* [18, с. 18], *in diesem winzigen Als-war-nichts-geschehen-Land* [18, с. 579]. Сложные предложения также могут выступать в качестве атрибутивных компонентов сложных слов: *dieses Verweile-doch-du-bist-so-schön Gefühl* [18, с. 82].

С точки зрения своей семантики подобного рода субстантиваты не однородны. Большинство из них представляет собой опредмеченное обозначение часто встречающихся в жизни людей типичных ситуаций и часто напоминает предложения-клише. Нередко субстантивации подвергаются высказывания героев произведений, изречения исторических личностей, а также актуальных в ту или иную историческую эпоху социальных девизов. Сентенциональный характер их значения сближает их с поговорками и пословицами.

Под явлением, называемым субстантивированным инфинитивом, скрываются два взаимосвязанных, внешне одинаковых, но по своей сути разных явления. Неверным представляется любой номинализованный глагол с *-en* квалифицировать как субстантивированный инфинитив. В рамках так называемых субстантивированных инфинитивов следует разграничить три группы слов: 1) устойчивые субстантивированные инфинитивы, т. е. лексикализованные номинализации, не нуждающиеся в тексте вообще и зафиксированные большинством лексикографических источников с той или иной степенью точности, например, *das Leben* «жизнь», *Ansehen* «вид, внешность», *Aufsehen* «сенсация», *Behagen* «приятное чувство, удовольствие», *Versprechen* «обещание» и т. д.; 2) номинализованные предикаты, за которыми было бы целесообразно закрепить название «предикатные имена, предикатные номиналы», указывающие на пропозитивный характер данного номинализованного комплекса; 3) окказиональные субстантивированные инфинитивы (имеются в виду те случаи, когда они представлены в тексте как в самостоятельном синтаксическом употреблении, так и как зависимый член предложения без синтаксических опор, т. е. актантов).

Любой глагол может выступать в двух ипостасях — в виде субстантивированного инфинитива и как ядро номинализованной пропозиции — в зависимости от того, является ли номинализованная форма с *-en* простым, «голым» определенным обозначением действия или она представляет собой компрессированный и преобразованный эквивалент предиката предложения с его актантами, ср.: *Reden ist Willensschwäche* [20, с. 128]; *Er hielt inne. «Ich sehe schon, mein Reden nützt viel»* [21, с. 37].

Однако не всегда представляется возможным провести четкую грань между указанными разновидностями номинализаций с *-en*. Если исходить из критерия возможности антецедентной или консеквентной ревербализуемости предикатных имен в тексте, то не всегда ясно, какова степень этой ревербализуемости и какая текстовая дистанция допустима между номинализованной и ревербализованной формами. Идеальным контекстом для номинализации предиката предложения следует считать рядоположенность номинализованных и номинализуемых конструкций, например: *Wir, Kommunisten, sehen die Dinge anders als die Ausbeuter und ihre dienstbaren Geister. Unser Anderssehen gilt aber den Dingen. Es handelt sich um die Dinge, nicht um die Augen. Wenn wir lehren wollen, daß die Dinge anders gesehen werden sollen, müssen wir es an den Dingen lehren* [22, с. 381].

В тексте часто наблюдается дистантное расположение номинализаций и их финитных форм. Кроме того, следует подчеркнуть опосредованный характер пропозитивных номинализаций, выражающийся в том, что номинализация может быть соотнесена с синонимами, антонимами, вообще многими другими средствами текста, обеспечивающими референциальное родство между номинализациями и их мотивирующими финитными эквивалентами.

Наличие агентивно-пациентивной структуры обеспечивает номинализации относительную независимость от микротекста: *Nur einige Wochen vor den Jubiläums zum 200. Jahrestag der Besiedlung des fünften Kontinents durch Europäer beschäftigt sich die australische Öffentlichkeit...* [WP, 1987, 49, с. 9]<sup>4</sup>.

Предложения, состоящие из номинализаций с пациентивами, но не имеющие агента, при опоре на текст оказываются лично-субъектными номинативными предложениями: например: *Das Hersagen und Herunterleiern der Gewehr- und Maschinengewehrteile. Das Waffenreinigen, und immer wieder das Waffenreinigen. Das Ausbürsten der Rösche, das Befummeln der Hosennähte, das Polieren der Lederkoppel und Stiefel. Endlich das Putzen der Pferde* [23, с. 403].

Говоря о субстантивации инфинитива и номинализации предиката, следует указать на высокую степень грамматизованности этих процессов. Нередки случаи номинализации как отдельно взятой грамматической формы, например, таких форм, как инфинитив I и инфинитив II в активе, пассиве или стативе, так и грамматической оппозиции в целом: *...Für ihn ging es um Rechtgehabhaben, Freigesprochenwerden von der Geschichte...* [18, с. 18]; *Das meiste Leid kommt daher, daß sich so wenige Menschen auf das Vergessen und das Vergessenwerden einrichten* [24, с. 196].

Субстантивация инфинитива и номинализация предиката по своей продуктивности и универсальности (в смысле охвата ими лексики языка) могут быть поставлены на один уровень с грамматическими категориями. Правда, некоторые лингвисты указывают на те или иные группы глаголов,

---

<sup>4</sup> В статье приняты следующие сокращения: WP — Wochenpost; RZ — Romanzeitung.

инфинитивные формы которых не могут быть субстантивированы. Однако сам факт выявления исключений, сама принципиальная возможность установления таких групп глаголов служат свидетельством высокой степени грамматичности этой модели. Более того, с точки зрения охвата глагольной лексики номинализации с *-en* характеризуются большей грамматичностью, чем некоторые грамматические категории глагола. Так, если категория залога испытывает на себе ограничения синтаксического порядка (как известно, непереходные глаголы не способны к образованию пассива), то номинализации в немецком языке, как отмечает Й. Томан, не имеют каких-либо синтаксических или морфологических ограничений и основными дистрибутивными ограничениями являются семантические [25, с. 84], т. е. те же, что и факторы, противодействующие универсальному характеру таких грамматических категорий, как лицо, число, время и т. д. Б. Зандберг выдвигает даже гипотезу, что существует прямая связь между дефектностью темпоральной парадигмы глагола и исключениями в функционировании модели номинализации с *-en* [26, с. 8]. Данное положение имеет принципиальное значение при решении вопроса, имеет ли место в каждом конкретном случае субстантивация инфинитива или номинализация предиката. Невозможность образования существительных с *-en* от глаголов с дефектной парадигмой говорит в пользу тезиса о предикатном характере номинализаций. Некоторые семантические группы глаголов легко номинализируются с *-en*, между тем как номинализации с другими суффиксами вообще невозможны или редки. Сюда относятся, например, глаголы звучания (*das elektrische Summen des Lifts, ein leises Klopfen, ein Stöhnen, das Schluchzen der Frauen, das Rauschen der Brausen, das Quetschen, das Zischen der Schier, das Jaulen des Hundes*).

В контексте теории номинализаций следует рассматривать также теорию пропозиций. Как отмечалось выше, номинализация в широком смысле ее понимания состоит из пропозитивной и непропозитивной частей, а пропозитивные номинализации, в свою очередь, подразделяются на предикативные пропозитивные номинализации и полупредикативные пропозитивные номинализации. Первый тип номинализаций можно было бы назвать чисто синтаксическим: синтаксическая структура не претерпевает никаких формальных изменений, если не считать включения номинализаций в состав матричного предложения с помощью препозитивных прономинальных компонентов *то, что* или прономинальных компонентов в сочетании со словом-идентификатором *факт* и его синонимами *тот факт, что; то обстоятельство, что*. Поэтому совершенно оправданной представляется квалификация некоторыми лингвистами подобного рода номинализаций как неполных [9]. Данный тип номинализаций не имеет отношения к словообразованию, и применительно к нему следовало бы говорить не о номинализации, а о прономинализации. Большой интерес представляет второй тип номинализаций, названных нами полупредикативными. Именно через этот тип номинализаций происходит глубинное взаимодействие синтаксического, словообразовательного и лексического уровней языка. Именно здесь осуществляется как в ретроспективном, так и в синхронно-динамическом плане процесс преобразования одних единиц языковой номинации в другие и можно проследить динамику цепи «предложение — словосочетание — (компрессированная, номинализованная) пропозиция — слово». Второй тип номинализаций представляет собой собственно номинализации, так как в качестве ядра номинализованной пропозиции выступает грамматически, т. е. морфологически (в немецком языке также орфографически), оформленное слово, харак-

теризующееся не только синтаксической функцией существительного, но и всеми теми парадигматическими характеристиками, которые присущи морфологии существительного как части речи (родовая спецификация, склонение по падежам, употребление с артиклем). Строго говоря, в данном случае речь должна идти о морфолого-синтаксической номинализации. Нуждается в уточнении термин «полупредикативная пропозитивная номинализация». Одни лингвисты считают, что понятие пропозиции носит родовой характер и пропозитивное содержание могут иметь как предикативные, так и непредикативные конструкции [27, с. 482]. Пропозиция определяется как «класс семантических объектов, десигнатов, в плане выражения соотношенных с элементарными предложениями, его редукциями и номинализациями, которые могут быть предикативными и непредикативными» [28, с. 28]. К непредикативным относится пропозиция, передаваемые словосочетанием, например: *После отъезда Ивана Ивановича мы переселились в другой дом* [27, с. 482]. Но если исходить из определения пропозиции как «предиката с заполненными валентностями» [29, с. 10], то, как отмечают В. Б. Касевич и В. С. Храковский, «носителем предикативности выступает пропозиция, а носителем объективной модальности — внутренняя модальная рамка» и, следовательно, «предикативность с семантической точки зрения — не что иное, как сопоставление предикату его актантов» [29, с. 12].

Таким образом, с точки зрения семантической грамматики перед нами в обоих случаях — предикативная номинализация, а с точки зрения формально-структурной номинализованная пропозиция подпадает под категорию непредикативных единиц, так как предикативность не выражена финитной формой глагола. Как раз эта половинчатость признаков предикативности у номинализованных пропозиций — сохраняется актантная структура глагола, но сохраняется не в каноническом, а в грамматически преобразованном виде — позволяет нам рассматривать номинализованные пропозиции как полупредикативные.

Рассмотрим некоторые синтаксические или, шире, текстовые особенности полупредикативных номинализаций. Как известно, глагол, согласно вербоцентрической концепции предложения, образует ядро, а остальные члены принято считать его актантами. Поскольку номинализации определяются как класс конструкций, выполняющих в предложении функции именных фраз и коррелирующих с лежащими в их основе предикатными пропозициями, свертывание последних не может не сопровождаться изменениями в его синтаксической структуре, хотя пропозитивная структура остается одной и той же. Номинализация предиката матричного предложения (mother-sentence) [9], где он является коммуникативным ядром, и включение его в состав следующего, расположенного непосредственно за ним или дистантно предложения в качестве темы (в целях обеспечения коммуникативной перспективы высказывания при развертывании, прогрессии текста), невозможно в отрыве от аргументов предиката подвергающегося номинализации предложения. Номинализация сохраняет не только лексическое значение базового глагола, но с той или иной степенью последовательности и полноты и его аргументы. Важнейшими актантами глагола являются агентив и пациентив, т. е. субъект и объект действия, а также обстоятельства. Однако нет прямого соответствия между агентивом и пациентивом номинализации и подлежащим и субъектом в поверхностной структуре канонического предложения в действительном залоге. В номинализации агентив и пациентив выступают в синтаксически преобразованном, трансформированном виде. Роль агенса в но-

минализованной пропозиции выполняет субъектный генитив (*genitivus subiectivus*), пациентс находит свое выражение в объектном генитиве (*genitivus obiectivus*).

Агентивно-пациентивная аргументная структура характерна для номинализаций с разными суффиксальными моделями. Как правило, *genitivus subiectivus* сопровождает номинализации предикатов, выраженных непереходными, в особенности так называемыми субъектными глаголами: *Wilhelm Piecks Erscheinen wirkte auf die redaktionellen Durchhaltesozialisten wie eine eiskalte Dusche* [30, с. 61]. Максимальная облигаторность *genitivus subiectivus* наблюдается при номинализациях с *-en* глаголов звучания (*das elektrische Summen des Lifts, das Schluchzen der Frauen, das Rauschen der Brausen, das Stampfen des schnaufenden Pferdes, das Zischen der Schier*) и глаголов, выражающих мимико-жестовое поведение (*das Grienem, Grinsen, Gähnen, Lachen, Lächeln, Nicken, Schmunzeln*).

Богатым набором языковых средств выражения характеризуется пациентс номинализованного предиката и инфинитивной группы. Наиболее продуктивным из них является генитив объекта, или объектный генитив (*genitivus obiectivus*). В образовании номинализаций с пациентивным аргументом участвуют все продуктивные модели поля.

Следует указать на явный параллелизм и аналогию как в характере выражения, так и в продуктивности и частотности, а также в различной коммуникативной значимости между безличными, дву- и трехчленными формами пассива и номинализациями в сопровождении агентивов и пациентивов или без них, ср.: *Nach der Einführung des Braunschens Rohres als Bildwiedergabebauelement durch Manfred von Ardenne entwickelte sich das elektronische Fernsehen unaufhaltsam* ( $\approx$  *Nachdem das Braunschens Rohr durch / von Manfred von Ardenne eingeführt war, entwickelte sich...*) [WP, 1987, 24, с. 16].

Как и двучленный пассив, в немецком языке наиболее распространенной является модель номинализации предиката с пациентивным аргументом, которая легко может быть трансформирована в двучленную пассивную конструкцию: *Nach der Gründung der DDR begannen sich die Dorfbilder zu wandeln* [WP, 1987, 40, с. 16]. В номинативных предложениях субстантивированные инфинитивы также должны рассматриваться как номинализации, а именно как номинализованные эквиваленты безличного пассива или обобщенно-личных и неопределенно-личных предложений с местоимением *man*, что носит очевидный характер в тексте: *Wiehern und Johlen, dann wird Rosa Luxemburg, die wehrlose, blasse Frau, in ihre Mitte gestoßen* [30, с. 91]. При наличии объектного генитива в составе номинативных предложений они могут быть трансформированы в двучленный пассив: *Dann das Dekret über die Konstituierung der Regierung, einer wie es heißt, «provisorischen Arbeiter- und Bauernregierung», die den Namen «Rat der Volkskommissare» führt. Verlesung der Namen der Mitglieder des Rates.* ( $\approx$  *Die Namen der Mitglieder des Rates werden verlesen* [WP, 1987, 45]). Лишь «голая» номинализация без актантов может быть соотнесена с безличной пассивной копструкцией или с предложением с *man* без каких-либо объектов: *Irgendwo erhielt jemand laut einen Befehl. Klopfen an den Zimmertüren, Murmeln, Schließen der Zimmertüren. Noch da und dort ein Gehen. Irgendwo ein ferner Ruf... ein Hupen... sonst schwere, lesende Stille* [30, с. 93].

Номинализации так называемых субъектно-объектных глаголов могут употребляться как с актантами, унаследованными от соответствующих глаголов, так и без них, в зависимости от того, номинализован ли

субъектный ЛСВ глагола или его объектный ЛСВ, ср.: *Es ist nicht zu leugnen, daß das Trinken alkoholischer Getränke leicht der Kontrolle entgleiten kann...* [WP, 1987, 30, с. 30]. *Nun ist allgemein unsere gesellschaftliche Toleranz gegenüber dem Trinken sehr groß...* [WP, 1987, 30, с. 30]. Одно и то же существительное может сочетать в себе две семантические роли: оно может выполнять роль пациентива номинализованного предиката и роль агентива предиката матричного предложения, и, наоборот, агентив номинализации одновременно является пациентивом матричного предиката: «*Mehr als je*». *Der Soldat horchte auf das Gedröhn, das Motoren beim Anlassen verursachten* [31, с. 12]. [*Motoren* можно рассматривать 1) как агенс действия предиката *Gedröhn verursachen* и 2) как пациентив номинализованного предиката *Anlassen: der Motor wird angelassen/man läßt den Motor an*].

Аргументная конфигурация предиката не исчерпывается только его агентивно-пациентивной структурой. В и.-е. языках представлена богатая система предлогов, служащих обеспечению синтаксических связей между предикатом и его актантами — дополнением и обстоятельством. Предлоги в качестве средств обеспечения синтаксической связи глаголов и их номинализаций с другими словами в предложении не характеризуются константностью. Можно указать на следующие особенности их употребления: 1) управление глагольного предиката матричного предложения наследуется соответствующей номинализацией, 2) при номинализациях появляются предлоги, которые при соответствующих глаголах отсутствуют, 3) глагол и его номинализация имеют беспредложное управление, 4) глагол и номинализация употребляются с разными предлогами.

Между номинализацией и ее источником существует многообразие ана- и катафорических формальных и смысловых связей. В идеальном случае номинализация является как формально, так и семантически мотивированным продуктом текста. Это такие случаи, когда номинализация и представленные в дискурсе в виде антецедента или консеквента номинализируемые пропозиции характеризуются лексическим тождеством своих компонентов, но различным грамматическим оформлением последних. Однако в тексте нередко можно проследить отсутствие формальных связей между номинализацией и ее финитным эквивалентом. Тогда номинализация оказывается мотивированной только семантически. Здесь возможны самые неожиданные комбинации: полная, частичная формальная общность или отсутствие такой общности вообще. Тогда смысловая связь между номинализованными и финитными пропозициями как одна из разновидностей когезии текста носит опосредованный характер. Она выявляется через установление различных референциальных связей между частями глагола, например, таких, как синонимия, антонимия, гипонимия и гиперонимия, отношения лексических солидарностей, отношения пресуппозиции, наличие в ее окружении слов одного тематического ряда и т. д., т. е. всего того, что можно объединить под термином Ван-Дейка «*fact relatedness*» [32].

Когерентность, т. е. лексико-семантическая целостность текста и его частей (тем и микротем разного объема и сложности), ситуативная референция речевого произведения, степень осведомленности говорящего/пишущего и адресата сообщения о социальной значимости описываемых событий, включая их временные и пространственные характеристики, а также ряд других факторов обуславливают явление эллипсиса компонентов номинализованных пропозиций. Номинализация — это прежде всего повтор, указание, т. е. разновидность сигнификативного дейксиса, и уже одного этого достаточно для объяснения тенденции к устранению



всего информативно-избыточного. Особенно типичен эллипс агентива и пациентива номинализации при их тождестве с субъектом и объектом матричного предложения: *Er begann jetzt mit den Pflanzen zu spielen wie früher mit den Vögeln. Das Wachsen und Keimen im Garten erregte ihn* [23, с. 94].

Спектр значений, передаваемых номинализациями в сочетании с различными предложениями, достаточно богат. В них могут быть выражены все те синтаксические значения, которые характерны для придаточных предложений (темпоральных, уступительных, цели, следствия, причины, условия), а также инфинитивных конструкций с *zu*, *um... zu*, *ohne... zu*.

Особенно богатым набором значений обладают номинализации с большим количеством темпоральных предлогов, способные выражать все разновидности таксисных отношений, причем выражаемые ими таксисные отношения универсальны для всех временных ступеней (прошедшей, настоящей и будущей).

Имена действия не существуют в лексической системе языка в отрыве от других классов существительных. Уже самим фактом опредмечивания создается общая основа с другими существительными. Определенность, нечто предметно мыслимое испытывает на себе индуцирующее воздействие семиологического ядра предметности — существительных с конкретно-предметным значением. С этой точки зрения интересным представляется выявление степени «опредмеченности», «десинтаксизации» номинализаций, образованных по разным суффиксальным моделям, что прежде всего может быть осуществлено в результате анализа соответствующих классов производных как словарных единиц.

В суффиксальной системе существительных современного немецкого языка (впрочем, по-видимому, не только немецкого, но и других и.-е. языков) можно выделить три основных, первичных семантических пространства-поля — акциональности (*nomina actionis*), агентивности (*nomina agentis*) и качественности (*nomina qualitatis*) и значительное число вторичных, производных от первых деривационно-семантических полей, полей-сателлитов. Наиболее мощным семантическим потенциалом обладает поле акциональности, служащее богатым источником существования широко разветвленной системы полей-спутников. Диалектика развития семантической структуры номинализаций такова, что значение опредмеченного действия в большинстве моделей выступает в сочетании со значением состояния, возникшего как результат определенного этапа данного действия, его продукта, места, орудия и т. п. В конечном счете эти значения приобретают определенную автономию и являются единственными для некоторых производных. Так, в современном немецком языке выделяется целая группа вторичных по отношению к полю *nomina actionis* деривационных значений, являющихся единственными значениями производных: поле результативного пациенса, которое может состоять из двух зон — конкретно-результативного пациенса (*Aushang* «das öffentlich... Ausgehängte», *Einschub* «ingeschobenes Stück, Zusatz», *Gestrick* «das Gestrickte» [33]) и абстрактного результативного пациенса (*Ausspruch* «kürzere, bedeutsame Meinungsäußerung», *Entschluß* «der nach einer inneren Entscheidung gefaßte Vorsatz»), поле локативности (*Behausung* «Wohnstätte, Unterkunft», *Frosterei* «Betrieb, in dem Lebensmittel gefrostet werden»), поле инструментальности [*Drossel* (Techn.) «Vorrichtung in einer Leitung zum Regeln oder Absperren eigener Flüssigkeit»), поле агентивности (*Abwart, Koch*), поле абстрактности (*Abneigung, Ausdauer, Geruch, Frost*), поле собирательности (*Bereifung, Geröll, Kanalisation*), поле стива (*Befall*,

*Bestürzung, Lähmung*), поле пациентивности (*Geschenk, Gesteck*), поле единичных действий (*Husch, Hops, Knall*), различных конкретных предметов (*Aufmachung, Bekleidung, Leckerei*) и т. д.

Все перечисленные выше деривационно-семантические категории, входя в самые разнообразные комбинации как со значением акциональности, так и друг с другом, создают громадное число комплексных семантических моделей. Их оказалось около 70. Наиболее активными семантическими категориями deverбативных номинализаций, создающих многообразие семантических моделей, являются *nomina actionis, nomina loci, obiect. res. pass., nomina abstracta, nomina concreta, nomina stativa*. Базовое поле *nomina actionis* имеет модель-идентификатор, служащий его структурным стержнем и интерпретационной формулой всех суффиксальных моделей, конституирующих данное поле. Таковой является модель номинализации с *-en*, например: *Drehung* «das Sichdrehen», *Entlohnung* «das Entlohnen», *Einflug* «das Einfliegen», *Drill* «scharfes, tägliches Exerzieren, Üben» [33]. Производные поля результативных пациентивов содержат в своей семантической интерпретационной формуле перфектную форму пассива или причастия II: *Aufguß* «durch Aufgießen bereite Lösung», *Legierung* (Techn.) «durch Zusammenschmelzen von zwei oder mehreren Metallen erzeugtes Mischmetall», пациентивы соответственно эксплицируются через презенс пассив: *Gesteck* «etw., was auf den Hut gesteckt wird» и т. п.

Разнообразие семантических моделей производных в значительной мере обусловлено лексико-грамматическими признаками глаголов «переходность/непереходность» и «предельность/непредельность», вызывающими в производных рефлексы категории залога и вида. Из всех выявленных семантических моделей в 31 представлено значение, так или иначе связанное с категориями пассива, статива, локативности.

Из анализа семантической структуры производных, образованных по моделям, обслуживающим поле имен действия, можно заключить, что разным моделям свойственна различная степень вербогенности, т. е. сохранения глагольной семантики действия на категориальном уровне. Одна модель обслуживает только поле имен действия и может считаться моделью-идентификатором, так как значения или ЛСВ действия всех остальных моделей данного поля интерпретируются в словарях через однокорневую номинализацию с суф. *-en*, например: *Bevorzugung* «das Bevorzugen», *Anprall* «das Anprallen», *Abmarsch* «das Abmarschieren», *Ablage* «das Ablegen», *Kristallisation* «das Kristallisieren», *Absprung* «das Abspringen» [33].

Универсальность номинализаций с *-en* при интерпретации других акциональных моделей настолько высока, что она охватывает даже глаголы с *sich*, что невозможно ни в одной другой модели, ср.: *Qualifikation, Qualifizierung* «das Qualifizieren, Sichqualifizieren», *Erguß* «das Sicherergießen».

По степени сохранения глагольного характера своего лексического значения, т. е. по своей вербогенности, модели не одинаковы и образуют шкалу по мере убывания вербогенного характера своего значения. Убывание вербогенности предполагает развитие в семантической структуре производных конкретных предметных значений. Одни модели сохраняют высокую степень связи с глагольной семантикой, что является гарантом их высокой продуктивности в тексте (например, модели с *-ung, -ei, -tion, Ge.../e*), дру-

гие обслуживают в равной мере как свое первичное поле — *nomina actionis*, так и другие поля, в третьих моделях доминируют неакциональные значения, например, модели с *-e*, *-nis*.

Семантическая структура производных, образованных от аблаутных форм глагола, менее глагольна, чем другие модели, и характеризуется более четко выраженной тенденцией к развитию неакциональных значений. Речь идет о моделях, в которых участвует так называемая внутренняя деривация, например, *schneiden — Schnitt; schreiben — Schriebe, aussprechen — Aussprache/Ausspruch; geben — Gabe; Fliehen — Flucht* и т. п. Это положение подтверждают статистические данные<sup>5</sup>. Так, из 990 существительных, образованных по моделям с суф. *-θ*, *-e*, *-t* и конфиксом *Ge...θ/e*, 440 (т. е. 44,4%) однозначно выражают акциональность, в то время как из 266 существительных, образованных по этим же моделям, но при участии форм основ претерита и причастия II, только 69 (т. е. 25,93%) могут быть отнесены к акциональным. Данное наблюдение позволяет прийти к заключению, что сравнительно большой удельный вес неакциональных значений (конкретно-предметных, сатива, пациенса, эфициенса и т. п.) является следствием рефлекса их грамматических значений в семантической структуре соответствующих производных существительных. Обращение их семантической структуры неакциональными значениями является дополнительным подтверждением того, что глаголы сильного спряжения составляют древний слой глагольной лексики. Морфологическая гибкость глагольных основ немецкого языка в словоизменении (явления преломления, перегласовки по умлауту и аблауту) имела далеко идущие последствия также для отглагольного словопроизводства. Именно этим обстоятельством можно объяснить богатые словообразовательные парадигмы основ сильных глаголов, ср. *Schreiben — Schrift, Schreiben, Schreiber, Schreibe, Schrieb, Schreibung, Schreiberei, Geschreibsel; fahren — Fahrt, Fuhre, Fähre, Fahren, Fahrerei, Fahrung*.

Поскольку в немецком языке номинализации может быть подвергнут почти любой глагол, некоторые типы номинализаций не нуждаются в лексикографической параметризации. Чем выше степень грамматизованности в смысле универсальности охвата лексики, тем меньшим количеством производных представлена модель в словарях, и наоборот, чем выше степень лексикализованности производных, образованных по данной модели, тем полнее их список в словаре. Продемонстрируем данное положение на примере номинализаций с *-en* и других суффиксальных моделей поля *nomina actionis*. Модель с *-en*, являющаяся самой продуктивной моделью номинализаций современного немецкого языка, характеризуется минимальной репрезентативностью в лексикографических источниках. Обычно в словарях представлены только устойчивые субстантивированные инфинитивы, которые рассматриваются как лексикализованные номинализации. Удельный вес таких лексикализованных номинализаций настолько ничтожен, что практически не представляется возможным определить, какую долю процента по отношению к номинализациям с *-en* они могли бы составить вообще. По нашим подсчетам, в первых трех томах Берлинского словаря современного немецкого языка (буквы *A — L*) зафиксировано всего 65 устойчивых инфинитивных субстантиватов с

<sup>5</sup> Количественные данные взяты из первых трех томов словаря современного немецкого языка (см. [33]).

87 ЛСВ, что составляет лишь 3,82% по отношению к корпусу производных с *-ung*. Примечательно также, что их семантическая и функционально-стилистическая характеристики в корне отличаются от соответствующих характеристик окказиональных инфинитивных субстантивов и предикатных имен. Их семантическая особенность состоит в том, что они развили неакциональные, абстрактные и конкретно-предметные значения, а это находит свое отражение также в их морфологических характеристиках. Например, 28% из них способны образовать форму мн. числа, что не свойственно номинализациям с *-en*. Их семантическая особенность заключается также в том, что они характеризуются смысловой компактностью, а именно антропоцентризмом. В основном это существительные, обозначающие поведение, социальную позицию, желания и внутреннее состояние человека.

Анализ морфолого-словообразовательных, синтаксических, семантических и отчасти функционально-стилистических свойств номинализаций показал, что они характеризуются богатым спектром разновидностей, образующих континуум переходов от предложения к слову как лексической единице. Номинализации представляют собой тот механизм, с помощью которого одни номинативные единицы преобразуются в другие и который служит источником обогащения словарного состава языка. Высокая степень грамматизованности пропозитивных номинализаций, образующих ядро поля *nomina actionis*, обеспечивает их безграничную продуктивность и гибкость. С текстоцентрической точки зрения модели номинализаций относятся к наиболее текстоориентированным и текстообусловленным.

Будучи полупредикативными пропозициями, деривативные номинализации позволяют выразить пропозитивные значения в компрессированном, более экономном виде, чем их более развернутые и структурно более громоздкие и тяжеловесные синтаксические предикативные эквиваленты — предложения. Важнейшей причиной продуктивности и частотности номинализаций является их способность служить сигнификативным действенным средством, дающим возможность осуществлять коммуникативные преобразования в целях обеспечения тематической прогрессии дискурса.

Значительна роль номинализаций в выражении причинно-следственных отношений, а также в организации такого важного параметра текста, как временная ось. Благодаря номинализациям становится возможным построение глубоко эшелонированной объемной темпоральной перспективы текста.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Porzig W. Die Leistung der Abstrakta in der Sprache // Das Ringen um eine neue Deutsche Grammatik. Darmstadt, 1962. S. 267.
2. Daniels K. H. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Nominaler Ausbau des verbalen Denkkreises. Düsseldorf, 1963.
3. Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия // ВЯ. 1974. № 5.
4. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
5. Dokulil M. K. Otázce slovnedruhových prevodu a prechodu, zvl. transpozice // SaS. 1982. Ročn. 43. Č. 4.
6. Newmeyer F. The precyclic nature of predicate raising // Syntax and semantics VI: The grammar of causative constructions / Ed. by Shibatani B. N. Y., 1976.
7. Lees R. B. The grammar of English nominalizations. The Hague, 1960.
8. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1966.

9. Vendler Z. Adjectives and nominalizations. The Hague, 1968.
10. Colen A. A syntactic and semantic study of English predicative nominals. Brussels, 1984.
11. Храковский В. С. Предисловие // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
12. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 143.
13. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения. М., 1981. С. 186.
14. Павлов В. М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования. Л., 1985.
15. Wengenheim I. von. Die Entgleisung // RZ. 1984. 1.
16. Schirmer B. Doktorspiel // RZ. 1981. 10. S. 32.
17. Lindquist A. Satz Wörter. Göteborg, 1961. S. 86.
18. Schulz. Laufen ohne Vordermann. Berlin, 1979.
19. Kant H. Das Impressum. Berlin, 1972.
20. Wogatzki B. Romanze mit Amélie // RZ. 1980. 4.
21. Kaufmann W. Stimmen im Sturm // RZ. 1981. 8.
22. Brecht B. Vorwärts und nicht vergessen... Moskau, 1976.
23. Strittmatter E. Wundertäter. Bd 1. Moskau, 1962.
24. Weisenborn G. Memorial. Berlin; Weimar, 1974.
25. Toman J. Wortsyntax. Eine Diskussion ausgewählter Probleme deutscher Wortbildung // Linguistische Arbeiten. Bd 137. Tübingen, 1983.
26. Sandberg B. Die neutrale -(e)n-Ableitung der deutschen Gegenwartssprache // Göteborger germanistische Forschungen. 1976. Bd 15.
27. Белошанкова В. А., Земская Е. А., Милославский И. Г., Панов М. В. Современный русский язык. М., 1981.
28. Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.
29. Касевич В. Б., Храковский В. С. От пропозиции к семантике предложения // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
30. Erpenbeck F. Wilhelm Pieck. Berlin, 1951.
31. Steinberg W. Fahndung nach dem Untier // RZ. 1983. 2.
32. Dijk T. A. van. Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. L.; N. Y., 1977. P. 47.
33. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd 1—6 / Hrsg. von Klappenbach R. und Steinitz W. Berlin, 1970—1978.

ШЕРВАШИДЗЕ И. Н.

ФРАГМЕНТ ОБЩЕТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКИ  
ЗАИМСТВОВАННЫЙ ФОНД

На протяжении своей истории тюркские языки вступали во взаимодействие с различными окружающими их языками. В результате, естественно, лексика отдельных тюркских языков оказалась насыщенной весьма большим количеством иноязычных заимствований. Разбор всей заимствованной лексики в тюркских языках, разумеется, не входит в нашу задачу: в настоящей работе мы ограничимся предельно кратким рассмотрением лишь наиболее древних пластов заимствований (никак не претендуя при этом на абсолютный охват всего существующего материала). Следует поэтому предварительно оговорить некоторые исходные предпосылки, позволяющие выделить более или менее компактный слой общетюркской заимствованной лексики.

«Общетюркской» в данной работе мы будем называть всякую лексику, засвидетельствованную в древнетюркских письменных памятниках не позднее XI в. (т. е. не позднее, чем в словаре Махмуда Кашгарского) и при этом представленную хотя бы в нескольких современных тюркских языках. Первое ограничение позволяет убедиться в достаточной древности данной лексемы в пределах тюркской языковой общности (хотя в отдельных случаях иноязычное слово может оказаться общетюркским и при отсутствии древнеписьменной фиксации<sup>1</sup>). Второе ограничение позволяет исключить из рассмотрения довольно большой слой «окказиональных» заимствований в древнетюркском, не сохранившихся в современных языках (в большинстве своем это каноническая и прочая специальная лексика китайского, индийского или иранского происхождения, встречающаяся преимущественно в древнеуйгурских текстах различного содержания, но недостаточно освоенная и впоследствии забытая)<sup>2</sup>.

Выделенный таким образом слой общетюркской заимствованной лексики можно подразделить на несколько групп: 1. Заимствования из китайского языка; 2. Заимствования из иранских языков, в основном из согдийского или среднеперсидского (пехлевийского); 3. Сравнительно

<sup>1</sup> Подобных случаев довольно мало, и все они требуют специального обоснования (такого, например, как наличие для данной лексемы исконного чувашского соответствия, старых тюркизмов в венгерском или других языках и т. п.). Эти случаи следует четко отличать от очень богатого слоя «межтюркских» слов иноязычного происхождения — поздних заимствований (в основном поздних монголизмов, иранизмов, арабизмов и русизмов), распространившихся в среде тюркских языков после XIII в. Этой теме в данной работе мы не касаемся.

<sup>2</sup> Особый разряд слов — термины древнетюркской титулатуры — мы в порядке исключения перечисляем в данной работе, поскольку они вкупе с довольно большим количеством китаизмов не только свидетельствуют о степени влияния древнекитайской цивилизации на древнетюркскую, но и позволяют составить более полное представление об общем распределении заимствованной лексики по различным тематическим группам. Вклад иранской и иных культур в древнетюркскую отчасти будет уточнен нами в отдельной работе — «Фрагмент древнетюркской лексики. Титулатура».

небольшая часть заимствований из неиранских индоевропейских источников; 4. Заимствования из неидентифицированных источников. Характерно, что среди общетюркской заимствованной лексики встречаются единичные и окказиональные монголизмы, а также общетюркские слова, вероятно, финно-угорского (уральского) происхождения.

## I. Китаизмы

1. *\*alači* «шатер». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 33; 2, с. 129—130], широко распространено в современных языках (часто с суффиксальным *-k*, отраженным в русск. *лачуга*) со значением «шатер, палаш, лачуга» [3, с. 97—98; 4, с. 15; 5, с. 130—131].

Надежной этимологии слово не имеет. Рассмотрение *\*alači* как формы с суффиксальным *-či* [5, с. 131] (см. также [6, с. 91]) вряд ли оправданно (ср. [3, с. 101], где Г. Дёрфер пишет: «Возможно, культурное слово, происходящее из вымершего языка»). Представляется возможным сблизить тюркскую форму со ср.-кит. (1)<sup>3</sup> *lō-sā* / совр. *lūshè* «хижина; палаш в поле; деревенский дом, примитивная постройка» [7, с. 284]<sup>4</sup>. Произношение этого композита в позднедревнекитайском, по С. А. Старостину, должно было бы быть *\*la-sīá*. Начальный *a-* в тюркской форме объясняется как протетический (при регулярности протезы в древнетюркском перед анлаутным *l-*). Возможно также замещение ср.-кит. *š* тюркской аффрикатой *č* (при учете позднего характера тюрк. *š*). Не вполне ясна, однако, причина замещения кит. *-a* на тюрк. *-u* в ауслaute (но ср. № 19). По фонетическим особенностям, таким образом, данное заимствование можно датировать довольно ранним временем — ок. IV в. н. э.

2. *\*altun* (//*\*altin*) «золото». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 40; 2, с. 131], широко распространено в современных языках [3, с. 112; 4, с. 18; 5, с. 142].

Надежной этимологии слово не имеет. Оно обычно считается сложением, где в первой части представлено тюрк. *\*āl* «алый, красный» (*\*altun* < *\*āl-tun* с вторичным сокращением долготы). Вторую часть (*\*-tun*) М. Ряснен идентифицирует со словом, представленным в чув. *tuj* «бронза» и якут. *duj* «полуда» (<тюрк. *\*tuñ*). Гипотетическую праформу *\*tuñ* (*\*toñ*) М. Ряснен выводит из кит. *ton* «медь» [4, с. 18, 488]. Однако в китайских словарях подобное слово нами не обнаружено. Здесь мы имеем дело, по-видимому, с искажением этимологии Г. Рамстедта [8, с. 151], сравнивавшего тюрк. *\*-tun* в *\*al-tun* (без привлечения чув. и якут. форм) с кор. *ton* (ср.-кор. *tōn*) «благородный металл». Заметим сразу, что подобная этимология весьма сомнительна. К критике Г. Дёрфера [3, с. 114] следует добавить, что в кор. (и ср.-кор.) слово *tōn* обозначает не «металл», а «деньги» [9, 10]. Сблизение *\*-tun* с чув. *tuj*, якут. *duj* также вызывает сомнение ввиду несовпадения конечных согласных (не говоря уже о том,

<sup>3</sup> Здесь и далее полужирные цифры в скобках означают номера иероглифов, представленных в указателе (см. с. 70).

<sup>4</sup> В данной работе при транскрипции китайских слов мы придерживаемся среднекитайской и древнекитайской реконструкции С. А. Старостина, любезно предоставившего нам возможность пользоваться рукописью своей работы «Древнекитайская фонология» и оказавшего нам большую помощь при транскрибировании китайской лексики. По финно-угорской части работы ценные замечания были даны Е. А. Хелимским, а по работе в целом — А. М. Щербаком. Всем этим ученым мы приносим искреннюю благодарность.

что праформа *\*tuñ* для чув. *tuj* и якут. *duj* — лишь одна из возможностей реконструкции).

Вопреки Н. Поппе [11, с. 85, 117, 140], явно не оправданно рассмотрение тюрк. *\*altun* как исконно алтайского слова (соответствующие монгольские и тунгусо-маньчжурские слова, несомненно, имеют тюркское происхождение, а маньчж. *aisin* «золото» вообще не имеет отношения к рассматриваемому корню [12, с. 416]). При обстоятельной критике версии Н. Поппе Г. Дёрфер предполагает следующее направление заимствования: дотюрк. *\*alton* > монг. *altan* > эвенк. *altan, aldun*, сол. *altā* и т. п. [13, с. 142; 3, с. 114].

На фоне этих сомнительных этимологий оказалась несколько затупеванной еще одна этимология, предложенная Г. Рамstedтом [14, с. 18]: сближение тюрк. *\*-tun* с синокор. *toŋ* «латунь; медь». Естественно, тюркскую форму при этом следует сравнивать не непосредственно с кор. *toŋ* (известно преувеличение Г. Рамstedтом роли синокорейской лексики), но с его ср.-кит. прототипом (2) *duŋ* / совр. *tōng* «медь; бронза; латунь» [15, с. 262]. Известны и другие случаи передачи кит. -ŋ через тюрк. -n в древних заимствованиях (см., ниже, в частности, название чугуна), так что различие конечных согласных в данном случае не препятствует сближению тюркской и китайской форм.

Исходным значением тюрк. *\*al-tun* (// *\*al-ton*) было, по-видимому, «красная медь», ср. сохранение более архаичного значения в якут. *altan* «медь» (о том, что якутская форма не заимствована из монгольского, см. [13, с. 142]), а также в некоторых тунгусо-маньчжурских языках (нег. *altan* «медь», нан. *altā* «жесть», эвенк. *altan* «медь; золото» и др. [16]). В таком случае тюркскую форму можно считать калькой ср.-кит. (3) *čhek-duŋ* / совр. *chì-tóng* «красная медь» [17, с. 837], где *\*al-* = ср.-кит. *čhek* «красный», а *\*-tun* (// *\*-ton*) = ср.-кит. *duŋ* «медь». Происхождение тюрк. *\*-tun* < кит. *duŋ* представляется нам достаточно вероятным, учитывая вероятность китайского происхождения также ряда других тюркских названий металлов (см. № 4, 13, 14, 17). К этому ср. еще [18, с. 19—24; 6, с. 112—114] и др.

3. *\*äb* «жилище, становище». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 162; 2, с. 3—4], широко распространено в современных языках с закономерными фонетическими вариациями — *äv, öv, öj, üj* и др. [3, с. 226; 4, с. 34; 5, с. 513—514]. Древность слова удостоверяется наличием вероятного тюркизма (от *\*äb körüg*) в древнегрузинском — *ebgur-i* «дозорный, сторожевой» [19, с. 145].

Возведение тюрк. *\*äb* к китайскому принадлежит Е. Д. Поливанову [20], который относил эту форму к ср.-кит. (4) *'ip* (др.-кит. *\*'əp*) / совр. *yì* «поселение, населенный пункт; поселок, деревня» [17, с. 357]. Такое объяснение представляется вполне удовлетворительным. Заметим, что в подавляющем большинстве случаев китайские конечные *-t, -k* передаются в тюркском через *-r, -g*<sup>5</sup>, что соответственно делает достаточно вероятной и передачу кит. *-p* через *-b* (ср. № 6, 9, 31).

4. *\*bakır* «медь». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 82; 2, с. 317], широко распространено в современных языках [4, с. 58; 21, с. 45].

Надежной этимологии слово не имеет. А. Йоки [22, с. 80] и М. Ряснен [4, с. 58] в качестве источника тюркских форм приводят перс. *babur*

<sup>5</sup> Кит. *-t* передается через тюрк. *-t*, по-видимому, в самых ранних заимствованиях (см. № 9), а позднее — через *-r* (см. № 10, 14). К отражению кит. *-k* через тюрк. *-g* см. № 6, 26, 33, 34, а также № 7, 17, 18.



«медь; медная монета», однако подобное слово в персидских словарях (в частности, в словарях Борхана, Волластона, Вуллера, Гаффарова, Дехходá, Моина, Нафиси, Стейнгасса, Юнкера/Алави, Ягелло и др.) нами не обнаружено. В [21, с. 46—47] предполагается отглагольное происхождение \**bakir*, но производящая основа надежно не идентифицируется.

Учитывая возможность передачи в ранних китайских заимствованиях кит. -*n* через тюрк. -*r*<sup>6</sup>, мы считаем возможным сопоставить тюрк. \**bakir* со ср.-кит. (5) *bāk-ŋin* / совр. *báiyin* «серебро; серебряные деньги» [7, с. 601], досл. «белое серебро». В пользу такого сближения свидетельствует, в частности, наличие в древнетюркском специфического значения «китайские деньги» [24]. При этом ввиду отсутствия срединного -*ŋ*- в тюркской форме данное объяснение слова может оказаться не единственным возможным.

5. \**bakši* (\**bagši*) «учитель, наставник». Представлено в древнеуйгурских текстах различного содержания предположительно с VIII в. [1, с. 82; 2, с. 321], широко распространено в современных языках со значениями «писец, писарь; народный певец, музыкант; шаман; чародей» и др. [3, с. 271; 4, с. 59]. Заслуживает внимания, однако, указание Дж. Клосона [2, с. 321] на то, что реально слово отсутствует в тюркских источниках с IX по XIV в., а потому современные формы (кирг. *bağši*, узб. *bağši* и т. д.) могут не отражать непосредственно древнетюркскую форму, но представлять собой заимствования из монг. *baγši* [25, с. 70] (<др.-тюрк. \**bagši*).

При подробном разборе данного слова Г. Дёрфер [3, с. 271—274] справедливо отвергает выведение \**bakši* из скр. *bhikṣu* «нищий; странствующий монах» [26, с. 265] (так, например, [27; 28, с. 368] и др.) и поддерживает общепринятую в настоящее время этимологию: тюрк. \**bakši* «учитель, наставник» <ср.-кит (6) *bāk-si'* / совр. *bó'shì, bóshì* стар. «старший ученый, главный эрудит» (также должность и звание с дин. Тан) [15, с. 58; 29].

6. \**bäg* «правитель, вождь, бек». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 91; 2, с. 322—323], широко распространено в современных языках с различными модификациями значения [3, с. 389—392; 4, с. 67; 21, с. 97—98]. Титул *bäg*, согласно Г. Дёрферу [3, с. 393], обозначал четвертый ранг древнетюркской знати («Князь, вождь отдельного рода или значительный, важный чиновник»), после титулов *qaγan, qan* и *tägin*. Однако в другом месте своей работы Г. Дёрфер пишет: «Выражения *qaγan* и *qaγan*, таким образом, могут относиться к одному и тому же лицу, поскольку первое представляет собой конкретный титул (и одновременно обозначение должности), а второе скорее является общим обозначением ранга» [30, с. 141]. В том, что титулы *qan* // *qaγan* иерархически действительно «выравнены» и элиминированы, легко можно убедиться даже на примерах словарной статьи *qan* в ДТС [1, с. 417]. Из этого следует, что реально *bäg* занимает третью ступень в ранговой номенклатуре общественно-государственного строя древних тюрков.

<sup>6</sup> О передаче иноязычного -*r* через -*n* в ранних китайских транскрипциях см. [23, с. 228—230], там же (с. 230) см. о возможности передачи иноязычного -*n* через кит. -*ŋ*. Характерно, что в нескольких ранних китаизмах в тюркском мы встречаем точно такую же фонетическую особенность (кит. -*ŋ* > -*n*, кит. -*n* > -*r*, см. № 2, 4, 11, 13, 18, а также № 19, 37). Следует, однако, специально оговорить, что подобная субституция ни в коей мере не представляет собой общее правило, поскольку существуют случаи передачи -*n* через -*n*, а -*ŋ* через -*ŋ* (см. № 12, 15, 16, 20, 21 и др.). По-видимому, мы имеем дело с заимствованиями из различных позднедревнекитайских диалектов.

Из двух версий происхождения данного титула (иранской и китайской) нам представляется более предпочтительной вторая: возведение тюрк. \**bäg* к ср.-кит. (7) *päik*, позднедр.-кит. \**päik* /совр. *bó* «бо (наследственный титул знати 3-го из 5 высших классов в старом Китае); граф» [7, с. 603]. Эта этимология принадлежит Г. Рамstedту [31, с. 182—183], ее поддерживают В. Котвич [32] и Дж. Клосон [2, с. 322]<sup>7</sup>. Критика Г. Дёрфера [3, с. 405] в основном затрагивает монгольские и тунгусо-маньчжурские параллели для тюркского слова, но, по-видимому, не подрывает самой этимологии *bäg* < кит. *päik*. Дополнительным аргументом в пользу этой этимологии является к тому же весьма точное совпадение в ранговой иерархии китайского и тюркского терминов.

Версию об иранском происхождении тюрк. *bäg* из ср.-перс. *bag* или согд. βγ «бог; господин» [33, 34] и др., с некоторым сомнением [35, с. 85], мы считаем менее удачной как по семантическим, так и по фонетическим причинам (неясен тюркский передний *-ä-* при явно заднем иранском гласном). Поэтому с положением Г. Дёрфера о том, что и китайская, и иранская версии одинаково хороши, а потому обе неверны [3, с. 405], никак нельзя согласиться.

7. \**bängü* «вечный». Представлено в древнетюркском с VIII в. (как с инициальным *b-*, так и более поздним инициальным *m-*) [1, с. 94, 341, 343; 2, с. 350—351], широко распространено в современных языках с различными фонетическими модификациями [4, с. 334; 12, с. 28—29; 21, с. 113—114]. Из тюркского заимствовано монг. *möngke* «вечный» [25, с. 547], впоследствии проникшее в ряд тюркских языков [4, с. 334].

Вслед за Г. Рамstedтом [36, с. 266; 31, с. 141] тюркскую форму следует возводить к китайскому источнику, однако не через посредство синокор. *tankö*, но непосредственно к ср.-кит. (9) *mwän-kö* /совр. *wängü* «глубочайшая древность; во веки веков, навечно; вечный» [15, с. 339]. Вряд ли оправдан в данном случае скептицизм Ю. Немета [37], точно так же, как и выделение в составе тюркской формы атрибутивного суффикса *-ki* [21, с. 114]. Фонетическая сторона данной этимологии, по-видимому, вполне надежна (налицо регулярная субституция *m-*, отсутствовавшего в пра-тюркском и раннем древнетюркском, на *b-* и передача среднекитайского переднего *-ə-* через тюрк. *-ä-* с последующей сингармонизацией второго слога).

8. \**bi j(ä)* // \**bä j(ä)* «кобыла». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — ок. IX [1, с. 97; 2, с. 291], распространено в большинстве современных языков [4, с. 75; 21, с. 133].

Первоначальную фонетическую форму слова определить несколько затруднительно: в древнетюркском возможно прочтение как *bi* [1, с. 97], так и *bä* // *bä* [2, с. 291]. На исходный *-j-* указывают тат. *bijä*, ног. *bije* и т. п. Реконструкция А. М. Щербака — \**pä* [38] представляется не вполне обоснованной, прежде всего из-за отсутствия тюркменских параллелей (якутская форма *biä* в данном случае вряд ли указывает на долгий \**-ä-* — такая реконструкция противоречила бы древнетюркским данным, — но скорее отражает исходную форму типа *bijä*). Г. Рамstedт [31, с. 200] сравнивал тюркскую форму с синокор. *pi* «самка» (маньчжурские формы, привлекаемые там же, вряд ли имеют сюда какое-либо отношение). Следует говорить, естественно, не о выделении тюркской формы из корейско-

<sup>7</sup> Менее вероятно, по-видимому, этимология А. Йоки [22, с. 87—88], выводящего тюркскую форму из ср.-кит. (8) *pjek* /совр. *bì* «государь, господин, владыка (о монархе, начальнике, муже)» [7, с. 847].

го слова китайского происхождения, но об общем их происхождении из ср.-кит. (10) *bji*/совр. *pìn* «самка (животного)» [17, с. 303]<sup>8</sup>. Сужение значения «самка» → «кобыла» возможно при заимствованиях (к этому ср., в частности, ср.-кит. (11) *bji-mā*/совр. *pìn-mā* «кобыла» [17, с. 303]).

9. \**biti-* «писать», \**biti-g* «книга, надпись». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с VIII в. [1, с. 103; 2, с. 299, 303], в современных языках глагол распространен довольно слабо (в основном в юго-восточных, где отмечается также форма *bit-*), а имя — несколько шире (с сохранением конечного согласного на правах архаизма) [3, с. 262; 4, с. 77; 21, с. 155—156]. Древность слова удостоверяется наличием старого бұлгаризма в венгерском — *betü* «буква» [39, с. 44], а также тур. диал. *biti*, тат. *büti*, тат. диал. *bütü*, чув. *pētü* «амулет» [21, с. 157].

Общепринятой в настоящее время является китайская версия происхождения тюркского \**biti-*. Предполагается, что глагол *biti-* — производное от незасвидетельствованного имени \**bit* < ср.-кит. (12) *pit*/совр. *bì* «кисть, перо, карандаш; взмах кисти, росчерк, черта (о иероглифе); запись; стиль, манера (письма), почерк, прием (техника) письма» [7, с. 902; 3, с. 263; 2, с. 299; 21, с. 156], с некоторым сомнением [4, с. 77]<sup>9</sup>. Бесспорным тюркизмом является монг. *bičig* «письмо» [25, с. 101], впоследствии проникшее снова в ряд тюркских языков [3, с. 263; 4, с. 75; 21, с. 157].

Имеется, однако, и иная точка зрения, которую представляют Д. Синор [44] и К. Менгес [45]. Вслед за П. Шмидтом [46] и др. эти исследователи предпочитают сравнивать тюрк. *bitig* с индоевропейскими формами типа греч. πιττάκιον «писчая табличка», тох. В *piṭak* «собрание буддийских текстов», скр. *piṭaka* [47, с. 211] и т. п. Уязвимым местом этой этимологии является то, что в этом случае необходимо предположить вторичное переразложение основы на тюркской почве (выделение глагольной основы *biti-* из имени *bitig*). Следует отметить также тот факт, что данная основа сама по себе засвидетельствована в древнетюркском, куда она, возможно, проникла через сирийское посредство в несколько ином виде (сир. *peṭq-ā* «*tabula*» [48], ср. др.-уйг. *bitkä-či* // *bätkä-či* «писец, писарь»; о сирийском происхождении основы данного слова см. [4, с. 77; 2, с. 305; 49] и др.). В целом китайская версия этимологии слова представляется все же предпочтительной.

10. \**bur-ḡan* (\**bur-qan*) «Будда». Представлено в древнетюркском предположительно с V—VII и VIII вв., определено — с IX [1, с. 127; 2, с. 360—361], сохранено со значением «бог» или «идол» в ряде современных северо-восточных языков, а также в киргизском эпосе [3, с. 282; 4, с. 89; 2, с. 360].

<sup>8</sup> Современное кит. *pìn* «самка (животного)» восходит (с нерегулярным развитием инициального согласного) к среднекитайскому вторичному варианту *bjin* — в древнекитайском, согласно С. А. Старостину, это слово конечного *-n* не имело, судя по данным рифм.

<sup>9</sup> Судя по передаче кит. *-t* через тюрк. *-t*, данное заимствование следует отнести к достаточно раннему периоду. В более позднее время (начиная, видимо, с VIII—IX вв.) кит. *-t*, по С. А. Старостину (со ссылкой на [40]), в северо-западном диалекте перешел в *-r* и передавался в тюркском уже через *-r* (см. № 10, 14). А. фон Габэн [41, с. 303] и Б. Чонгор [42, с. 81, 106], последний и с монгольской параллелью — *bigir*, *bi'ir* (по [43], — *bir*), приводят др.-уйг. *bir*, *biir* «кисточка для письма» (см. также [4, с. 76; 3, с. 264]), возможно являющееся как раз более поздней передачей того же китайского слова. Однако в [1] и [2] эта форма отсутствует и вопрос о ее наличии в древнетюркском требует дополнительных изысканий.

Слово, несомненно, является сложением компонентов *bur* < позднеср.-кит. (13) *büt* / совр. *fó* «будда, достигший совершенства» [15, с. 548] и тюрк. *хан* (*qan*) «хан, правитель, повелитель» [3, с. 283; 4, с. 89; 2, с. 360]. С такой же фонетической трактовкой китайского слова мы сталкиваемся в др.-уйг. *bursay* «буддийская монашеская община» < ср.-кит. (14) *büt-say*, позднеср.-кит. *bür-səy* (скр. *buddha saṅgha* [50]) [51, с. 17; 1, с. 126, 2, с. 369]. Иначе, в связи с согд. *pursnk* «буддийская монашеская община», см. [52, с. 414].

Само кит. *büt* является передачей скр. *Buddha* «Будда». Согласно предположению Дж. Клосона [2, с. 297], китайское слово через согдийское посредство (см. [53, с. 556; 54, с. 231]) проникло в персидский в виде *but* «идол»<sup>10</sup>, откуда повторно было заимствовано тюркскими языками (др.-тюрк. *but* «идол» — документально с XIII в.). Формально, однако, нельзя исключить и китайское происхождение тюрк. *but* (к возможности передачи кит. *-t* через тюрк. *-t* см. № 9). В таком случае эту форму следует считать проникшей из китайского в тюркский<sup>11</sup> достаточно рано (не позднее рубежа VII—VIII вв.). Следовательно, кит. *büt* окажется дважды заимствованным в тюркском: до перехода *-t* > *-r* (ок. VII в. н. э.) и после этого перехода (ок. VIII — IX вв. н. э.).

11. \**čär-ig* «войско». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с VIII в. [1, с. 144; 2, с. 428—429], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *šar(ä)* [30, с. 65; 4, с. 105]. Древность слова удостоверяется греко-българской надписью 813 г. — *sarax* «войско» (см. [58] с малоудовлетворительным возведением данной формы к *jadaq* «пеший» // \**žaraq* тж. > \**šaraq* «пехота»), наличием старых бўлгаризмов в венгерском — *sereg* «куча; толпа; множество» [39, с. 116] и в древнегрузинском — *sagar-i, sagr-i* «сила, мощь; войско» [19, с. 353] при этимологическом дублете в последнем — *žar-i* «войско, армия» от кыпч. *čäri* «куча; толпа; множество» [59], *č'äri* (с придыхательным анлаутом) «войско» [60], а также наличием старого тюркизма в монгольском — *čerig* «войско, армия» [25, с. 173].

Надежной этимологии слово не имеет. Г. Рамстедт [31, с. 48] сравнил основу тюркского слова с кор. *čhari-da* «готовить», что мало вероятно как фонетически, так и семантически [30, с. 70]. Л. Г. Герценберг [1, с. 144] др.-тюрк. *čäriq*, вслед за В. В. Радловым [61], С. Е. Маловым [62] и др., возводит к скр. *kšatrika*. Следует, однако, отметить помимо фонетических трудностей (скр. *-tr-* = тюрк. *-r-*, скр. *-k-* = тюрк. *-g*, ср. [12, с. 455], где эта этимология также отвергается), тот факт, что в словарях санскрита (в частности, в [63] и др.) подобное древнеиндийское образование нами не обнаружено. Вряд ли проясняет ситуацию и предположение о согдийском посредстве (согд. \**γšdri'k* «царский» [64, с. 43]) [65] (иначе см. [66]), поскольку фонетические препятствия при принятии данной версии практически непреодолимы (согд. \**γš-//\** *xš-* не может дать тюрк. *č-*, неясны при-

<sup>10</sup> Таким образом, Дж. Клосон вступает в полемику с П. Хорном [55, с. 42], выводящим н.-перс. *but* из авест. *Būiti-* (имя собств. демона), Хр. Бартоломэ [56, с. 968], выводящим ср.- и н.-перс. *but* «Будда; идол» [57, с. 20] из авест. *Būta-* (имя собств. демона *Daēva*) и др.

<sup>11</sup> Хотя слово *but* в значении «идол» засвидетельствовано в тюркском довольно поздно [3, с. 261—262; 2, с. 297; 21, с. 280], следует отметить наличие сакральной формулы *nato but* «почести Будде» [2, с. 297] в турфанских манихейских текстах предположительно VIII в. При признании раннего наличия в тюркском данной лексемы можно было бы проследить и направление заимствования: (скр. *Buddha*) кит. *büt* > тюрк. *but* > перс. *but*, однако многие аспекты здесь все еще не вполне ясны.

чины выпадения -δ- и -t- в тюркской форме). А. фон Габэн [67] и М. Ряснен [4, с. 105] отмечают в телеутском наличие глагольной основы *čär-*, *čär-tä* «бороться, воевать», отражающей, очевидно, пратюрк. \**čär-*, от которого \**čär-ig* является регулярным производным. Учитывая возможность передачи кит. -n в ранних заимствованиях через тюрк. -r (см. № 4, 18), представляется возможным сопоставить тюрк. \**čär* «воевать» со ср.-кит.

(15) *čei*, позднедр.-кит. *čjan* / совр. *zhàn* «война; бой, сражение, битва, схватка; вести войну (бой, сражение), воевать, сражаться, биться» [17, с. 214]. Отметим, что сопоставление кит. (15) *čei* — тюрк. \**čär*:-\**čär-ig* вполне параллельно соотношению кит. (12) *pit* — тюрк. \**bit(i)*:-\**bit(i)-g* (см. № 9), вплоть до факта малой распространенности в тюркском языковом ареале исходной производящей основы при большем распространении производной основы на -(i)g. Последнее обстоятельство, по-видимому, является дополнительным свидетельством в пользу обеих этимологий.

12. \**čün* «правильный; правда». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 148; 2, с. 424], широко распространено в современных языках [4, с. 108].

Возведение слова к ср.-кит. (16) *čin* / совр. *zhēn* «соответствующий действительности, истинный, действительный, реальный; фактический; верный, точный, достоверный; настоящий, неподдельный, подлинный, натуральный; настоящий, правильный, безукоризненный, чистый, идеальный; правда, истина; истинность» [17, с. 659—660] является общепринятым [1, с. 148; 2, с. 424; 4, с. 108] и, по-видимому, бесспорным.

13. \**čodün* «чугун». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 151; 2, с. 403], широко распространено в современных языках [30, с. 124—125; 4, с. 113].

Этимология слова вызывает затруднение. Древнейшую письменную фиксацию оно имеет с XI в. в виде *čodün* «чугун», араб. *al-qitr* [2, с. 403]. Непосредственно к этой форме восходят лев. *čojün*, кум., кар. *čojun*, шор. *šojun*, тат. *čujün* и др. [30, с. 124; 4, с. 113] — все со значением «чугун». Представляется поэтому, что значение «медь» в словаре М. Кашгарского неточно (подобные случаи в словаре не единичны), и, вопреки Дж. Клоснову [2, с. 403], следует все же полагать исходным значение «чугун» или, по крайней мере, «литая медь».

В ряде современных тюркских языков встречаются также формы без элемента -ün: тел. *čoj*, куманд. *čöj* и др. [30, с. 124; 4, с. 113], которые, согласно Г. Дёрферу, являются итогом упрощения формы \**čodün* > \**čojün* в результате переосмысления -ün как посессивного суффикса 3-го л. ед. ч. (М. Ряснен же выводит их непосредственно из ср.-кит. *čü* «отливать (металл)», что мало вероятно, см. [4, с. 113]). Наконец, в некоторых языках мы встречаем рефлекс образования типа \**čojgun* (ср. алт., тел. *čojγon* «железный сосуд; чайник», тел. *čöjgön* «чайник», тар. *čöjgün* «железная бадья», чув. *čigun* «чугун» и т. д. [30, с. 124; 4, с. 113]). Г. Дёрфер [30, с. 124—125] объясняет эти формы как контаминацию \**čodün* (> \**čojün*) + \**čoγun* (обнаруживая рефлекс последней основы в балк. *soγun* «котел», уйг. *čoγun* «чайник»). Однако наличие в тюркском старой самостоятельной основы \**čoγun* более чем сомнительно. Цитируемые Г. Дёрфером балкарские и уйгурские слова, скорее всего, представляют собой результат поздних междиалектных заимствований. Сколько-нибудь древней фиксации эта форма не имеет.

Таким образом, перед нами две основы: \**čodün* «чугун; литая медь» и \**čojgun* «чугунный сосуд; чайник», первая из которых имеет раннюю письменную фиксацию (XI в.), а вторая является более поздней.

Учитывая возможность передачи кит. -η через тюрк. -n (см. № 2), мы считаем возможным выводить тюрк. \*čodīn из ср.-кит. (17) čū-dun /совр. zhūtong «литая медь» [68, с. 1380]<sup>12</sup>.

Заметим, что компонент \*-dīn в \*čodīn оказывается, таким образом, тождественным компоненту \*-tun (//\*-tīn) в \*altun (см. № 2). Перс. čodan «чугун», не имеющее собственной иранской этимологии, следует считать проникшим в иранский из китайского языка через тюркское посредство.

Что касается формы \*čojgun (//\*čojyun), то целесообразнее, вслед за Г. Дёрфером [30, с. 126—127], отвергнуть ее происхождение из ср.-кит. (20) čū-kāŋ /совр. zhūgāng «литая сталь» [15, с. 23], предполагаемое М. Рясняном [69; 4, с. 113], — прежде всего из-за фонетических сложностей. Обращает на себя внимание частая встречаемость значения «чайник» в рефлексах этой основы, ср. также бар. cājgün «медный чайник», цитируемое Г. Дёрфером со ссылкой на словарь В. В. Радлова, объясняющим здесь -ä- первого слога вторичным влиянием основы čaj «чай» [30, с. 125]. Все это наводит на мысль о том, что исходным значением этой формы было значение «чайная посуда; чайник», а первоначальным фонетическим обликом — \*čajgun. Впоследствии в результате контаминации основ \*čajgun и \*čojin (<\*čodīn) возникла и распространилась основа \*čojgun с набором значений «чайник; металлический (чугунный) сосуд; чугун». Что касается этимологии тюрк. \*čajgun, то его следует считать поздним (не ранее XIII в.) заимствованием из кит. (21) chāyèguān «чайница» [17, с. 829].

14. \*dāmīr (//\*dāmūr > tāmīr//tāmūr) «железо». Представлено в древнетюркском с VIII в. (в рунических памятниках, но только в сочетании Tāmīr qarīŋ «Железные ворота» — название горного перевала между Самаркандом и Балхом [1, с. 551; 2, с. 508—509]; относительно топонима см. [70, с. 76—77]), повсеместно распространено в современных языках, в качестве заимствования проникнув в монгольский, персидский и другие языки [3, с. 666—667; 4, с. 473; 71, с. 188—189].

Учитывая вероятность китайского происхождения некоторых других тюркских наименований металлов (см. № 2, 4, 13, 17), следует, вероятно, согласиться с Г. Рамstedтом [14, с. 19], производящим тюркскую форму из ср.-кит. (22) tiet-müt, позднеср.-кит. thier-mūr «железная вещь»/совр. tiě «железо; черный металл; железный, железистый, металлический» [17, с. 238] и wù «вещь, предмет обихода (собственности); изделие, товар» [15, с. 468]. К этому ср. также [71, с. 189; 18, с. 37—38]<sup>13</sup>. Что касается передачи китайского глухого анлаутного согласного через тюркский звонкий (сохраняющийся, например, в огузских языках — азерб., гагауз., турецк., туркм. dā/emīr) — ср. № 15, 16, 17, 18, передачи же кит. -t через тюрк. -r — ср. № 10, 14. Проблему, однако, представляет утрата в тюркском срединного -r-: ожидалась бы форма типа \*dārmūr (\*dārmīr). Возможно, здесь налицо результат ранней диссимилятивной элизии согласного (к этому ср. ниже тюрк. \*katīr «мул» — согд. \*artr- тж.). В целом можно

<sup>12</sup> Не исключена и другая версия: ср.-кит. (18) čū-dīey /совр. zhūdīng «разливка, литье, отливка слитков (болванок)» [15, с. 23], хотя она и менее удачна в семантическом плане. Но во всяком случае совершенно неприемлема этимология Г. Дёрфера [30, с. 127]: \*čodīn < кит. (19) zhūjiàn «литье, отливка» [15, с. 23], — так как данное сложение в ср.-кит., по С. А. Старостину, читалось как čū-gén.

<sup>13</sup> Нельзя, однако, не оговорить и более раннюю этимологию: возведение тюрк. \*dāmīr к скр. tāmra- «медь» [72, с. 378]. Фонетические трудности здесь почти непреодолимы — неясны переднерядный тюркский вокализм и причины развития комплекса -tra- > -mīr. В связи с этим Р. Л. Тёрнер предполагает, что тюркское слово происходит из того же неизвестного источника, что и ср.-инд. cīmara- «медь» [73, с. 828].

утверждать, что китайская этимология тюркского названия железа вполне вероятна, но еще не может считаться окончательно доказанной.

15. \**dǎŋ* (> *tǎŋ*) «одинаковый, равный; количество, мера». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., примерно с IX в. в руническом памятнике бассейна Енисея — Е 26<sub>8</sub>, а также в словаре М. Кашгарского, с XI в. [1, с. 551; 2, с. 511], широко распространено в современных языках [3, с. 575; 4, с. 135, 473; 71, с. 191—192].

Начиная с А. фон Габэн [41, с. 340] (аналогично [3, с. 576; 4, с. 473] и др.), оно квалифицируется как заимствование из ср.-кит. (23) *tǎŋ* /совр. *děng* «ранг, степень, класс, сорт, группа, категория; равный, идентичный, тождественный» [15, с. 49]. Вряд ли оправдан скептицизм Дж. Клосона [2, с. 511], признающего китайский источник только для др.-тюрк. *tǎŋ* в тех контекстах, где оно значит «вид, разряд», поскольку весь набор значений тюркского слова представлен и у китайского прототипа. Следует, несомненно, отклонить тезис Г. Рамстедта [36, с. 391—392] и Н. Поппе [11, с. 71] об исконном родстве тюрк. *tǎŋ* и монг. *teng* «равновесие; ровно, равно» [25, с. 801]. Последнее, как и н.-перс. *tang* «половина вьюка на вьючном животном», несомненно, представляет собой заимствование из тюркского [3, с. 574—575]; ср. [71, с. 192—193]. К передаче ср.-кит. *t* через тюрк. \**d*- ср. последующее слово (№ 16 вкуче с № 14), а также реконструкцию Дж. Клосоном формы \**dǎŋ* на основании форм типа тув., туркм. *dāŋ* [2, с. 511].

16. \**dōn* (> *ton*) «одежда; халат». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 574; 2, с. 512], широко распространено в современных языках [3, с. 645—646; 4, с. 488; 71, с. 262—263].

Большинство исследователей слово возводят к хотано-сак. *thauna* «ткань; шелк» [74, с. 149; 41, с. 372; 28, с. 432; 75; 76; 4, с. 488] и др. Однако Дж. Клосон [2, с. 512] справедливо замечает, что передача начального согласного *th*-(*θ*-) тюркским *d*- вызывает сомнение, а Г. Дёрфер [3, с. 647] указывает на то, что, кроме этого слова, сакских заимствований в тюркских языках не обнаружено. Поэтому представляется более целесообразным выведение тюркского слова из ср.-кит. (24) *tuān* (др.-кит. \**tōn*) /совр. *duān* «длинное платье, халат» [77, с. 65; 68, с. 1185]. К обоснованию этой этимологии см. [22, с. 331; 3, с. 647] и др.

17. \**gümül'* (> *kümüš*) «серебро». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 326; 2, с. 723—724], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *kaməl* [4, с. 308; 2, с. 723].

В первой части тюркской основы Г. Рамстедт [31, с. 116] и А. Йоки [22, с. 210] усматривают ср.-кит. (25) *kim* /совр. *jīn* «золото; золотой, золотистый, желтый; металл; металлический» [7, с. 180], что представляется вполне правдоподобным (см. также [18, с. 25—26]). Однако выведение второй части из ср.-кит. (26) *liew* /совр. *liáo, liào* «чистое серебро» [17, с. 802], т. е. \**gümül'* < \**güml'ü* < *kim-liew*, сопряжено с трудностями прежде всего фонетического порядка (не совсем ясна причина метатезы во втором слоге). Поэтому предположение о китайском происхождении тюркского названия серебра требует дополнительной аргументации.

18. \**gür* (> *kür*) «смелый, отважный». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 328; 2, с. 735], достаточно широко распространено в современных языках, часто с вторичными значениями «густой; обильный» и др., отсутствующими в старых памятниках [30, с. 634; 4, с. 309—310; 71, с. 106].

Г. Дёрфер [30, с. 637], по-видимому, справедливо считает монг. *kür* в *kür jeke ulus* «огромное скопление людей» [25, с. 503], *gür* «толпа» (*gür*

*ulus* тж.) [25, с. 391] сравнительно поздним тюркизмом, а тунгусо-маньчжурские формы типа маньчж. *goro* «далекий» — вообще не связанными с данной основой, вопреки Г. Рамstedту, М. Ряснену [36, с. 246; 4, с. 310] и др. Действительно, в памятниках XI—XIV вв. в тюркском налицо лишь значение «смелый, отважный». Учитывая, что кит. *-n* может передаваться через тюрк. *-r* (см. № 4, 11), мы считаем возможным сопоставить тюрк. *\*gür(kür)* со ср.-кит. (27) *kün* / совр. *jūn* «государь, владетельный князь, сюзерен, глава, правитель, владыка» [7, с. 436]. Ср. также нередкую встречаемость в древнетюркском сочетания *kür ar* «сильный, отважный муж», которое может представлять собой частичную кальку ср.-кит. (28) *kün-cj'* / совр. *jūnzī* «совершенный человек, человек высших моральных качеств, благородный человек» [7, с. 436].

19. *\*inčü* «наследство, приданое». Представлено в древнеуйгурском памятнике XII—XIV вв. [1, с. 210] (*inčü* «наследственный»); [2, с. 173], а также в ряде современных северо-восточных и северо-западных языков [3, с. 220—224; 4, с. 44; 5, с. 361—362]. Древность слова, видимо сконтаминированного с основой *\*jinčü* «жемчуг» (см. № 23), удостоверяется наличием вероятного тюркизма в древнегрузинском — *\*unž-i* «имущество, имение; клад, сокровище» и пр. [19, с. 373, 428].

Тюркское слово проникло и в монгольский язык — *ingzi*, *inži* «приданое» [25, с. 411—412]; см. еще [78] (хотя для монгольского нельзя исключить и самостоятельное заимствование этого слова из китайского языка [3, с. 223—224]). Следует заметить, что Дж. Клосон [2, с. 173] считает современные тюркские формы не восходящими к древнетюркскому, но вторично заимствованными из монгольского. Э. Хэниш [79] возводит ср.-монг. *inže* к ср.-кит. (29) *jū-cá* / совр. *yūngzhě* стар. «сопровожающий невесту (в качестве части ее приданого, например, о служанке)» [17, с. 1038; 7, с. 591—592]. Аналогичное происхождение можно предположить и для тюрк. *\*inčü*. Отметим, что фонетическое развитие *\*inčü* < ср.-кит. *jū-cá* (появление лабиального гласного во втором слоге) параллельно развитию *\*alaču* < ср.-кит. *lō-sá* (см. № 1) и, возможно, связано с какими-то фонетическими особенностями китайского диалекта, из которого черпались многие заимствования.

20. *\*jatan* «дурной, плохой». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — с XI [1, с. 231; 2, с. 937], широко распространено в современных языках [4, с. 184].

Г. Рамstedт [34, с. 75] сравнивал тюркское слово с синокор. *jatan* «дикий, варварский». Эту этимологию, по-видимому, вполне можно принять, поскольку как тюркская, так и корейская формы, должно быть, были заимствованы независимо друг от друга из ср.-кит. (30) *já-tan* / совр. *yětán* «дикий, варварский, некультурный; дикость, варварство; бесчеловечный, зверский, варварский» [7, с. 1079]. Вопреки Хеннингу [80, с. 722] и др., согд. *ym'n* «недостаток, дефект» [52, с. 416] следует считать проникшим из китайского через тюркское посредство, но не родственным новоперсидскому *gimān* «подозрение; мнение» через иран. *\*vimāna-* [53, с. 133].

21. *\*jaŋ* «форма, образ; вид, образец». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — с XI [1, с. 233; 2, с. 940], слабо распространено в современных языках (сохраняется в основном в северо-восточных, ср. алт. *jaŋ*, тув. *čaŋ* и др.) [4, с. 189; 2, с. 940].

Общепринятая этимология слова [4, с. 189; 2, с. 940] сомнений не вызывает — оно выводится из ср.-кит. (31) *jāŋ* / совр. *yàng* «образец, фасон, модель; вид, способ, манера, стиль» [15, с. 818].



22. *jaŋa* (n) «слон». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в. (в виде *jaŋa* [1, с. 233; 2, с. 904]), определенно — с XI (в виде *jaŋan* [1, с. 233; 2, с. 952]). Словарь М. Кашгарского фиксирует также огузо-кыпчакское произношение этого слова — *jaŋan* [1, с. 224; 2, с. 904]. Только этот вариант отражен в современных языках (в основном северо-восточных), ср. алт., тел. *jān*, тув. *čān* и др. [4, с. 177—178; 2, с. 904].

Тюркские слова проникли в согдийский — *yyn'us* ж. р. «слониха» (см. [81], где оно фигурирует без перевода, но с конечным *-h* в написании, свидетельствующем о заимствованной природе слова) и в монгольский — *žayun* «слон» [25, с. 1023]. Не исключено, что современные тюркские формы не восходят непосредственно к древнетюркскому, но являются вторично заимствованными из монгольского.

Учитывая начальный *ž*- монгольской формы, можно восстановить исходную пратюркскую форму в виде *\*žayŋa* (о развитии *\*ž* > *j*- в ранний период истории тюркского языка см. [11, с. 27]). По нашему мнению, вполне оправдано сравнение этой формы со ср.-кит. (32) *zjāŋ* / совр. *xiāng* «слон» [15, с. 846]. Альтернативное сравнение с греч. *γίγας, γίγαντας* «гигант, великан, исполин» [4, с. 178] неприемлемо как с фонетической, так и с семантической точки зрения.

Таким образом, несмотря на сравнительно позднюю письменную фиксацию, фонетическая сторона — переход *\*ž* > *j*- позволяет отнести это заимствование к довольно раннему времени.

23. *jinčü* «жемчуг». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определенно — с VIII в. (в рунических памятниках, однако, только в сочетании *Jinčü ögüz* «Жемчужная река» — название р. Сыр-Дарья, см. [70, с. 74—75], в словаре М. Кашгарского — в вариантах *jānčü* // *jinčü*, *jünčü*, *žänčü* // *žinčü* [1, с. 256, 286, 642; 2, с. 944—945]), широко распространено в современных языках (кроме северо-восточных) [4, с. 203]. Древность слова удостоверяется наличием старого бұлгаризма в венгерском — *gyöngy* «жемчуг» [39, с. 80].

Начиная с Ф. Хирта [82, с. 80—82], слово единодушно возводится всеми исследователями к одному из двух китайских названий жемчуга: ср.-кит. (33) *cin-čü* / совр. *zhēnzhū* «жемчуг; жемчужный» [17, с. 661] или (34) *tin-čü* / совр. *zhēnzhū* «жемчуг; жемчужный, перен. «жемчужина, перл» [15, с. 371]<sup>14</sup>. Однако по поводу конкретного китайского прототипа исследователи расходятся. Так, Ф. Хирт [82, с. 82] и К. Менгес [84, с. 95] возводят тюркское слово ко второй из приведенных китайских форм, а С. Сирота [85, с. 107—108] и Дж. Клосон [2, с. 944], последний с некоторыми сомнениями по поводу идентичности начальных слогов (китайской и тюркской форм), — к первой. М. Ряснян [4, с. 203] и С. Е. Яхонтов [1, с. 256] не уточняют своего выбора. Японский исследователь С. Сирота присоединяется к точке зрения Дж. Клосона и др. на том основании, что форма *cin-čü* была в позднем древнекитайском и среднекитайском языках более обычной и разговорной, чем *tin-čü*. В пользу выведения тюрк. *jinčü* из ср.-кит. *cin-čü* можно, по-видимому, привести еще тот аргумент, что в китайском тексте Карабалгасунского памятника тюрк. *Jinčü ögüz* переведено именно как (36) — ср.-кит. *cin-čü-γā* (к ис-

<sup>14</sup> К. Ямамото [83] источником, в частности, маньчж. *jēnjuu* «жемчуг» допускает обе китайские формы, вне зависимости от того, что в иероглифической записи маньчжурское слово передается именно через (35) = (33).

тории отождествления тюркского и китайского названий см. [70, с. 74—75; 86])<sup>15</sup>.

Кит. *cin-cü* было, вероятно, в довольно ранний (пратюркский) период заимствовано в тюркском в виде *\*žinčü* (начальный *ž-* здесь, видимо, результат диссимилиации по глухости/звонкости)<sup>16</sup>. Эта архаичная форма, должно быть, отражена в огузо-кыпчакской форме XI в. — *žinčü* *i* (по М. Кашгарскому), в монг. *žinčü* «бусы» [25, с. 1058], в венг. *gyöngy*, а также в русск. *жемчуг* (др.-русск. — XII в.: *жьньчугъ*)<sup>17</sup>.

Впоследствии, уже на тюркской почве, произошло закономерное развитие *\*žinčü* > *\*jinčü* (ср. № 22 — аналогичный процесс развития в названии слона: ср.-кит. *\*zjan* > пратюрк. *\*žana* > др.-тюрк. *jan*).

24. *\*ka* «семья; родственники». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., примерно с IX в. в рунических памятниках бассейна Енисея — Е 42<sub>2</sub> и др., а также в словаре М. Кашгарского, с XI в. (в составе слов *qadaš* «родич, родственники, родной, родные» и *qa qadaš// qayadaš* «родственники (по крови), родственник, родич» [1, с. 399; 2, с. 578, 607]), слабо распространено в современных языках [30, с. 566; 4, с. 214; 2, с. 607].

Тюркское слово восходит, очевидно, к ср.-кит. (37) *ka* / совр. *jiā* «семья, семейство, род; родня, родственники» [15, с. 840]. Эту этимологию предлагает Г. Рамстедт [31, с. 81] (по своему обыкновению выводящий тюркскую форму не непосредственно из китайского, а из синокорейского — с чем нельзя согласиться), ее отстаивают А. фон Габэн [92], Дж. Клосон [2, с. 607] и др.

25. *\*kalij* (*\*kalim*) «калым, выкуп за невесту». Представлено в древнетюркском с IX в. [1, с. 412; 2, с. 622], широко распространено в современных языках [30, с. 399; 4, с. 226].

Судя по современным формам (тат., якут. *qalim*, чув. *χuläm* и др.), вариант с конечным *-m* должен быть довольно древним, независимо от

<sup>15</sup> Ср.-кит. *cin-cü* означает, собственно, «истинный жемчуг», т. е. ср.-кит. *cin-cü-yü* является точным переводным соответствием др.-иран. *\*jaxšarta*, *\*jaxša-arta* «истинный жемчуг», отраженного в античных источниках как название р. Сыр-Дарья — Ἰαξάρτης (иначе см. [87, с. 940]).

<sup>16</sup> К. Менгес, возводящий тюркскую форму к ср.-кит. *tin-cü* (по Б. Карлгрену — *t'žän-tšün*), был вынужден выдвинуть тезис о тюрк. *j-* как об «итоге дистактивной диссимилиации палатально-альвеолярных начальных согласных обоих слогов ... в тюркском языке» [84, с. 96]. Необходимость в подобном сложном объяснении, по-видимому, упадет, если в качестве китайского источника признать ср.-кит. *cin-cü*.

<sup>17</sup> Об этимологии русск. *жемчуг* см. [88, с. 46; 84, с. 94—97; 89; 85, с. 107—111] и др. Наиболее сложен здесь вопрос о происхождении конечного *-g* в русской форме, отсутствующего в тюркском (существующие объяснения наличия этого *-g* либо как отражение тюркской формы дательного падежа, либо как суффиксация на русской почве, малоудовлетворительны). К. Менгес считает, что это окончание появилось по аналогии с другими заимствованиями в русском, имевшими этимологически оправданное конечное *-gь* (*улюгъ, тернугъ*). С. Сирота указывает, что в древнекитайской реконструкции А. Тодо [68, с. 894, 837] слово *жемчуг* до VI и VII вв. н. э. должно было звучать как *\*tien-tiug*, т. е. с конечным *-g*. Он предполагает, что именно эта форма через посредство какого-то алтайского языка и проникла в русский, а орхон-енисейское *jinčü* // *jänčü* было заимствовано независимо из китайского позднее, уже после утраты в китайском конечного *-g*. Однако кроме малой вероятности отражения формы типа *\*tien-tiug* в русск. *жемчуг* следует отметить, что далеко не все исследователи восстанавливают в древнекитайском конечный *-g* (см., например, [90, 91] и др.). Скорее всего, в др.-русск. *жьньчугъ* (а также в цитируемых К. Менгесом формах — серб. *žūžuka*, маньчж. *ničixe*, чжурчж. *ničubej*, *jin-su-k'o* < *\*jinčuke*) мы имеем дело с отражениями тюркской формы типа *\*žinčü-k* > *\*jinčü-k* с суффиксальным *-k* (ср. аналогичные пары типа рассмотренного выше *\*alaču* — *\*alaču-k* «шатер; лацуга» и т. п.), существовавшей в раннем тюркском, но не зафиксированной в письменных памятниках.

того, что он не зарегистрирован в письменных памятниках. Представляется весьма вероятным происхождение тюрк. \**kalim* из ср.-кит. (38) *kà-lem* / совр. *jià-lián* «приданое» [15, с. 843; 1, с. 675], досл. «ящик с приданным». При этом причина появления в древнетюркском варианте с конечным -ŋ остается не вполне ясной и требует специального обоснования.

26. \**kög* (/ / \**küg*) «мелодия, песня». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — с XI [1, с. 311—312; 2, с. 709], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *kəvə* [4, с. 307]. Тюркское слово проникло в монгольский — *køg* «мелодия, музыка» [25, с. 478], откуда вновь попало в ряд современных тюркских языков в виде *kög* со значением «гармония, веселье, радость» и т. п. [4, с. 286].

Предположение Г. Рамстедта [36, с. 236] и М. Рясина [4, с. 307] об исконном родстве тюрк. \**kög* (/ / \**küg*) и монг. *køg*, конечно, неприемлемо — тюркская форма, несомненно, представляет собой заимствование из ср.-кит. (39) *khöuk* / совр. *qū* «песня, песенка; ария, музыка (к песне)» [7, с. 665; 2, с. 709].

27. \**lū* «дракон». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 334; 2, с. 763], сохранено в ряде современных языков — алт., тув. *ulu*, с.-юг. *lu*, *ulu* и т. д. [4, с. 318; 5, с. 591; 12, с. 15—16]. Вопреки Ф. Лессингу [25, с. 517], монг. *луу* «дракон», очевидно, имеет тюркский источник [36, с. 253].

Обычно принято считать, что тюркское слово восходит к ср.-кит. (40) *eōŋ* / совр. *eōng* «дракон» [17, с. 363; 1, с. 334; 41, с. 58, 346; 4, с. 318; 2, с. 763]; ср. [5, с. 591; 12, с. 17; 93]. Но ввиду некоторых нестандартных фонетических особенностей — прежде всего ввиду отсутствия конечного -ŋ, возможно, следует предпочесть точку зрения, в частности, С. Е. Малова [94] и др. о происхождении данного слова из тибетоязычного источника, но скорее не непосредственно из тиб. *klu* «дракон», миф. «змея-демон», скр. *nāga* [95], а из диалектных форм типа мосо *lwö*, *lō* (см. [96, с. 35—36]) и т. п. При этом не исключается полностью предположение С. Е. Яхонтова, допускающего в качестве прототипа общетюрк. \**lū* некую древнекитайскую диалектную форму без настоящего, проблемного -ŋ в ауслауте [97, с. 191].

28. \**sin* «тело, телосложение». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — с XI [1, с. 503; 2, с. 832], широко распространено в современных языках вкупе с более поздними абстрактными значениями «внешность; свойство; наблюдение; испытание» и др. [30, с. 314; 4, с. 417]. Тезис Г. Дёрфера [30, с. 314] об исходности в тюркском значения «свойство» явно неприемлем. Согласно свидетельству древних текстов позволяет, вслед за Дж. Клосоном [2, с. 832], однозначно установить линию развития значения: «тело» → «телосложение» → «свойство». Г. Дёрфер, кроме того, объединяет с этим корнем и тюрк. \**sin* «могила» (о нем см. [2, с. 832]), что неоправданно.

Тюркское слово \**sin* «тело» следует, по нашему мнению, считать заимствованием из ср.-кит. (41) *sin* / совр. *shēn* «тело (человека, животного); телесная оболочка, плоть; туловище, торс, корпус, фигура» [15, с. 351].

29. \**sī* «краска, лак». Представлено в древнетюркском с XI в. (*sīr* «краска, которой китайцы разрисовывают чаши, глазурь» [1, с. 505; 2, с. 842—843]), широко распространено в современных языках со значением «лак, глазурь, киноварь» и др. [30, с. 239; 4, с. 418; 2, с. 843].

Все исследователи единодушно возводят слово к ср.-кит. (42) *chjit* / совр. *qī* «лак» [15, с. 822; 30, с. 239; 4, с. 418; 2, с. 843] и др. Г. Рамстедт

[36, с. 359] в качестве тюркизма в монгольском приводит еще монг. *sir* «лак» [25, с. 714]. Что касается передачи кит. -*t* через тюрк. -*r* см. № 10, 14, однако предположительная диалектная форма, из которой, вероятно, заимствовано тюрк. \**sir*, по С. А. Старостину, должна была бы звучать как \**chjir*.

30. \**tajšī* «старший наставник; знатный человек». Представлено в древнеуйгурских текстах различного содержания предположительно с VIII в., определено — с XIII [1, с. 528; 2, с. 570], видимо, сохранено в тувинском — *tajži*, *taži* «дворянин, царевич» [4, с. 456].

По С. Е. Яхонтову [1, с. 528], слово является заимствованием из ср.-кит. (43) *dâj-ši* / совр. *dâshī'* «глава, родоначальник (школы или направления в науке), корифей, учитель, наставник» [15, с. 624]<sup>18</sup>.

31. \**tâbsi* «блюдо, тарелка; небольшой, низкий стол». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 557; 2, с. 245], широко распространено в современных языках, в качестве заимствования проникнув в монгольский, персидский и другие языки [4, с. 468; 13, с. 249—251].

Вслед за Г. Рамstedтом [31, с. 29, 263] тюркскую форму следует возводить к китайскому источнику, однако не через синокорейское посредство, но непосредственно к ср.-кит. (46) *diep-cjē'* / совр. *dié'zī* «тарелка (мелкая)» [15, с. 706; 13, с. 250—251; 4, с. 468; 2, с. 245].

32. \**tojīn* (<\**toñin*) «(буддийский) монах». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в. (в древнеуйгурских текстах в качестве эквивалента скр. *bhikṣu* «нищий; странствующий монах»), определено — с XI [1, с. 572; 2, с. 568], сохранено в якутском — *tojon* «господин, хозяин, начальник» и т. п. [4, с. 648—649; 4, с. 484]<sup>19</sup>.

Др.-уйг. *tojīn* «буддийский монах» единодушно возводится всеми исследователями к ср.-кит. (47) *dâu-nin* / совр. *dào-rén* «святой, бессмертный; отшельник; маг», будд. «монах» [17, с. 97; 31, с. 27; 41, с. 343; 3, с. 648; 4, с. 484; 2, с. 569] и др. Древнеуйгурская форма, по-видимому, является формой «j-диалекта», отражающей общетюрк. \**toñin* (о противопоставлении «j-диалекта» и «n-диалекта» см. [41, с. 3—8]), непосредственно восходящее к ср.-кит. *dâu-nin*. Внешнее сходство др.-уйг. *tojīn* и кор. (48) *toin*, таким образом, является случайным и, вопреки Г. Рамstedту [31, с. 27], не свидетельствует в пользу заимствования тюркского слова через корейское посредство.

33. \**tūg* «знамя». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 584

<sup>18</sup> В. Банг и А. фон Габэн [51, с. 42] транскрибируют древнетюркское слово как; *tajsī* и выводят его из ср.-кит. (44) *iâj-cjē'* / совр. *tâizi'* «наследник престола, наследный принц» [15, с. 645]. Однако Дж. Клосон [2, с. 570] справедливо оспаривает как прочтение *tajsī*, так и истолкование соответствующего тюркского слова. Следует обратить внимание еще на монг. *taiži* «монгольский дворянин, представитель знати» [25, с. 769], которое М. Ряснен [4, с. 456] сопоставляет с рассматриваемым тюркским словом. Не исключено, что приведенная нами тувинская форма (*tajži* «дворянин, царевич») на самом деле заимствована из монгольского. Однако сама монгольская форма, вероятно, имеет другой китайский источник — ср. кит. (45) *dâj-žī'* / совр. *tâi-shī* «великий (достойный) человек, крупный чиновник, государственный деятель» [15, с. 618].

<sup>19</sup> Дж. Клосон считает, что якут. *tojon* представляет собой вторичное заимствование из монгольского [2, с. 569]. Для такого предположения, однако, как будто бы нет оснований — как Г. Дёрффер [3, с. 648], так и М. Ряснен [4, с. 484] считают якутское слово естественным продолжением древнетюркского. Что касается монг. *toin* «священнослужитель, монах, лама» [25, с. 820], то его Г. Дёрффер признает тюркизмом в монгольском [3, с. 649—650].

2, с. 464], широко распространено в современных языках [3, с. 619; 4, с. 496].

Тюркское слово, по общепринятому мнению, восходит к ср.-кит. (49) *dok* (др.-кит. \**dūk*) / совр. *dào, dú* «штандарт, стяг, знамя; бунчук (из перьев или бычьих хвостов)» [17, с. 828; 98, с. 565; 4, с. 496; 2, с. 464] и др. Оно засвидетельствовано в китайском уже по крайней мере с середины первого тыс. до н. э. [77, с. 266; 99], поэтому предположение Г. Дёрфера [3, с. 622] о возможности, напротив, заимствования в китайском из тюркского, представляется крайне неправдоподобным. Г. Дёрфер выдвигает данное предположение в связи с тем, что ему представляется непонятной передача кит. *-k* через тюрк. *-g*. Это, однако, весьма обычное явление в китаизмах в тюркском (см. № 6, 26, 34: \**bäg, \*kög, \*ug*, ср. также др.-тюрк. \**äg* «мера длины» < ср. кит. (50) *čhek* / совр. *chī* «чи, китайский фут (единица длины, равная 0,32 метра)» [15, с. 609] и т. п.<sup>20</sup>).

34. \**ug* «дугообразно согнутые палки, подпирающие крышу юрты». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 607; 2, с. 76], слабо распространено в современных языках [3, с. 150—151; 4, с. 510].

Тюркское слово, по всей вероятности, восходит к ср.-кит. (51) *'uk* / совр. *wū* «комната, помещение; дом, здание, жилище; крыша (дома); верх (экипажа); покров, балдахин; покрывка» [7, с. 137].

Как отмечалось выше, в древнетюркском (особенно в древнеуйгурских текстах) имеется еще большое количество китаизмов<sup>21</sup>, не сохранившихся в современных языках и, соответственно, не рассматриваемых нами в данном разделе. Хотелось бы специально остановиться лишь на одной важной группе китаизмов, а именно, на титулах и словах, обозначающих должностных лиц. Из общетюркской заимствованной лексики к этой группе слов относятся разобранные выше № 5, 6, 30, 32: \**bakši, \*bäg, \*tajši, \*toñin*. Поскольку эти слова дают особенно яркое представление о степени влияния на общественно-государственный строй древних тюрков китайской административной системы, целесообразно перечислить здесь и прочую титулатуру китайского происхождения:

35. *čigši* [1, с. 145; 2, с. 417] < ср.-кит. (52) *čjek-šī'* / совр. *ci'shī* «ревизор (по округам, дин. Хань); начальник округа (по дин. Цин)» [7, с. 1021];

36. *oŋ* [1, с. 367; 3, с. 164—165] < ср.-кит. (53) *waŋ* / совр. *wáng* «ван, князь; царь, король, император, государь, монарх; великий князь, принц; ван, князь (титул высшей знати)» [7, с. 155];

37. *qunčuj* «принцесса, младшая родственница ханской крови; женщина знатного происхождения» [1, с. 466; 2, с. 635; 30, с. 561] < ср.-кит. (54) *kuŋ-čü* / совр. *gōng'zhū* «дочь императора, принцесса, царевна, принцесса крови, великая княжна; дочь владетельной особы, княжна, царевна (о замужних или помолвленных)» [17, с. 956];

38. *saŋun/sāñün* [1, с. 485, 496; 2, с. 840] < ср.-кит. (55) *čjaŋ-kün* / совр. *jaāngjün, jiāng'jün* «генерал, полководец, командующий», ист. «воевода, командир провинциального (при дин. Цин — знаменного) гарнизона» [15, с. 63—64];

<sup>20</sup> Основа \**äg* представлена в древнетюркском предположительно с VIII в., определенно — с XI [1, с. 145, 147; 2, с. 404]. Древность слова удостоверяется наличием старого тюркизма в древнегрузинском — *m-ziγ-i* «кулак» [19, с. 316] (иначе см. [100])

<sup>21</sup> Часть древнеуйгурской лексики китайского происхождения представлена в статье [42, с. 73—121] (рецензия — [97, с. 189—195]). Подробнее о фигурирующих в научной литературе китаизмах см. [101] (данный труд стал нам доступен после завершения настоящей работы).

		29 媵者	44 太子
1 廬舍	15 戰	30 野蠻	45 大士
2 金同	16 眞	31 樣	46 磔子
3 赤銅	17 鑄銅	32 象	47 道人
4 邑	18 鑄鋏	33 眞珠	48 道人
5 白銀	19 鑄件	34 珍珠	49 纛
6 博士	20 鑄鋼	35 眞珠	50 尺
7 伯	21 茶葉罐	36 眞珠河	51 屋
8 辟	22 鐵物	37 冢	52 刺史
9 萬古	23 筭	38 嫁奩	53 王
10 牝	24 襴	39 曲	54 公主
11 牝馬	25 金	40 龍	55 將軍
12 筆	26 鐐	41 身	56 都統
13 佛	27 君	42 漆	57 者督
14 佛僧	28 君子	43 人師	58 擗

39. *tutu* [1, с. 593; 41, с. 345] < ср.-кит. (56) *to-thoŋ* / совр. *dūtong* ист. «дутун (военный) губернатор, командующий войсками» [7, с. 779];

40. *tutuq*/*totoq* [1, с. 593; 2, с. 453] < ср.-кит. (57) *to-tok* / совр. *dū'dū*, *dū'dū* ист. «дуду (командующий войсками, главный военачальник; командир, например, охраны)» [7, с. 778] <sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Реабилитация представлений о производном характере титула *tutuq* от глагола *tut-* «держат; брать, хватать», предпринятая Д. Синором [102], по-видимому, мало-перспективна не только в силу большей древности китайской формы — II в. н. э. [103], но и в свете иноязычного происхождения древнетюркской титулатуры вообще.

В качестве китаизмов квалифицируются также титулы *qaqan*, *qan*, *tarqan*, *tägin* и др., которые будут рассмотрены нами в отдельной работе.

В заключение можно сказать, что, судя по фонетическим критериям, большинство китаизмов проникло в древнетюркский с VII по X в., т. е. из среднекитайского. Ряд китаизмов в тюркском, однако, можно отнести к еще более раннему времени (см. № 1, 2, 4, 9, 11, 13, 17, 18: \**alaču*, \**altun*, \**bakır*, \**bit-i-*, \**čär-ig*, \**čodīn*, \**gümül'*, \**gür*); в основном это те слова, в которых китайский конечный -*ŋ* передается через -*n*, кит. -*n* — через -*r*, а кит. -*t* — через -*t* (в более поздних заимствованиях встречаем, как правило, соответствие -*ŋ* > -*ŋ*, -*n* > -*n*, -*t* > -*r*). В любом случае, однако, нет оснований датировать какие-либо из заимствований ранее III—IV вв. н. э.<sup>23</sup> Вместе с тем следует заметить, что число китаизмов в общетюркской лексике довольно многочисленно и свидетельствует в целом о значительном влиянии китайской цивилизации на древнетюркскую.

## II. Иранизмы

1. \**akur* «конюшня, стойло». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 49; 2, с. 89], распространено в ряде современных языков [4, с. 10; 2, с. 89].

Займствовано из н.-перс. *āxur* «хлев, конюшня» [55, с. 4; 4, с. 10; 2, с. 89], ср. ср.-перс. *āxVar(r)* тж. [57, с. 14; 104, с. 39], согд. \**ʿwuyr* «кормушка» [105, с. 179], видимо, от иран. \**āxVar-*, субстантивированной презентной глагольной основы [106, с. 58], при авест. *xVar-* «принимать пищу, есть» [107], парф. *āxVar-* «есть, поедать, питаться» [108, с. 20].

2. \**axšam* «вечер». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 71; 2, с. 96], широко распространено в современных языках [4, с. 13; 5, с. 207].

Наиболее вероятно происхождение слова из согд. \**xš'm* «вечер» — *xš'm* тж. [109, с. 48], \**ʿš'm* «ужин» [110], ср. авест. *xšafnyā-* «ночь; вечернее время» [56, с. 550, 553], ср.-перс. *šām* «вечер, ужин» [57, с. 79], парф. *šām* «вечер, сумерки» [108, с. 84], н.-перс. *šām* «вечернее время; ужин» [55, с. 169—170].

3. \**āsān* «здоровый, благополучный». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — ок. IX [1, с. 183; 2, с. 248], распространено в большинстве современных языков [3, с. 58; 4, с. 50; 5, с. 308], в качестве заимствования проникнув и в монгольский — *esen* «здоровый, в добром здравии; мирный, спокойный» [25, с. 333].

Займствовано из ср.-перс. *āsān* «мирный, спокойный» [57, с. 12; 111; 4, с. 50; 5, с. 308]; см. еще [112, 113]. В древнеуйгурском письменном памятнике XIII в. засвидетельствован также заднерядный вариант — *asan* «легкий (для исполнения)» [1, с. 59]<sup>24</sup>, по всей видимости представляющий собой более позднее заимствование того же персидского слова —

<sup>23</sup> В тюркских китаизмах, несомненно, не отражены фонетические особенности, характерные для древнекитайского, в отличие от раннего среднекитайского языка (например, наличие *r*- на месте ср.-кит. *l*-, наличие латеральных согласных на месте ряда среднекитайских переднеязычных, наличие сочетаний типа *kr-*, *pr-* и т. п.). Что касается ранних фонетических процессов, происходящих в самих тюркских языках, китайские заимствования помогают, видимо, датировать переход \**ʃ*- > *j*- с III—IV по VII в. н. э. (см. № 22, 23: \**jaŋa(n)*, \**jinčü*). Если верно отождествление тюрк. \**gümül'* со ср.-кит. *kim-liew*, то и переход \**l'* > *š* можно отнести примерно к тому же времени. Однако такие характерные для тюркского процесса, как переходы \**d*-(\**ḍ*-) > (\**ʃ*-) > *j*-, \**p*- > \**h*- > *ʃ*-, очевидно, следует отнести к более раннему времени, поскольку кит. *d*- обычно передается в тюркском как *t*-, а кит. *p*- как *b*-, см. № 6, 9, 30, 31, 32, 33: \**bäg* (ср. еще \**āb*, \**täbsi*), \**biti*-(\**g*), \**tajšv*, \**täbsi*, \**tojän*, \**tüg* (ср. еще \**altun*).

<sup>24</sup> Дж. Клосон [2, с. 248] считает написание *asan* «абerrацией», что сомнительно.

*āsān* «легкий (для исполнения), удобный» [104, с. 31] — исходя из сравнения значений.

4. \**bagiš* (*baγiš*) «подарок». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде производной формы *baγiš-la-* «дарить» [1, с. 78; 2, с. 321]), сохранено в ряде современных языков [4, с. 56; 2, с. 321].

Заимствовано, по-видимому, либо из согд. \**βxš* «дар; доля» (субстантивированной презентной глагольной основы), либо из ср.-перс. \**baχš* тж. (по [114—116], — «доля»), ср. авест. *baχš-* «дарить, наделять» [56, с. 923], ср.-перс. *baχš-* «дарить, распределять» [57, с. 17], парф. *baχš-* «распределять, наделять, дарить» [108, с. 29], согд. *βxš-*, *βγš-* «дарить, наделять» [52, с. 396], н.-перс. *baχsīdan* «дарить» [55, с. 43], татск. *baχš* «доля» [117].

5. \**bāg* «сад, виноградник». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 77; 2, с. 311], широко распространено в современных языках [4, с. 55; 2, с. 311].

По М. Ряснену [4, с. 55], заимствовано из н.-перс. *bāγ* «сад» [55, с. 39], по Дж. Клоусу [2, с. 311], — из ср.-перс. *bāγ* [57, с. 16], по Л. Г. Герценбергу [1, с. 77], — из согд. *β'γ*, *b'γ* тж. [53, с. 485, 536], видимо, в конечном итоге восходящих к иран. \**bāga-* «часть, доля», ср. авест. *bāga-*, др.-инд. *bhāga-* [106, с. 9; 118].

6. \**bāj* «богатый». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 79; 2, с. 384], широко распространено в современных языках [4, с. 56; 21, с. 27—28]. В качестве тюркизма слово проникло в монгольский (с суффиксальным оформлением — *baja-n*), новоперсидский и другие языки [3, с. 259—260]. Видимо, имя аварского вождя VI в. — *Bayan* [119] указывает на довольно раннее заимствование слова.

Среднеперсидскую форму, отражающую общеиран. \**baga-* «господин (эпитет бога); бог» (др.-перс. *baga-*, авест. *baγa-* [56, с. 921], парф. *baγ* [108, с. 27], согд. *βγ* [120, с. 196] и др.), обычно приводят как *baγ* [121, с. 109—110] или как *baγ*, *bay* [122]. Однако Д. Маккензи [57, с. 17] отмечает только ср.-перс. *bay* (манех. ср.-перс. *by*) «бог; господин»<sup>25</sup>. Представляется вполне вероятным заимствование тюрк. \**bāj* именно из среднеперсидской формы<sup>26</sup>. Семантическое развитие «бог» → «богатый» / «богатство» — довольно обычное явление (в связи с этим интересно отметить наличие диалектной формы XI в. *bajat* «бог», а также «господин» [1, с. 79; 2, с. 385; 3, с. 379; 4, с. 56]). О сакральном значении слова см. [124].

7. \**bōrč* «долг». Согласно [21, с. 196], представлено в древнетюркском не позднее XII—XIII вв. (однако в [1] и [2] отсутствует), широко распространено в современных языках [4, с. 80; 21, с. 196].

Заимствовано, по-видимому, из согд. *purc* «долг, заем, ссуда» [53, с. 503, 547; 125, с. 223; 126; 127].

8. \**bōri* «волк». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 118; 2, с. 356], широко распространено в современных языках [3, с. 333; 4, с. 84; 21, с. 219—220].

Этимология слова весьма проблематична, хотя наиболее популярна

<sup>25</sup> Развитие *bay* < *baga-* в среднеперсидском вполне закономерно, ср. *Ray* при др.-перс. *Raga-*, авест. *Raγa-* и т. п. [123, с. 260].

<sup>26</sup> Долгота в тюрк. \**bāj* требует особого объяснения. Не исключено, что в среднеперсидском существовал и вариант \**bāy* (< \**bāga-*, ср. др.-перс. *bāga-yāday* «богопочитание» [56, с. 952—953; 124, с. 110], где явно выделяется слово *bāga-* с гласным вступени *vγd̥d̥hi*).



гипотеза о его иранском происхождении. Так, еще Ф. Е. Корш [128] обратил внимание на сходство тюркской формы с осет. *bīræγ* // *beræγ* «волк», которую он выводил из предположительной иранской формы \**bairaka*- «страшный», но для тюркского слова допускал источник типа \**bīruka*- (др.-инд. *bhīruka*- [26, с. 269]). Надо заметить, что приведенные формы следует отделять от иран. \**vrka*- «волк» (представленного в авест. *vahrka*- [56, с. 1418], др.-перс. \**Vrkāna*- «Хиркания, или «волчья страна», скиф. *varka*, осет. *Wærxæg* «имя героя — родоначальника нартов» [87, с. 495—496, 930; 129, с. 308], ср.- и н.-перс. *gurg* [57, с. 38], согд. *wyrk*-, хорезм. *ūrīk* [130] и др.), никак не связанного с осет. *bīræγ* // *beræγ*, вопреки М. Фасмеру [131, с. 168], А. М. Щербаку [132, с. 131—132] и др. Г. Дёрфер [3, с. 334] рассматриваемую версию этимологии слова ставит под сомнение ввиду фонетических сложностей, но считает возможной при условии отсутствия в иранском прототипе конечного *-k* (*-g*). К этому можно добавить, что внутри иранских языков, по предположению В. И. Абаева [133, с. 263] и А. Йоки [134, с. 343], к осет. *bīræγ* // *beræγ* примыкает только хотанско-сак. *birgga*- [*birγa*], однако в последнее время для самой осетинской формы предполагается тюркское происхождение в результате табуирования исконно индоевропейской лексемы [87, с. 496].

9. \**duman* (>*tuman*) «туман, мгла». Представлено в древнетюркском ок. IX в. [1, с. 585; 2, с. 507], широко распространено в современных языках [3, с. 567; 4, с. 498; 71, с. 295].

Слово представляет собой вероятный старый иранизм (ср. авест. *dumtan*- «туман, мгла; облако, туча» [56, с. 749]), который проник в тюркский, видимо, через согдийское посредство (ср. [135, с. 119; 3, с. 568]). Однако существуют и собственно тюркские этимологии: произведение слова от *tu*- «покрывать» [35, с. 127], от *tum* (\**dum*) «холод; холодный» [4, с. 498], от *tum(a)*- «обволакиваться, закутываться» [3, с. 568]. Поэтому в пользу иранского происхождения тюрк. \**duman* требуются дополнительные аргументации.

10. \**čātīr* «шатер». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определенно — с XI в. [1, с. 142; 2, с. 403], широко распространено в современных языках [30, с. 16—17; 4, с. 101]. Древность слова удостоверяется наличием старого бугларизма в венгерском — *šator* тж. [39, с. 115].

Обычно слово выводят из н.-перс. *čādir*, *čādar*, *čādur* «шатер; чадра» [136; 35, с. 2; 133, с. 292] и др., по сравнению с которым, видимо, более авторитетно ср.-перс. *čādur* «покрывало; чадра» [57, с. 21]. Эта этимология, однако, связана с некоторыми трудностями (наличие перс. *-d*- при тюрк. *-t*- и не вполне определенное происхождение самой персидской формы, несмотря на внушительное представительство индоиранских данных: скр. *chad*- «давать тень; покрывать», *chattra*- «зонт» — перс. *čādir*, *čādar* «чадра; шатер», *čatr* «зонт» [133, с. 292]). Поэтому Ю. Немет [137] решительно ее оспаривает и, вслед за А. Вамбери [138], выдвигает тезис о производности тюрк. *čātīr* от *čat*- «складывать, прикладывать». Г. Дёрфер [30, с. 21] справедливо указывает на то, что *čātīr* не может быть производным от *čat*- (ввиду различия гласных по количеству), и склоняется к тому, чтобы все же признать тюркское слово заимствованием из иранского, но через некий неизвестный язык-посредник.

11. \**čäkükč* (// \**čäkük*) «молоток, молот». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде *čäkük* [1, с. 143; 2, с. 415]), широко распространено в современных языках (однозначно указывающих на исходную форму \**čäkükč* [30, с. 87; 4, с. 103]).

Займствовано из ср.-перс. *čakuš* «молоток, молот» [57, с. 21; 30, с. 87; 134, с. 318], ср. авест. *čakuš-* «молот для метания, (боевой) топор для метания» [56, с. 575; 139], н.-перс. *čakuš* «молот, молоток» [55, с. 99]. По поводу этимологии иранской основы см. также [133, с. 298—299; 140; 141; 74, с. 97].

12. \**čit* «легкая хлопчатобумажная ткань с набивным рисунком, ситец». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 146; 2, с. 402], распространено в большинстве современных языков [30, с. 129; 4, с. 112].

Займствовано из н.-перс. *čit* «коттон, ситец» [3, с. 129; 4, с. 112] (конечный источник — скр. *citṛá-* «пестрый» [73, с. 261; 30, с. 129; 2, с. 402]).

13. \**čigrī* (/čikīr) «колесо, колодезный ворот» и т. п. Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 148; 2, с. 410], широко распространено в современных языках (часто с суффиксальным *-k*) [30, с. 72; 4, с. 108].

Займствовано, по-видимому, из согд. *cxr(w)* «колесо» [109, с. 79], *cxr* «круг, обод, обруч, колесо» [142, с. 251; 143], ср. авест. *čaxra-*, др.-инд. *cakrá-* «колесо» (в «Ригведе» также о «солнечном колесе» и «колесе года»), парф. *cxr* и др. [87, с. 718; 53, с. 562]. Во многих современных тюркских языках фигурирует более поздняя форма *čarx*, займствованная уже непосредственно из н.-перс. *čarx* «колесо» [55, с. 97—98; 4, с. 100]. Вопреки Г. Дёрферу [30, с. 72—73] и Дж. Клосону [2, с. 410], вряд ли есть основания сомневаться в иранском происхождении основы \**čigrī*.

14. \**čögän* «кляшка, ракетка». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 154; 2, с. 416], слабо сохранено в современных языках [4, с. 117; 2, с. 416].

Займствовано из н.-перс. *čögān*, *čaugān* «кляшка, ракетка» [55, с. 110; 57, с. 22; 4, с. 117; 2, с. 416].

15. \**jāt(a)* «колдовство; вызывание дождя, камень для вызывания дождя». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 247; 2, с. 883], распространено в ряде современных языков [4, с. 177], где встречаем также форму *jada* со значением «шаманский камень» [144]<sup>27</sup>. Известно в качестве раннего заимствования в монгольском — *žada* «заговор для вызывания дождя, камень для вызывания дождя» [25, с. 1021, 1215].

Н. Поппе [145] выводит рассматриваемое слово из н.-перс. *jādū* «колдовство; волшебник» [55, с. 92; 106, с. 26], однако оно может восходить и к некоей бессуффиксальной среднеиранской основе типа согд. \**y'tw* (*k*) от иран. \**yātu-ka-*, ср. авест. *yātu-* «колдун, чародей», др.-инд. *yātú-* «колдовство; волшебник» [146], книжн. пехл. *yātūk*, маних. ср.-перс. *jādūg* «волшебство, магия» [147, с. 21], паз. *jādu* «волшебник, маг» [104, с. 226], согд. *y'tw(k)* «колдун, чародей» [142, с. 277]. Несмотря на сомнения Дж. Клосона [2, с. 883], иранская этимология слова представляется вполне удовлетворительной (хотя неясно, что является конкретным источником заимствования — персидский или согдийский). В согдийском имеются еще формы *sbw*, *sdu* «колдовское обаяние» [142, с. 195, 251], а также *sb*, которую Хеннинг [148; 80, с. 714, 738] трактует как «камень для вызывания дождя». Представляется справедливой, однако, точка зрения Дж. Клосона [2, с. 883], считающего, что сама эта согдийская форма может представлять собой заимствование, что она во всяком случае не является источником тюркской формы (ср. [149, с. 31]).

<sup>27</sup> Г. Дёрфер [13, с. 288—289] и Дж. Клосон [2, с. 883] считают, что распространенная в современных тюркских языках форма *jada* представляет собой обратное заимствование из монгольского. Однако неясно, как в таком случае объяснить инициальный *j-* тюркской формы.

16. \* *jäk* «демон, злой дух». Представлено в древнетюркском предположительно с V—VII вв., определено — с VIII [1, с. 253; 2, с. 910], довольно широко распространено в современных языках [4, с. 194—195].

Слово возводится к пали *yakkho*, прапр. *jakkha*- «демон» [73, с. 601], вопреки Дж. Асмуссену [150] и др., по всей видимости, через иранское посредство [1, с. 253; 2, с. 910]. Многое здесь, однако, остается неясным. Так, прежде всего неизвестен язык-посредник (в согдийском форма типа *yk*, насколько мы можем судить, отсутствует — согд. *'ykušy, ykušyy, ykš-, ykš'* восходит непосредственно к скр. *yakša*- «демон» [53, с. 483, 553; 142, с. 277; 109, с. 32]. Тем не менее альтернативная теория В. Банга и коллег [151] о производности *jäk* от *jä*- «есть» (т. е. «обжора»), принятая также М. Рясняном [4, с. 195], выглядит менее приемлемой (по крайней мере, ввиду несоразмерности гласных в *jä*- и *jäk*).

17. \**katir* «мул». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 435; 2, с. 604], исходная форма хорошо сохранена в современных огузских языках [132, с. 95; 4, с. 242]. Заимствовано в монгольском (п.- и ср.-монг. *qačir* «лошак», по [145], однако в [25] отсутствует), откуда в качестве монголизма проникло во многие тюркские языки [132, с. 95; 30, с. 392—393; 4, с. 217].

Слово, по-видимому, заимствовано из согд. \**xrtr*-[*xartar*] «мул», по Г. Бэйли, — *xarataraka*- [152], ср. согд. *yrtr'k*, хотано-сак. *khačara* < \**xara-tara*- [74, с. 70—71], н.-перс. *astar* тж. [55, с. 21] от иран. \**aspa-tara*- (при др.-инд. *aśva-tarā*-). Тюркские слова вновь проникли в иранские языки, ср. перс. *kātir*, осет. *qadir* «мул» и др., ийдга *kačir, xačir* тж. и др. [153—155]. Ввиду надежной иранской этимологии вряд ли целесообразно производить тюрк. \**katir* «мул» от основы глагола *qat*- «смешивать», как то предпочитают, вслед за А. Вамбери [156], Дж. Клосон [2, с. 604] и др. К вероятной диссимилятивной элизии срединного *-r-* в тюркской форме ср. выше тюрк. \**dämür* // \**dämür* «железо» — ср.-кит. *tiet-müt*, позднеср.-кит. *tier-mür* «железная вещь».

18. \**känt* (\**känd*) «город». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 290; 2, с. 728], слабо распространено в современных языках (уже на правах архаизма, а также в топонимах типа *Самарканд*, *Ташкент* и т. п.) [30, с. 670; 4, с. 252].

Заимствовано из согд. *knd* «город» [142, с. 256; 109, с. 80 30, с. 670; 4, с. 252; 2, с. 728], ср. хотано-сак. *kanthā*- тж. [74, с. 51], осет. *kənt* «здание» [133, с. 579] (с различными трактовками иранской основы в данных работах) и др.

19. \**kilit* // \**kirit* «ключ». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде *kirit* [1, с. 309; 2, с. 738]), довольно широко распространено в современных языках (с перебоем *l/r* [4, с. 271]).

Современные формы с *-l-* заимствованы, видимо, непосредственно из н.-перс. *kilid* «ключ» [4, с. 271] < араб. *iqīd* < греч.  $\kappa\lambda\eta\iota\delta$ - тж. [157], а форма с *-r-*, по предположению Дж. Клосона [2, с. 738], может восходить к согдийскому источнику.

20. \**kumlak* «хмель». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с XI в. [1, с. 466; 2, с. 628], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *čämļa* [4, с. 299]. Древность слова удостоверяется наличием старого бұлгаризма в венгерском — *komb* тж. [39, с. 97].

Существует несколько этимологий этого широко распространенного культурного слова (тюркская, германская, иранская). Так, М. Ряснян [4, с. 299] возводит тюрк. \**kumlak* к *kum* «волна», что довольно сомнительно

(это решение основано на народно-этимологическом истолковании слова *qumlaq* в словаре М. Кашгарского). Германская этимология слова [158], согласно которой др.-исл. *hymli*, англ.-сакс. *hymele*, ср.-н.-нем. *homele* «хмель» связываются с н.-в.-нем. *hummeln* «шарить, ощупывать», представляется довольно натянутой. Наиболее вероятно все-таки иранская этимология [159], где осет. *χ<sub>0</sub>um-ællæg* // *χ<sub>1</sub>um-ællæg* «хмель» возводится к др.-иран. *\*hauma-aryaka-* «арийская хаома (опьяняющий напиток)» (ср. [149, с. 31]). Следует заметить, однако, что тюрк. *\*kumlak* оказывается единственным более или менее надежным древним аланизмом в тюркских языках.

При принятии данной этимологии следует предположить, что аланское (скифское) слово в ранний период проникло в тюркский (*\*χ<sub>1</sub>umallak* > *\*kumlak*), а в европейских (ср. цитированные выше германские формы, а также слав. *\*xmeľь*, ср.-греч. *χ<sub>0</sub>ομ<sub>ε</sub>λι*, ср.-лат. *humulus*) и финно-угорских языках (венг. *komló*) распространилась уже вторичная б<sub>у</sub>лгарская форма без конечного *-k* (ср. чув. *χ<sub>3</sub>mtla*).

Иной путь распространения иранского слова предполагается Ф. Б. Койпером [160], который считает исходной для европейских названий хмеля не б<sub>у</sub>лгарскую, но не посредственно осетинскую форму *\*xumæľ* (из *\*hauma-arya-*). Уязвимым местом этой точки зрения, на наш взгляд, является отсутствие бессуффиксальной формы в каких бы то ни было иранских источниках.

Следует упомянуть и точку зрения В. Б. Хеннинга [161], также признающего иранский источник тюркского слова, однако считающего его собственно тюркским производным от незасвидетельствованного *\*qum* < вост.-иран. *xum* (= авест. *haoma-*). Данная версия становится совершенно излишней при наличии весьма убедительной этимологии В. И. Абаева. К этому ср. еще [162; 105, с. 168—169; 163, с. 292; 164] и др.

21. *\*küďäč* (*\*kōďäč*) // *\*küzäč* «кувшин». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в. (в виде *küzäč*), определено — с XI (в виде *küzäč* и диал. *küďäč* [1, с. 324; 2, с. 757]), современные формы (в основном северо-восточные) восходят к *\*kōďäč* [4, с. 286].

Для этого слова предполагается иранский источник [2, с. 757], ср. н.-перс. *kūza* «глиняный сосуд, кувшин; чаша, кубок» [55, с. 194—195; 165], согд. *ks'* «чаша, кубок» [125, с. 213] (возможно, сюда же согд. *kwzt'yk* «кувшин» [64, с. 89]), хотя налицо некоторые фонетические и словообразовательные сложности (о *-č* в *küzäč* как о словообразовательном суффиксе см. [35, с. 90]). Отметим, что непосредственно к перс. *kūza* восходят некоторые современные формы типа туркм. *kūje* «кувшин, кринка». К этому ср. еще [133, с. 641—642, 654; 88, с. 273], а также [74, с. 61—65]: *kīssa* «в сосуде», *kūysa-*, *kauysä*, *kūsa-* «глиняный сосуд, кувшин».

22. *\*kūr* «глиняный кувшин, сосуд». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 328; 2, с. 687], сохранено в современных огузских языках [4, с. 309].

Это древнее бродячее слово, проникшее в тюркский, видимо, через иранское посредство, ср., в частности, вероятный семитизм в персидском — *kūr* «большой кувшин (для воды)» [166]. Не вполне, правда, ясно, какой именно иранский источник оно имеет (в среднеперсидском и согдийском оно как будто бы не засвидетельствовано). К этому ср. еще [167; 88, с. 394; 168].

23. *\*mīrč* (// *\*murč*; *\*burč*) «перец». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с XI в. (с начальным *m-* [1, с. 346, 351; 2, с. 771—772]), а также, по-видимому,

с начальным *b-* в бұлгарской ветви), широко распространено в современных языках (часто с развитием *m- > b-*, являющимся следствием ограничений на употребление анлаутного *m-* в тюркском) [4, с. 345; 21, с. 274]. Древность слова удостоверяется наличием старого бұлгаризма в венгерском — *bors* тж. [39, с. 100].

Общепризнано заимствование тюрк. *mürč* // *murč* из скр. *marīca* «перец» [73, с. 567; 72, с. 377; 98, с. 374; 4, с. 345; 2, с. 771], по-видимому, через согдийское посредство — согд. *marč*, *marič* (в арабской записи) «перец» [169].

24. \**ōtag* «шатер, жилище». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 373; 2, с. 46], широко распространено в современных языках [4, с. 366; 5, с. 484—485].

Е. И. Титов [170] и А. Йоки [22, с. 249] считают слово заимствованным из согд. *'wi'k* «область, местность» [120, с. 195]. Исключить такую возможность, по нашему мнению, нельзя, хотя большинство исследователей в настоящее время предпочитают собственно тюркскую этимологию от \**ōt* «огонь», \**ōtia-* «зажигать»: \**ōt-a-g* «место, где поддерживается огонь» [171; 3, с. 69; 2, с. 46; 5, с. 486—487; 172]<sup>28</sup>.

25. \**sart* «купец». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 490; 2, с. 846], сохранено в ряде современных языков в качестве архаизма [4, с. 405]. В конце средневекового периода слово приобретает значение «горожанин», а также «иранец» [2, с. 846].

Заимствовано, по всей видимости, из иранского источника, ср. зап.-ср.-иран. *sārt* «караван» [53, с. 333; 108, с. 81], по предположению Дж. Клосона [2, 846], — из санскритского (*sārtha-* тж.) через согдийское посредство.

26. \**tamu(g)* «ад, преисподняя». Представлено в древнетюркском предположительно с V—VII и VIII вв., определено — с XI [1, с. 531; 2, с. 503], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *tamāx*, *tamāk* [3, с. 568—569; 4, с. 460].

Заимствовано из согд. *tm(w)* «ад» [142, с. 273; 52, с. 403; 2, с. 503; 175] и др., все — из *tmw*, ср. авест. *tamah-* «темнота, тьма», др.-инд. *tāmas-* [56, с. 648—649; 176], ср.-перс., парф. *tam* тж. [108, с. 86] (по К. Залеману, — ср.-перс. *tum* [123, с. 271], по Д. Маккензи, — книжн. пехл. *tom* [147, с. 25]), н.-перс. *tam* «потемнение хрусталика, катаракта» [55, с. 88]. Конечный *-g* (*-γ*) либо отражает иранскую суффиксацию (возможно, — ингредиент сложения \**tamaka-ahū-* «мрачный мир» в противоположность «светлому миру» — «раю»), либо развит на тюркской почве.

27. \**tan* // \**tān* «тело». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — ок. IX [1, с. 531, 544; 2, с. 510], сохранено в ряде современных языков [4, с. 473].

Заимствовано из ср.-перс. *tan* «тело» [57, с. 81], ср. авест., др.-перс. *tanū-*, др.-инд. *tanū-* «тело; сам» [177; 121, с. 144], скиф. *tanu* [129, с. 305], н.-перс. *tan* «тело» [55, с. 88].

28. \**uštmač* «рай». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде *uštmaq*, предположительно с XII—XIII вв. — в виде *uštmaχ* [1, с. 604,

<sup>28</sup> Согд. *'wi'k(w)* надежной иранской этимологии не имеет [109, с. 150], см., однако, [173]. Поэтому, конечно, не исключено, что сама согдийская форма (которую Э. Беვენист переводит как «*raus habité, region*» [142, с. 247], а В. Хеннинг [53, с. 535] и В. Зундерман [174] как «место, местность») может действительно оказаться тюркизмом.

621; 2, с. 257]), широко распространено в современных языках (в виде *uĉmaq* — народно-этимологическая форма — результат аналогии с глаголом *uĉ-* «летать, улетать» [3, с. 12; 5, с. 614]).

Займствовано из согд. *'wštm'x, wštm'x* «рай» [109, с. 32, 61; 2, с. 253; 5, с. 614; 178], ср. ср.-перс., парф. *vahištāv, vahišt* [108, с. 92], н.-перс. *bihīšt* [55, с. 56] и др., видимо, от иран. *\*vahištātama-ahū-* «лучший мир» (см. [109, с. 25] с привлечением конъектуры О. Семереньи, [52, с. 382]).

При анализе иранских заимствований в общетюркском обращает на себя внимание сравнительно позднее время появления большинства из них в тюркских письменных памятниках — до IX в. засвидетельствовано намного меньше иранизмов, чем в текстах X—XI вв.<sup>29</sup>

В качестве основных источников выступают согдийские, несколько реже — персидские формы (*āsān, āxur, bay, ĉādur, ĉakuĉ, ĉaugān, ĉit, kilīd, tan*)<sup>30</sup>. В более позднее время число иранизмов в тюркских языках резко возрастает, но их анализ выходит уже за рамки поставленных здесь задач.

### III. Заимствования из неиранских индоевропейских языков

1. *\*bāĉin* «обезьяна». Представлено в древнетюркском с VIII в [1, с. 98; 2, с. 295—296], сохранено в ряде современных языков [21, с. 128] в качестве архаизма по сравнению с более поздним арабизмом — *maymūn*, засвидетельствовано также в монгольском — *beĉi(n)* тж. [25, с. 93].

Тюркское слово принадлежит к числу несомненно заимствованных слов той группы, точное происхождение которых довольно трудно проследить. Вслед за Н. Поппе [180] и Л. Лигети [181], мы склонны предполагать, что непосредственным источником тюркской формы может быть монг. *beĉin*. Если монгольская форма восходит к *\*betin* (развитие *ti > ĉi* характерно для монгольского, но отсутствует в тюркском), то ее можно выводить из *πῆθων* (ср. [96, с. 74]), хотя и при такой этимологии не удается преодолеть фонетические трудности, связанные с вокализмом. Альтернативная иранская этимология, сравнивающая тюрк. *\*bāĉin* с перс. *būzina*, афг. *bizū*, тадж. *būzina*, хинди *bozna, buzina* и др. [182; 3, с. 383; 12, с. 437; 4, с. 66; 2, с. 295], представляет еще большие фонетические трудности — хотя в конечном счете мы, наверно, имеем дело с различными вариантами одного и того же «бродячего» слова<sup>31</sup>.

2. *\*bōz* «холст, хлопчатобумажная ткань». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII—X вв., определено — с XI [1, с. 118;

<sup>29</sup> В качестве ранних иранизмов квалифицируются также древнетюркские титулы *qatun, šad, šadap(ĉit)* и др. (по поводу *\*Ašina* см., в частности, [179]), которые будут рассмотрены нами в отдельной работе. Дж. Клосон [2, с. 627] считает иранизмом также др.-тюрк. *qamaγ* «весь», засвидетельствованное уже в тюркских рунических памятниках VIII в. (ср. ср.-перс., парф и др. *hamāg, hamag* «весь, всё; все» [108, с. 45]). Исключить такую возможность, по-видимому, нельзя, однако требуются дополнительные аргументы для подтверждения гипотетической тюркской праформы *\*χamaγ*, приводимой Дж. Клосоном.

<sup>30</sup> Возможно, в некоторых случаях следует предположить заимствование тюркского слова из незасвидетельствованной согдийской формы, родственной эквивалент которой сохранился только в персидском.

<sup>31</sup> В качестве его предполагаемого первоисточника в последнее время указываются семито-хамитские формы: др.-египет. *paṯt* «бабуин», туарег. *abidāu* «обезьяна» [183].

2, с. 389], широко распространено в современных языках [4, с. 72; 21, с. 102]. Примерно с XIII в. засвидетельствована и форма *bāz* «материя, ткань (бумажная, льняная)» [1, с. 97], исторически, возможно, более архаичная.

Вслед за Б. Лауфером [98, с. 574], В. Бангом [184] и др., часть исследователей конечным источником тюркского слова считают греч. βύσσος «виссон, тончайшее полотно». Само греческое слово (засвидетельствовано с V в. до н. э.) имеет западно-семитское происхождение, ср. финик. *bš*, сир. *būšā*, аккад. *būšu*, араб. *bazz* и др. [185; 186, с. 74]. Однако непосредственное выведение тюрк. *\*bōz* (*\*bāz*) из греческого опять-таки наталкивается на фонетические трудности (долгота гласного, звонкий *z*), заставляющие предполагать некоторый неизвестный нам язык-посредник. К выяснению возможных путей проникновения слова в тюркские языки, см. также [187].

3. *\*idiš* (// *\*itiš*?) «сосуд». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — ок. IX [1, с. 203; 2, с. 72], распространено в ряде современных языков [4, с. 36; 5, с. 328—329].

Согласно К. Менгесу [188], тюрк. *\*idiš* восходит в конечном счете к греч. δίσχος «блюдо» (откуда, через латинское посредство, и европейские формы типа англ. *dish*). Эта этимология представляется интересной, хотя и сопряжена с некоторыми фонетическими трудностями. Во всяком случае, пути проникновения греческого слова в тюркский предостоят еще выяснить.

4. *\*kōpür* (// *\*kōp(ü)rüg*) «мост». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 317; 2, с. 690], широко распространено в современных языках [30, с. 585; 4, с. 292]. Следует заметить, что форму *\*kōpür*, представленную в каз. *köpür*, тат., башк. *küper* и других северо-западных языках, а также чув. *käper*, вопреки Г. Дёрферу [30, с. 585], трудно признать новообразованием, хотя она и не засвидетельствована в старописьменных памятниках. Тюркская форма *\*kōp(ü)rüg* была рано заимствована в монгольском — *køgerge* «мост» [25, с. 480].

Несмотря на критику Г. Дёрфера [30, с. 586—587], греческая этимология слова, отстаиваемая М. Рясиным [4, с. 292], В. Г. Егоровым [163, с. 106], Ш. В. Габескирия [189] и др., представляется довольно убедительной: ср. др.-греч. γέφυρα «мост», н.-греч. γέφυρα тж. Как и в предыдущем случае (с тюрк. *\*idiš*), некоторые фонетические детали и здесь остаются неясными (причины оглушения начального согласного, отпадения конечного гласного). Следует, по-видимому, и здесь предполагать вероятность некоего языка-посредника.

Итак, можно констатировать, что немногие общетюркские грецизмы проникли в тюркскую языковую среду через какой-то, пока еще не идентифицированный промежуточный источник (ввиду проблем фонетического порядка трудно предполагать непосредственные контакты тюрков с греческими эмигрантами Средней Азии, обитавшими в тех краях, по-видимому, еще со времен Греко-Бактрийского царства).

5. *\*jägirmi* «двадцать». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 253; 2, с. 915], распространено во всех современных языках [163, с. 214] и др.

По предположению А. Рона-Таша [190, с. 504], источником тюркской формы является тохарский — тох. В *ikäm* [*wiki*] «двадцать» [47, с. 169] < и.-е. *\*wikmti* [191, с. 572]. Тохарская форма не может, однако, объяснить наличие *-r-* в тюркском, что, в частности, является наиболее уязвимым местом данной этимологии.

6. \**künčit* «кунжут». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — ок. XII—XIV вв. [1, с. 327; 2, с. 727—728], распространено в большинстве современных языков [4, с. 309; 2, с. 727].

Слово восходит непосредственно к тох. А *kuñcit* [=В] «кунжут» [47, с. 95; 2, с. 727]. К тюркскому источнику, вопреки Г. Моргенштерне [192] и М. Рясянену [4, с. 309], восходят ср.- и н.-перс. *kuñjid* тж. [57, с. 52].

7. \**tör* «почетное место, место против входа». Представлено в древнетюркском с XI в. [1, с. 580; 2, с. 528—529], широко распространено в современных языках [4, с. 494].

Согласно предположению А. Рона-Таша [190, с. 74], заимствовано из тох. В *twere* «дверь» [47, с. 202] < и.-е. \**d(h)uēr-* тж. (\**dhuro-s*, по [191, с. 520]).

8. \**tümän* (// \**tuman*) «десять тысяч». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с VIII в. [1, с. 596—597; 2, с. 507—508], довольно широко распространено в современных языках [3, с. 634; 4, с. 504], заднерядная форма *tuman* налицо в турецком [4, с. 498]. Тюркское происхождение имеют монг. *tüme(n)* [25, с. 853; 36, с. 415; 3, с. 639; 4, с. 504; 2, с. 507], венг. *tömény* тж. [39, с. 131].

По всей вероятности, вопреки Г. Дёрфферу [3, с. 641], заимствовано из тохарского — тох. А *tmām*, тох. В *tmāne*, *tumane* «десять тысяч» [47, с. 102, 200; 191, с. 642; 2, с. 507; 190, с. 504]<sup>32</sup>. Вопреки Л. Г. Герценбергу [1, с. 596], ср.-перс. *tumān* не может являться источником тюркской формы, но, напротив, представляет собой сравнительно поздний тюркизм.

Из числа надежных тохаризмов в тюркском следует упомянуть также не сохранившиеся в современных языках др.-тюрк. *ärmäli* «быстрая лошадь, скакун» < тох. В *ramer[rmer]* «быстрый» [47, с. 230; 191, с. 401; 2, с. 232], др.-тюрк. *aršī* «дворец» < тох. В \**kerc(c)iyi* мн. ч. тж. [47, с. 168; 191, с. 215; 30, с. 443; 2, с. 664; 190, с. 503], др.-уйг. *banīt* «патока, сироп» < тох. В *panit (pañit)* тж., скр. *phāñita* [47, с. 207; 4, с. 61], др.-уйг. *madar* «демон, чудовище» < тох. А *mātār*, тох. В *mādār* «(водяное) чудовище», скр. *makara* [47, с. 124, 219; 1, с. 334] и некоторые др.<sup>33</sup>.

Следует, по-видимому, констатировать, что для рассуждений об активном влиянии тохарского на тюркский еще нет достаточных оснований — тохаризмов в общетюркском, несомненно, значительно меньше, чем китаизмов и иранизмов.

Помимо рассмотренных выше иранизмов, грецизмов и тохаризмов, в общетюркской лексике встречается еще довольно большое количество

<sup>32</sup> Тохарское слово, по-видимому, имеет довольно надежную индоевропейскую этимологию — и.-е. \**teu-* «толстеть», ср. от того же корня слав. \**tysoj-*, гот. *fūsundi* «тысяча», а с другой стороны, распространенная на \*-*me(n)* типа лат. *tumeo*, греч. *σῶμα* и др. [193, с. 1080—1085; 135, с. 133]. Поэтому вряд ли есть основания выводить тохарскую форму из др.-кит. \**iman* вопреки Дж. Клоусу [2, с. 507] со ссылкой на устное сообщение Е. Дж. Пуллиблэнка, тем более что реконструкция \**iman* при ср.-кит. *mwən*, по устному же сообщению С. А. Старостина, весьма сомнительна.

<sup>33</sup> В упоминаемой работе А. Рона-Таша дается еще определенное множество тюрко-тохарских этимологий. Большинство из них (кроме разобранных выше) представляется пока недостаточно обоснованными. Подробный анализ всех этих сближений занял бы слишком много места — к некоторым из них мы еще вернемся ниже. Критический разбор нескольких этимологий А. Рона-Таша см. в недавних работах Е. А. Хелимского [186, с. 72—73] (здесь же, в частности, тюрк. \**öküz* «бык», \**jüz* «медь») и Вяч. Вс. Иванова [194]. Статья же Н. А. Баскакова по тюрко-тохарским параллелям [195] стала нам доступна после завершения настоящей работы.



индоевропейцев, непосредственный источник которых пока не удается проследить <sup>34</sup>.

9. *\*alma* (// *\*almīla*) «яблоко». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде *almīla*, *alīmīla*, а также с огузским вариантом *alma* [1, с. 35, 36; 2, с. 146]), сохранено в большинстве современных языков [4, с. 18; 5, с. 138].

Обычно слово признается индоевропейским заимствованием (о выведении тюрк. *\*alma* из «древнеиндоевропейского» *\*amlu-* «яблоко» см. [87, с. 639]). Поскольку данный корень отражен и в индоиранских языках [87, с. 640; 199], то предположение о европейском источнике тюркских форм представляется необязательным, хотя как (индо-)иранизм в тюркском квалифицировать слово, конечно, нельзя — прежде всего ввиду наличия *-r-* в индоиранских рефлексах основы (ср. скр. *āmṛā-* «манго», иран. *\*(a)marna-* «яблоко; яблоня»).

10. *\*ākšī-g* «кислый», *\*ākšī-* «быть кислым». Представлено в древнетюркском с XI в. (в виде *ākšig* [1, с. 168; 2, с. 118]), глагольная основа *ākšī-* фиксируется несколько позже и распространена в современных языках как в глагольной, так и в именной функции [4, с. 39; 5, с. 259].

Основу можно сравнить с и.-е. *\*ak(-s)-//\*ok(-s)-*, представленным в лат. *acēre* «быть кислым», *acidus* «кислый», *acētum* «уксус», греч. *ὄξος* «(винный) уксус» [193, с. 18, 21] <sup>35</sup>.

11. *\*baltu* (// *\*balta*) «топор; секира». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э. (в виде *baltu* [1, с. 81; 2, с. 333], а также, вероятно, в виде *\*balta* в бугарской ветви), определено — с XI в. (в виде *baldu* [1, с. 80; 2, с. 333]), в современных языках широко распространены формы с конечным *-a*, а форма с конечным *-u* сохранена в уйгурском [4, с. 61; 2, с. 333]. Древность слова удостоверяется наличием старого бугаризма в венгерском — *balta* «топор» [39, с. 40].

Форму *balta* В. И. Абаев [133, с. 451] рассматривает в качестве иранизма в тюркском. Однако общеиранской формой рассматриваемого корня является *\*parasu-*, а предполагаемая древнеперсидская форма — *\*parađu-* (отсюда осет. *færæt*, тох. В *peret* [*porat*], по [47, с. 212; 191, с. 637], различные финно-угорские формы, а из тохарского — чув. *portâ* [133, с. 451]). Что касается тюрк. *\*baltu*, то эта форма предполагает источник типа *\*paladu-* с иранским развитием последнего согласного, но сохранением инлаутного *\*-l-*. Таким образом, налицо несомненное заимствование из индоевропейского, но конкретный источник тюркской формы пока неизвестен. Об и.-е. *\*peleku-* «секира; топор» (откуда и все упомянутые

<sup>34</sup> Мы не имеем здесь в виду те тюрко-индоевропейские параллели, которые разъясняются в рамках ностратической теории (см., в частности, [196—198]). Так, среди приводимых А. Рона-Ташем [190, с. 503] примеров тюрко-тохарских параллелей встречаем сближение тюрк. *\*gāb-* «жевать» (по Рона-Ташу — *\*kev-*) с и.-е. *\*gǵey-* тж., а тюрк. *\*ok* «стрела» — с и.-е. *\*ok-//\*ak-* «острый; острие» (замечим, что в тохарском корень *\*gǵey-* представлен в виде тох. А *šu-*, *šwa-* [= В] «есть», по [47, с. 146; 191, с. 490], а корень *\*ok-//\*ak-* — только в составе тох. В *akwate* «острый», по [47, с. 161; 191, с. 142], так что непосредственное заимствование из тохарского в обоих случаях, видимо, исключено). Оба эти примера разъясняются В. М. Иллич-Свитычем как независимые тюркские (шире — алтайские) и индоевропейские рефлекс ностратических основ *\*käjuV* «жевать» [196, с. 293] и *\*Hoḳi* «острие» [196, с. 251—252]. Вопрос отделения заимствований от вероятных случаев отражения исконого родства требует комплексного применения фонетических, семантических и культурно-исторических критериев.

<sup>35</sup> И.-е. *\*ak(-s)-//\*ok(-s)-* «кислый» является, по-видимому, специализированным случаем использования корня *\*ak-//\*ok-* «острый».

выше формы), восходящем к семитскому источнику, см. [87, с. 716—717], а также [134, с. 305—306; 200] и др.

12. \**jügän* (// \**jügün*) «уздечка». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с IX—XI вв. [1, с. 284; 2, с. 913; 201], рефлексy данной основы широко распространены в современных языках [4, с. 212; 2, с. 313].

Индоевропейский прототип тюркской формы возможно представить в виде \**ieug-eno-* (ср., например, скр. *yójana-* «запрягание, упряжь» [202] от распространенного индоевропейского корня \**ieug-g-* [193, с. 508—510]), \**ieü-k'-* «впрягать» (скр. *yunákti*, авест. *yaooj-*, *yuñ-*, греч. ζεύγυμι и др. [87, с. 721]).

13. \**kïjïn* (// \**kïñ*) «наказание; кара». Представлено в древнетюркском предположительно со второй половины первого тыс. н. э., определено — с VIII в. [1, с. 441; 2, с. 631], широко распространено в современных языках (в том числе с вторичным адъективным значением «тяжелый; трудный; мучительный») [30, с. 575; 4, с. 264]. Древность слова удостоверяется наличием старого бұлгаризма в венгерском — *kín* «мука» [39, с. 95].

Наиболее удачная этимология слова принадлежит Г. Рамstedту [8, с. 17], сравнившему его с и.-е. \**k<sup>u</sup>ei-na-* // \**k<sup>u</sup>oi-na-* «наказание» (греч. ποινή, авест. *kaēnā-* и др. [87, с. 809]). Возражения Г. Дёрфера [30, с. 576], указывающего на несоответствие гласных в первых слогах индоевропейской и тюркской форм и на возможность произведения тюрк. \**kïjïn* от \**kij-* «сгибать» (?), вряд ли можно признать существенными.

14. \**ördäk* (\**örtäk*) «утка». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 388; 2, с. 205], широко распространено в современных языках (в формах, восходящих либо к \**ördäk*, либо к вторичному варианту \**ödiräk*) [3, с. 31; 4, с. 374; 2, с. 205; 5, с. 547—548].

Вслед за Г. Дёрфером [3, с. 31] следует отклонить семантически весьма сомнительное сравнение Г. Рамstedта [31, с. 209; 8, с. 146] тюрк. \**ördäk* с монг. *örüne* «запад; западный» [25, с. 664]. Вряд ли следует также, вопреки Дж. Клосону [2, с. 205], производить \**ördäk* от \**ör-* «подниматься» (ср. [12, с. 407], где Г. Дёрфер исходным вариантом считает *ödiräk*). По нашему мнению, более всего заслуживает внимания сравнение слова с и.-е. \**aröd-* // \**eröd-* «водяная птица» [5, с. 548], представленным в греч. ἄρωδιός лат. *ardea* «цапля», др.-исл. *arta* «утка-чирок» и др. [193, с. 68]. В тюркском основа оформлена обычным именным суффиксом.

15. \**süçi-g* «сладкий», \**süçi-* «быть сладким». Представлено в древнетюркском с VIII в. (в виде *süçig*, производящая основа засвидетельствована с XI в. [1, с. 516; 2, с. 795—797]), сохранено в ряде современных языков (в некоторых — только в значении «вино» [4, с. 434; 2, с. 796]).

Вслед за В. Бангом [203], основу \**süçi-* обычно объясняют как производное от \**süt* «молоко» [30, с. 286; 4, с. 434]. Семантически такое объяснение представляется довольно натянутым. Полный параллелизм тюркских основ \**süçi-* и \**äksi-* (см. № 10) позволяет, однако, искать для данного слова индоевропейские параллели. Действительно, основу \**süçi-* можно рассматривать как восходящую к более древней форме \**süt-si-* (\**süt-ši-*) и сравнивать с и.-е. \**sqāt<sup>2</sup>-* «сладкий» (скр. *svādú-*, греч. ἡδός и др. [87, с. 117]), ср. особенно индоевропейскую основу на -s, представленную в др.-инд. *svādas-*, др.-греч. ἡδος [193, с. 1040], которая могла послужить базой для тюркской формы.

16. \**tāŋri* (// \**taŋri*) «небо; бог». Представлено в древнетюркском с VII в. [1, с. 544; 2, с. 523], распространено во всех современных языках [3, с. 578—580; 4, с. 474] и др. Наиболее древней фиксацией данной основы можно считать название неба на языке сюнну в китайской хронике «Хань шу» (I в. до н. э.) — (58) \**ihāŋ-riāj* (по С. А. Старостину).

Г. Дёрфер, дающий по своему замечательному обыкновению критическую сводку обширной литературы вокруг данного слова [3, с. 577—585], вслед за П. Пеллио [204] и Л. Лигети [205] признает его заимствованием неизвестного происхождения. Мы считаем, что тюрк. \**tāŋri* может восходить к и.-е. теониму \**trHŋen-* // \**tŋHŋer-* (с анаграмматическими перестройками)<sup>36</sup>, представленному хет.-лув. \**Tarhunt-*, герм. \**Θunra-*, кельт. *Taranis* «бог Грозы, Громовержец» [206], а также др.-инд. *Indra-* и др.

17. Кирг., уйг. *balqa*, каз., башк. *balqa* и др. «молот, молоток» [3, с. 256—257; 4, с. 61; 21, с. 57—58; 207].

Данная основа распространена и в других алтайских языках (монг. *aluqa(n)*, маньчж. *folho, folgo*, ульч. *paloa* и др.), причем период заимствования тут пока не вполне ясен (возведение к праалтайскому, конечно, исключается). В конечном счете, слово, несомненно, восходит к той же основе, что и тюрк. \**baltu* (см. № 12), т. е. к и.-е. \**peleku-* семитского происхождения. Тюркские основы \**baltu* // \**balta* и \**balka* представляют собой, таким образом, этимологический дублет (т. е. одновременные заимствования из разных индоевропейских источников).

18. Балк., каз., койб. и др. *sira*, чув. *s̄ra* «пиво» [4, с. 418] // венг. *s̄or, ser* тж. [134, с. 317].

Начиная с Б. Мункачи [72, с. 379], предполагается связь слова с скр. *sūrā* — согласно древнеиндийской традиции, грубый опьяняющий напиток, используемый низшей кастой *sūdrā-* (родственно авест. *hurā-* «кумыс», ср.-перс. *hur* «алкогольный напиток» и др. [87, с. 653; 57, с. 45]). Вопреки П. Аальто [149, с. 30], иранское посредство в данном случае исключается ввиду наличия инициального *h-* в иранском. Ср. также коми, удм. *sur*, хант. *sar* «пиво» [208, с. 266].

19. Туркм. *tāna*, кирг. и др. *tana*, тур. *dana*, чув. *tina* «теленка (преимущественно от шести месяцев до двух лет)» [132, с. 101; 209; 4, с. 460] // венг. *tinó* «бычок от двух до трех лет» [39, с. 130].

Начиная с Б. Мункачи [210], исследователи предполагают связь слова с авест. *daēnu-* «самка четвероногого животного». Вопреки П. Аальто [149, с. 30], непосредственный характер заимствования из иранского находится, однако, под вопросом (по фонетическим и семантическим соображениям). Иранская форма восходит к и.-е. \**dhēi-nu-* // \**dhēi-no-* (ср. скр. *dhēnā* «дойная корова», др.-ирл. *dīnu* «ягненок», лтш. *at-diene* «телка двух лет» и др. [193, с. 241—242; 87, с. 570]).

20. Чар. *toraq* «сыр», чув. *torâx, turâx* «варенец, простокваша» и др. [30, с. 210—211; 4, с. 490] // венг. *túró* «творог» [39, с. 133] // монг. *taraq* «свернутое, кислое молоко» [25, с. 779].

Индоевропейское происхождение данной основы представляется вполне вероятным, ср. формы типа слав. \**tvarogъ* [135, с. 31]. Однако вопреки

<sup>36</sup> На индоевропейской почве данная основа может ассоциироваться как с \**terH-* «побеждать» [87, с. 205, 822], так и с \*(s)*tenH-* «гремять (в частности, о громах)» [193, с. 1021]. Учитывая возможности сакрализованых фонетических перестроек теонимов, можно выявить широкие евразийские связи данной основы, однако подробное их рассмотрение выходит за рамки настоящей работы.

II. Аальто [149, с. 30], вряд ли оправданно возводить тюркские формы к иранскому источнику — авест. *tūiri-* «створожившееся молоко; сывротка» вне зависимости от того, что, в частности, *\*tvarogъ* и *tūiri-* имеют общее происхождение [193, с. 1083; 87, с. 570].

21. Тат. *usaq*, тел. *apsaq*, крч. *bisaq*, хак. *os* и др., чув. *əvəs* «тополь; осина» [4, с. 3; 5, с. 607].

Тюркская основа, несомненно, связана с и.-е. *\*osp-* (// *\*ops-*) «осина; тополь» (прус. *abse*, русск. *осина*, н.-лужицк. *wosa, wōsa*, др.-англ. *æspe* и др. [87, с. 626—627]). Вряд ли, однако, можно причислять тюркские формы к непосредственным иранизмам (надежные рефлексy индоевропейского корня в иранском отсутствуют); по той же причине нельзя согласиться с А. Рона-Ташем [190, с. 502], выводящим тюркские формы из незафиксированной тохарской.

Итак, анализ индоевропеизмов в общетюркской лексике приводит к следующим выводам:

1. Помимо непосредственных заимствований из иранских и тохарских языков, в тюркском имеется довольно большое количество заимствований из иного индоевропейского источника (источников).

2. Эти индоевропеизмы проникали в тюркский довольно рано (ср. *\*kījin*, *\*sūči-g*, *\*tāyri*). Отсутствие ряда таких индоевропеизмов в старописьменных памятниках (см. № 17—21) может объясняться либо поздним заимствованием, либо, что вероятнее, проникновением их только в периферийную древнетюркскую диалектную зону.

3. Характер индоевропейского источника этих слов пока остается неясным — возможно, его удастся уточнить на основе более широкого анализа индоевропейско-алтайской контактной лексики.

4. Не исключено, что именно этот индоевропейский источник служил посредником при проникновении в тюркский греческой лексики (см. № 1—4), поскольку трудно предполагать наличие непосредственных греко-тюркских контактов в древние времена.

#### IV. Заимствования из прочих языков

Для современных тюркских языков характерно обилие монголизмов. Однако следует констатировать, что в общетюркской лексике (во всяком случае среди слов, зарегистрированных в письменных памятниках до XIII в.) монголизмы почти полностью отсутствуют<sup>37</sup>. Подавляющее большинство имеющихся тюрко-монгольских изоглосс относится, таким образом, к одной из трех категорий: а) исконно родственные корни (т. е. кор-

<sup>37</sup> Возможно, тщательные поиски позволили бы обнаружить некоторое количество ранних монголизмов в тюркском. Нам известны, по крайней мере, два-три случая такого рода: тюрк. *\*kīragu* «иней» (с XI в.), по-видимому, <монг. *kīraγu(n)* тж. (хотя Г. Дёрфер и Дж. Клосон предполагают обратное направление заимствования [30, с. 569; 2, с. 656]). В данном случае, весьма вероятно, исконной параллелью для монг. *kīraγu(n)* «иней» [25, с. 470] является тюрк. *\*kār* «снег» (к соответствию гласных ср. тюрк. *\*sāri-g* «желтый» при монг. *šira*, тюрк. *\*tāl'* // *\*tāš* «камень» при монг. *šilaγu(n)* и др.). В этом случае тюрк. *\*kīragu* естественно рассматривать как вторичное заимствование из монгольского, к этому ср. выше № 1 о вероятности заимствования тюрк. *\*bācin* «обезьяна» из монгольского, а не наоборот. Из ранних монголизмов в тюркском следует отметить также сев.-вост.-тюрк. *\*čar* «вол» (алт., тел., лоб. и др. *čar*, качин. *šar* «кладеный бык») от прамонг. *\*čari* «кастрированный олень старше четырех лет (годный для верховой езды)» [211]. Однако эти примеры пока остаются слишком малочисленными. Можно утверждать, что в древние времена влияние монгольского на тюркский было очень невелико.

ни, восходящие к гипотетическому общеалтайскому праязыку); b) ранние и средневековые заимствования из тюркского в монгольский; c) поздние монголизмы в тюркском.

Еще один класс заимствований в общетюркском — это слова, проникшие из уральских языков. Это очень небольшая и семантически специфическая группа слов:

1. *\*däjiŋ* (> *täjiŋ*) «белка». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 549; 2, с. 569], широко распространено в современных языках [3, с. 667; 4, с. 470; 71, с. 180]. Вопреки М. Рясянену [4, с. 470] и вслед за Дж. Клосоном [2, с. 569], следует не смешивать с этим корнем др.-тюрк. *tägiŋ* «соболь».

М. Рясянен [212, с. 200; 4, с. 470] выводит тюркское слово из финно-угорского, ср. хант. *taŋGe* «белка; копейка», манс. *lein* «белка; деньги»<sup>38</sup>.

2. *\*kälš* (*\*käl'*) «соболь». Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 310; 2, с. 752], сохранено в ряде современных языков [30, с. 664; 4, с. 272].

Вполне надежна версия о заимствовании слова из самодийского источника (сельк. *ši*, камас. *šili* < самод. *\*kili*), которую предлагают К. Доннер [213], Г. Паасонен [214], Н. Поппе [215, с. 109] и др. Менее вероятно в данном случае обратное направление заимствования, предполагаемое А. Йоки [22, с. 290—291], и вряд ли оправдана критика тюрко-самодийского сближения у Г. Дёрфера [30, с. 664—665]. Наконец, исключительно сомнительно выведение тюрк. *\*kälš* из незавидительствованной тохарской формы *\*kiš* при и.-е. *\*kek* «ласка» [190, с. 503]. В пользу данной этимологии см. также [132, с. 143].

3. *\*kundur'* (*kundur*) «бобр». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 466; 2, с. 635], широко распространено в современных языках, включая чувашский — *çäntär* [30, с. 522—523; 4, с. 301].

Вслед за Н. Поппе [215, с. 109] тюркское слово обычно сравнивается с угорскими формами — хант. *çundil* «крот», манс. *çont'el'* «бобр», венг. *hód* тж. и др. [216], хотя пока еще не совсем ясно направление заимствования. Сравнение представляется вполне надежным (несмотря на различное оформление основ), поэтому критика Г. Дёрфера [30, с. 523—524] кажется неоправданной.

4. *\*tūt* «лиственница». Представлено в древнетюркском предположительно с VIII в., определено — с XI [1, с. 569; 2, с. 449], распространено в ряде современных языков [4, с. 479; 2, с. 449].

По справедливому замечанию М. Рясянена [212, с. 22; 4, с. 479], тюркское слово заимствовано из финно-угорского, ср. манс. *tūt*, *tēt*, хант. *tëxät* «кедр» (доперм. *\*szksz-* [208, с. 267; 217]).

Вероятно, в общетюркской лексике можно обнаружить и другие уралзмы, однако требуются специальные разыскания по их выявлению.

Наконец, последняя группа слов, которую необходимо упомянуть, — это заимствования из неизвестных источников. Ряд общетюркских и древнетюркских слов выделяется на фоне основной массы исконной тюркской лексики различными фонетическими и семантическими особенностями, указывающими на заимствованный характер этой лексики. При этом никаких надежных иноязычных параллелей не обнаруживается. В по-

<sup>38</sup> Решение сложного вопроса о происхождении тюркских форм типа тат. *täpkä* «деньги» (откуда и русск. *деньга*, мн. ч. *деньги* [131, с. 499]) — подробно см. [3, с. 587—592] — непосредственно не затрагивает этимологии тюрк. *\*däjiŋ*.

добных случаях многие авторы (в частности, Г. Дёрфер [3, 12, 13, 30], А. фон Габэн [218] и др.) считают, что мы имеем дело с древними заимствованиями из языка жуань-жуаней (народа, обитавшего в Северной Монголии на месте более позднего тюркского каганата и истребленного тюрками, см. [70, с. 19]). Пока у нас отсутствует какая бы то ни было позитивная информация о «жуань-жуаньском» языке и т. п., обсуждать весь этот круг вопросов представляется преждевременным.

### Выводы

Анализ иноязычных заимствований в общетюркской лексике позволяет сделать следующие выводы:

1. К наиболее древнему слою заимствований в общетюркском относятся китаизмы, начавшие проникать в тюркский ок. III—IV вв. н. э. В данный период своей истории тюрки контактировали также с тохарскими и какими-то еще (неидентифицированными) индоевропейскими народами.

2. Начало контактов с иранскими языками следует датировать, видимо, несколько более поздним временем. Хотя некоторые иранизмы стали проникать в тюркский уже в V—VI вв., основная их масса стала распространяться в тюркоязычной среде не ранее VIII—IX вв.

При этом отдельные китаизмы и индоевропеизмы попадали в тюркский и значительно раньше постулируемых здесь дат.

3. Специфические отношения связывают тюркские языки с монгольскими. Если тюркизмы в изобилии представлены уже в самых ранних монгольских письменных памятниках и начало их проникновения в монгольский следует, видимо, относить к первым векам нашей эры, то монголизмы в общетюркской лексике практически отсутствуют. Начало активного проникновения монголизмов в тюркский правомерно датировать периодом не ранее XIII в., т. е. временем образования монгольской феодальной империи. Вероятно, из этого следует, что в дописьменный период монголы контактировали лишь с периферийными группами тюркоязычных племен, впоследствии ассимилированными (иначе отсутствие монголизмов в древнетюркском и общетюркском было бы просто необъяснимо).

4. Специального исследования требует история взаимодействия тюркских и финно-угорских (уральских) языков. Не исключено, что неожиданные результаты могут быть достигнуты также при изучении ранних контактов тюркских и некоторых других языков Сибири и Дальнего Востока (в частности, тунгусо-маньчжурских, енисейских).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Древнетюркский словарь / Под ред. Наделяева В. М., Насилова Д. М., Тенишева Э. Р., Щербака А. М. Л., 1969.
2. *Clauson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Oxford, 1972.
3. *Doerfer G.* Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem Mongolen- und Timuridenzeit. Bd II: Türkische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1965.
4. *Räsänen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.
5. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.

6. *Röhrborn K.* Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen Türkischen Texte aus Zentralasien. Lf. 2: *agriglan- — anta.* Wiesbaden, 1979.
7. Большой китайско-русский словарь. Т. 2. М., 1983.
8. *Ramstedt G. J.* Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. Bd 1: Lautlehre / Bearb. und hrsg. von Aalto P. Helsinki, 1957.
9. *Холодович А. А.* Корейско-русский словарь. М., 1951. С. 158.
10. *Нам Кванъ У.* Коё сачжон (Словарь среднекорейского языка). Сеул, 1960. М. 159.
11. *Porpe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Т. 1: Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
12. *Doerfer G.* Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem Mongolen- und Timuridenzeit. Bd IV: Türkische Elemente im Neupersischen (Schluss) und Register zur Gesamtarbeit. Wiesbaden, 1975.
13. *Doerfer G.* Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem Mongolen- und Timuridenzeit. Bd I: Mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1963.
14. *Ramstedt G. J.* Additional Korean etymologies // JSFOu. 1954. V. 57. № 3.
15. Большой китайско-русский словарь. Т. 3. М., 1984.
16. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Л., 1975. С. 33.
17. Большой китайско-русский словарь. Т. 4. М., 1984.
18. *Цинциус В. И., Бугаева Т. Г.* К этимологии названий металлов и их сплавов в алтайских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979.
19. *Абуладзе И. В.* Словарь древнегрузинского языка. Материалы. Тбилиси. 1973 (на груз. яз.).
20. *Поливанов Е. Д.* К этимологии турецкого *үй, ей* «дом», «юрта» // Сб. научн. тр. УзНИИКС. Т. I. Вып. 2. Ташкент, 1934. С. 80.
21. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978.
22. *Joki A. J.* Die Lehnwörter des Sajan-Samojedischen. Helsinki, 1952.
23. *Pulleyblank E. G.* The consonantal system of Old Chinese // AM. 1962. V. 9. Pt 2.
24. *Brockelmann C.* Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud al-Kašgaris Divan Lugat at-turk. Budapest; Leipzig, 1928. S. 30.
25. Mongolian-English dictionary/Gen. ed. Lessing F. D. Compiled by Haltod M., Hangin J. G., Kassatkin S. and Lessing F. D. Bloomington, 1973.
26. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kurzer Fassung. Т. 4. StP., 1883.
27. *Barthold W.* Turkestan down to the Mongol invasion / Transl. from the original Russian and revised by the author with the assistance of Gibb H. A. R. L., 1928. P. 388.
28. *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.; Л., 1951.
29. *Gabain A. von.* Alttürkische Grammatik. 3. Aufl. Wiesbaden, 1974. S. 326 (*Gabain A. von.* Eski Türkçenin Grameri/Gen. Akalln M. Ankara, 1988. S. 266).
30. *Doerfer G.* Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd III: Türkische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1967.
31. *Ramstedt G. J.* Studies in Korean etymology. Helsinki, 1949.
32. *Kotwicz W.* Contributions aux études altaïques. B. Les titres princiers: *türç bæg*, *mo. begi* et *ma. beyle* // RO. 1953. T. 16. P. 368.
33. *Bang W.* Manichaeische Hymnen // Le Muséon. 1925. T. 38. Cah. 1/2. P. 34—35.
34. *Wittfogel K. A., Fêng Chia-Shêng.* History of Chinese society. Liao (907—1125). Philadelphia, 1949. P. 430.
35. *Brockelmann C.* Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954.
36. *Ramstedt G. J.* Kalmükisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
37. *Németh J.* // Orientalistische Literaturzeitung. 1955. 50. Jg. № 10. S. 462. Rev.: *Gabain A. von.* Inhalt und magische Bedeutung der Alttürkischen Inschriften // Anthropos. 1953. Bd 48.
38. *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. С. 195.
39. *Gombocz Z.* Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912.
40. *Ло Чанпэй.* Тан Удай Сибэй Фаньбинь (Фонетика танских северозападных диалектов). Шанхай, 1933.
41. *Gabain A. von.* Alttürkische Grammatik. 2. Aufl. Leipzig, 1950.
42. *Csongor B.* Chinese in the Uighur script of the T'ang-period // AOH. 1952. T. 2. Fasc. 1.

43. *Laufer B.* Loan-Words in Tibetan // TP. 1916. V. 17. Sér. 2. P. 509.
44. *Sinor D.* Altaica and Uralica. Two Altaic verbs for «writing» and their Uralic connections // Studies in Finno-Ugric linguistics. In Honor of Alo Raun. Bloomington, 1977.
45. *Menges K. H.* Slavisch-orientalische Wortbeziehungen // Philologica Orientalis. V. Tbilisi, 1983.
46. *Schmidt P.* Etymologische Beiträge // JSFOu. 1928. T. 42. S. 3.
47. *Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Bd II: Texte und Glossar / Unter Mitwirkung von Krause W. Heidelberg, 1964.
48. *Brockelmann C.* Lexicon Syriacum. Halis Saxonium, 1928. P. 564.
49. *Габен А. фон.* Культура письма и печатания у древних тюрков // Зарубежная тюркология. Вып. 1: Древние тюркские языки и литературы / Сост. Кляшторный С. Г. М., 1986. С. 182.
50. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kurzer Fassung. T. 7. StP., 1889. S. 20.
51. *Bang W., Gabain A. von.* Analytischer Index zu den fünf ersten Stücken der Türkischen Turfan-Texte // SPAW. Jg. 1931. St. 17.
52. *Лившиц В. А., Хромов А. Л.* Согдийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
53. *Henning W. B.* Selected papers // Acta Iranica. Deuxième série: Hommages et opera minora (Acta Iranica. 14). Téhéran; Liège, 1977.
54. *Benveniste E.* Essai de grammaire sogdienne. Pt 2. P., 1929.
55. *Horn P.* Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893.
56. *Bartholomae Ch.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1907.
57. *MacKenzie D. N.* A concise Pahlavi dictionary. L., 1971.
58. *Golden P. B.* Proto-Bulgarian *сарах-тос/-тов* // Turkic-Bulgarian-Hungarian relations (Vith—Xith Centuries). Br., 1981.
59. *Grønbech K.* Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus. København, 1942. S. 74.
60. *Zajaczkowski A.* Chapitres choisis du Vocabulaire arabe-kiptchak «ad-Durra<sup>2</sup> al-mudi'a fil-l-lugāt at-turkiya». II // RO. 1965. T. 29. Zesz. 2. P. 82, 98.
61. *Radloff W.* Tšastavustik. Ein in türkischer Sprache bearbeitetes buddhistisches Sūtra. StP., 1910. S. 63.
62. *Малов С. Е.* Уйгурский язык. Хамийское наречие. М.; Л., 1954. С. 194.
63. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kurzer Fassung. T. 2. StP., 1881.
64. *Gauthiot R.* Essai de grammaire sogdienne. Pt 1: Phonétique. P., 1914—1923.
65. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л., 1929. С. 136.
66. *Тенишев Э. П.* Строй саларского языка. М., 1976. С. 309.
67. *Gabain A. von.* Ein neues osttürkisches Dialektwörterbuch // UAJ. 1966. V. 38. S. 151. Rev.: *Jarring G.* An Eastern Turki-English dialect dictionary. Lund, 1964.
68. *Тодо А.* Канва дайдайтэн (Большой словарь китайского языка). Токио, 1978.
69. *Räsänen M.* Wolga-bolgarische Einfluß im Westen im Lichte der Wortgeschichte // FUF. 1946. Bd 29. Hf. 1/3. S. 201.
70. *Кляшторный С. Г.* Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
71. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М., 1980.
72. *Munkácsi B.* Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Türkischen // Keleti Szemle. 1905. Köt. 6.
73. *Turner R. L.* A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. L., 1966.
74. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
75. *Зайончковский А.* К вопросу о структуре корня в тюркских языках // ВЯ. 1961. № 2. С. 33.
76. *Bailey H. W.* Västa // AO (Le Monde Oriental). 1966. V. 30. P. 29.
77. *Karlgren B.* Grammata Serica Recensa. Stockholm, 1957.
78. *Ratchnevsky P.* La condition de la femme mongole an 12<sup>e</sup>/13<sup>e</sup> siècle // Tractata Altaica. Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merito dedicata. Wiesbaden, 1976. P. 525.
79. *Haenisch E.* Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an (Jüan-Ch'ao Pi-Shi). Geheime Geschichte der Mongolen. Leipzig, 1939. S. 83.
80. *Henning W. B.* Sogdian texts of Paris // BSOAS. 1946. V. 11. Pt 4.
81. *Sims-Williams N.* The Sogdian fragments of the British Library // IJ. 1976. V. 18. № 1/2. P. 55, 57, 59.
82. *Hirth Fr.* Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. Beiträge zur Geschichte der Ost-Türken im 7. und 8. Jahrhundert nach chinesischen Quellen. I. Zeit des Ku-tu-



- lu (Ilteres Khan) // *Radloff W.* Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. Zweite Folge. StP., 1899.
83. *Yamatoto K.* Classified dictionary of spoken Manchu. With Manchu, English and Japanese indexes. Tokyo, 1969. P. 104.
  84. *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». М., 1979.
  85. *Сирота С.* К этимологии слова *жемчуг* // *Japanese Slavic and East European studies.* 1985. V. 6.
  86. *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980. С. 105.
  87. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
  88. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. II. (Е — Муж). М., 1967.
  89. *Баскаков Н. А.* Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985. С. 171.
  90. *Яхонтов С. Е.* Фонетика древнекитайского языка I тысячелетия до н. э. Система финалей // Проблемы востоковедения. 1959. № 2. С. 145—146.
  91. *Старостин С. А.* О тонах в древнекитайском языке // Генетические, ареальные и типологические связи языков Азии. М., 1983. С. 155.
  92. *Gabain A. von.* Das Leben im igturischen Königreich von Qofo (850—1250). Dem Gedenken an F. W. K. Müller und A. von Le Coq. Wiesbaden, 1973. S. 59.
  93. *Tekin T.* The Tariat (Terkhin) inscription // АОН. 1983. Т. 37. Fasc. 1/3. P. 67.
  94. *Малов С. Е.* Язык желтых уйгуров. Словарь. Грамматика. Алма-Ата, 1957. С. 129.
  95. *Jäschke H. A.* A Tibetan-English dictionary. With special reference to the prevailing dialects. L., 1972. P. 8.
  96. *Laufer B.* The Si-hia language // TP. 1916. V. 17. № 1.
  97. *Яхонтов С. Е.* // Советское востоковедение. 1956. № 2. Rev.: *Csongor B.* Chinese in the Uighur Script of the T'ang-period // АОН. 1952. Т. 2. Fasc. 1.
  98. *Laufer B.* Sino-Iranica. Chinese contributions to the history of civilization in ancient Iran // Field museum of natural history. Publ. 201. Anthropol. Ser. 1919. V. 15. № 3.
  99. Цы юань (Источник слов). Цз. 3. Бэйцзин, 1979. М. 2478.
  100. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964. С. 142.
  101. *Баскаков Н. А.* К проблеме китайских заимствований в тюркских языках // *Turcica et Orientalia.* Studies in honour of Gunnar Jarring on his eightieth birthday 12 October 1987. Stockholm, 1988.
  102. *Sinor D.* The Turkic title *tutuq* rehabilitated / *Turcica et Orientalia.* Studies in honour of Gunnar Jarring on his eightieth birthday 12 October 1987. Stockholm, 1988.
  103. Цы юань (Источник слов). Цз. 4. Бэйцзин, 1983. М. 3111.
  104. *Nyberg H. S.* A manual of Pahlavi. Pt II: Idiograms, glossary, abbreviations, index, grammatical survey, corrigenda to part I. Wiesbaden, 1974.
  105. *Gershevitch I.* Iranian nouns and names in Elamite garb // TPhS. 1969. [Oxford, 1970].
  106. *Расторгуева В. С., Молчанова Е. К.* Среднеперсидский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
  107. *Reichelt H.* Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909. S. 514.
  108. *Boyce M.* A word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian. With a reverse index by Zwanziger R. // *Acta Iranica.* Troisième série: Textes et mémoires (Acta Iranica. 9a). Téhéran; Liège, 1977.
  109. *Gershevitch I.* A grammar of manichean Sogdian. Oxford, 1954.
  110. Согдийские документы с горы Муг. Вып. III: Хозяйственные документы / Чтение, перевод и комментарии Боголюбова М. Н. и Смирновой О. М. М., 1963. С. 114.
  111. *Bang W.* Turkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. Dritter Brief: Vorläufiges über die Herkunft des türk. Ablativs // UJb. 1925. Bd 5. Hf. 4. S. 394—395.
  112. *Junker H.* Np. *āsān* «leicht» usw. // UJb. 1925. Bd 5. Hf. 4.
  113. *Bang W.* Nachwort // *Junker H.* Np. *āsān* «leicht» usw. // UJb. 1925. Bd 5. Hf. 4. S. 414.
  114. *Nyberg H. S.* Hilfsbuch des Pahlavi. Pt II: Glossar. Uppsala, 1931. S. 29—30.
  115. *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd 2: D — M. Lf. 14. Heidelberg, 1960. S. 456.
  116. Книга деяний Ардашира Папакана / Грузинский перевод, исследование и среднеперсидско-грузинский словарь Чхеидзе Т. Д. Тбилиси, 1975. С. 83 (на груз. яз.).
  117. *Гроньберг А. Л., Давыдова Л. X.* Татский язык // Основы иранского языкознания.

- Новоиранские языки: западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. С. 239.
118. *Hinz W.* Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen / Unter Mitarbeit von Berger P.-M., Korbel G. und Nippa A. / Göttinger Orientforschungen. III. Reihe: Iranica 3. Wiesbaden, 1975. S. 53.
  119. *Maenchen-Helfen O. J.* The world of the Huns. Studies in their history and culture / Ed. by Knight M. Berkeley; Los Angeles; London, 1973. P. 184.
  120. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии Лившица В. А. М., 1962.
  121. *Brandenstein W., Mayrhofer M.* Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964.
  122. *Hinz W.* Neue Wege im Altpersischen // Göttinger Orientforschungen. III. Reihe: Iranica 1. Wiesbaden, 1973. S. 128.
  123. *Salemann C.* Mittelpersisch // Grundriss des Iranischen Philologie / Hrsg. von Geiger W. und Kuhn E. Bd 1. Abt. 1. Strassburg, 1895—1901.
  124. *Потанов Л. П.* Сакральное значение слова «богатый» в алтае-сайнских тюркских языках (по этнографическим материалам) // Turcologica, 1986. К восьмидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1986.
  125. *Sims-Williams N.* Christian Sogdian manuscript C 2 // Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Berliner Turfantexte XII. Berlin, 1985.
  126. *Telegdi S.* Un emprunt sogdien en turc // Körösi Csoma-Archivum. Suppl. V. I: 1935—1939. Leiden, 1967. P. 501—502.
  127. *Frye R. M.* The golden age of Persia. The arabs in the East. L., 1975. P. 98.
  128. *Korsch Th.* Türkische Etymologien // V. Thomsen Festschrift. Leipzig, 1912. S. 199.
  129. *Абаев В. И.* Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
  130. *Morgenstierne G.* Etymological vocabulary of the Shughni group. Wiesbaden, 1974. P. 91.
  131. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I (А—Д). М., 1964.
  132. *Щербак А. М.* Названия домашних и диких животных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.
  133. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I: А—К'. М.; Л., 1958.
  134. *Joki A. J.* Uralier und Indogermanen. Die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Helsinki, 1973.
  135. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. IV. (Т — *яцур*). М., 1973.
  136. *Miklosich F.* Die türkische Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussisch, Großrussisch, Polnisch) // Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. Philos.-Hist. Cl. 1884. Bd 34. S. 271.
  137. *Németh J.* Wanderungen des mongolischen Wortes *nokür* «Genosse» // АОН. 1953. Т. 3. S. 13—14.
  138. *Vámbéry H.* Etymologisches Wörterbuch der türko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878. S. 86.
  139. *Malandra W. W.* A glossary of terms for weapons and armor in Old Iranian // IJ. 1973. V. 15. № 4. P. 273.
  140. *Андроникашвили М. К.* Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям. I. Тбилиси, 1960. С. 120 (на груз. яз.).
  141. *Henning W. B.* A fragment of a Khwarezmian dictionary / Ed. by MacKenzie D. N. L., 1971. P. 28.
  142. *Benveniste E.* Textes Sogdiens. P., 1940.
  143. *Harmatta J.* The oldest Brāhmi inscription in innermost Asia // АОН. 1967. Т. 20. Fasc. 1. P. 8.
  144. *Малов С. Е.* Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая // Советская этнография. 1947. № 1.
  145. *Poppe N.* Turkic loan words in Middle Mongolian // CAJ. 1955. V. 1. № 1. P. 40.
  146. *Kuiper F. B. J.* Four word studies // IJ. 1973. V. 15. № 3. P. 184.
  147. *MacKenzie D. N.* Notes on the transcription of Pahlavi // BSOAS. 1967. V. 30. Pt 1.
  148. *Henning W. B.* Sogdian tales // BSOAS. 1945. V. 11. Pt 3. P. 465.
  149. *Aalto P.* Iranian contacts of the Turks in pre-Islamic times // Studia Turcica / Ed. Ligeti L. Bp., 1971.
  150. *Asmussen J. P.* X<sup>u</sup>ästväniift. Studies in Manichaeism. Copenhagen, 1965. P. 199.
  151. *Bang W., Gabain A. von., Rachmati G. R.* Türkische Turfan-Texte. VI: Das Buddhistische Sūtra Säkiz yükmäk // SPAW. Jg. 1934. St. 10. S. 64, 92.

152. *Bailey H. W.* Excursus Iranocausasicus // Acta Iranica. Deuxième série: Hommages et opera minora (Acta Iranica. 4). Monumentum H. S. Nyberg. V. 1. Téhéran; Liège, 1975. P. 34.
153. *Wollaston A. N.* English-Persian dictionary. L., 1904. P. 210.
154. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. II: L—R. Л., 1973. С. 255.
155. *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986. С. 141.
156. *Vámbéry H.* Die Primitive Kultur des turko-tatarischen Volkes. Leipzig, 1879. S. 194.
157. *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1: A—Ko. Heidelberg, 1960. S. 867—868.
158. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Aufl. / Bearb. von Mitzka W. Berlin, 1960. S. 315.
159. *Abaev V. I.* Contribution à l'histoire des mots // Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. P., 1975. P. 2.
160. *Kuiper F. B.* // IJL. 1976. V. 18. № 1/2. P. 97. Rev.: Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. P., 1975.
161. *Henning W. B.* Mitteliranisch // Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. 4. Bd Iranistik. 1. Abschn. Linguistik / Mit Beiträgen von Hoffmann K., Henning W. B., Bailey H. W., Morgenstierne G., Lentz W. Leiden; Köln, 1958, S. 85.
162. *Duchesne-Guillemin J.* Miettes iraniennes // Hommages à George Dumézil. Bruxelles, 1960. P. 97—98.
163. *Егоров В. Г.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
164. *Boyce M.* Naoma, priest of the sacrifice // W. B. Henning Memorial Volume. L., 1970.
165. *Vullers I. A.* Lexicon Persico-Latinum etymologicum. Accedit appendix vocum dialecti, antiquioris, Zend et Pazend dictae. T. 1. Bonnae ad Rhenum, 1855. P. 913—914.
166. *Steingass F. A.* A comprehensive Persian-English dictionary. L., 1892. P. 1058.
167. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III: S—T'. Л., 1979. С. 331—333.
168. *Gabain A. von.* Von Ötükän nach Idiqt-šähri. Studie zur Akkulturation der Alt-Türken // AOH. 1982. T. 36. Fasc. 1/3. S. 187.
169. *Bailey H. W.* Indo-Iranian studies. III // TPhS. 1955. [Oxford, 1956]. P. 77.
170. *Тумос Е. И.* Туругуско-русский словарь. Иркутск, 1926. С. 124.
171. *Poppe N.* On some Altaic names of dwellings // StO. 1964. V. 28. № 3. P. 10.
172. *Еуубоғлу I. Z.* Türk dilinin etimoloji sözlüğü. Istanbul, 1988. S. 243.
173. Согдийские документы с горы Мур. [Вып. I]: *Фрейман А. А.* Описание, публикации и исследование с горы Мур. М., 1962. С. 30.
174. *Sundermann W.* Ein manichäisch-soghdische Parabelbuch // Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Berliner Turfantexte. XV. Berlin, 1985. S. 42.
175. *Sertkaya O. F.* Fragmente in Altürkischer Runenschrift aus den Turfan-Funden // Runen, Tamgas and Graffiti aus Asien und Osteuropa / Hrsg. von Röhrborn K. und Veenker W. Wiesbaden, 1985. S. 152.
176. *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd 1: A—Th. Lf. 7. Heidelberg, 1956. S. 478.
177. *Kent R. G.* Old Persian. Grammar. Texts. Lexicon. 2-nd rev. ed. New Haven, 1953. P. 186.
178. *Benveniste E.* Etudes sogdiennes. Wiesbaden, 1979. P. 310.
179. *Шервашидзе И. Н.* К этимологии тюрк. *Ašina* // III Всесоюзная конференция востоковедов: «Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке»: Тез. докл. и сообщ. Душанбе, 16—18 мая 1988. Т. I. М., 1988.
180. *Поппе Н.* Монгольские названия животных в труде Хамдаллах Казвини // Зап. коллегии востоковедов при Азиатском Музее Академии Наук СССР. V. I. Л., 1925. С. 200.
181. *Ligeti L.* Un vocabulaire mongol d'Istanbul // AOH. 1962. T. 14. Fasc. 1/2. P. 61.
182. *Halévy J.* Nouvelles considérations sur le cycle turc des animaux // TP. 1906. Sér. 2. V. 7. № 2. P. 294.
183. *Blažek V.* The Sino-Tibetan etymology of the Tocharian *A mko-*, *B toko-* «Monkey» // ArO. 1984. V. 52. № 4. P. 390.
184. *Bang W.* Köktürkischen zum Osmanischen. Vorarbeiten zu einer vergleichende Grammatik des Türkischen. 4. Mitteilung: Durch Possessivsuffix erweiterte Nominalstämme // APAW. Jg. 1921. № 2. S. 14.
185. *Róna-Tas A.* Böz in the Altaic world // Altorientalische Forschungen. III. Berlin, 1975. P. 162.

186. Хелимский Е. А. Решение дилемм пратюркской реконструкции и ностратика // ВЯ. 1986. № 5.
187. Ecsedy H. Böz — an exotic cloth in the Chinese imperial court // Altorientalische Forschungen. III. Berlin, 1975.
188. Menges K. H. Report of the second excursion to Taškent for research in Čağataj manuscripts // САЖ. 1966. V. 11. № 2. P. 99.
189. Габескурия Ш. В. Лексика произведений Юнуса Эмре. Тбилиси, 1983. С. 200.
190. Róna-Tas A. Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? // Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. V. Protokollband der XII. Tagung der PĪAC, 1969 in Berlin / Hrg. von Hazai G. und Zieme P. Berlin, 1974.
191. Van Windekens A. J. Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. V. I: La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
192. Morgenstierne G. Etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927. P. 33.
193. Pokorný J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bd I—II. Bern; München, 1959.
194. Иванов Вяч. Вс. К проблеме тохаро-алтайских лексических связей // ВЯ. 1988. № 4.
195. Баскаков Н. А. О некоторых тохарских заимствованиях в лексике тюркских языков // Tatarica. Studia in honorem Ymär Daher anno MCMLXX sexagenario. Vammala, 1987.
196. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b—k). М., 1971.
197. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l—z). М., 1976.
198. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (p—q). М., 1984.
199. Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982. С. 103.
200. Kaufman S. A. The Akkadian influences on Aramaic. Chicago; London, 1974. P. 82—83.
201. Bailey H. W. A Turkish-Khotanese vocabulary // BSOAS. 1944. V. 11. Pt 2. P. 291.
202. Böhtlingk O. Sanskrit-Wörterbuch in kurzer Fassung. T. 5. StP., 1884. S. 152.
203. Bang W. Gewagte Türkische Worterklärungen // MSFOu. 1933. T. 67. S. 35—36.
204. Pelliot P. Tängrim > tärim // TP. 1944. V. 37. Liv. 5.
205. Ligeti L. Mots de civilization de Haute Asie en transcription chinoise // АОН. 1950. T. 1. Fasc. 1. P. 143, 168—169.
206. Шервашидзе И. Н. Об одном древнем миграционном теониме // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXIX сессии Постоянной международной алтаистической конференции (PĪAC). Ташкент, сентябрь, 1986 г. Т. II: Лингвистика. М., 1986.
207. Sinor D. The origin of Turkic *Balıq* «town» // САЖ. 1981. V. 25. № 1/2. P. 98.
208. Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
209. Sinor D. Some names for bovines // АОН. 1962. T. 15. Fasc. 1/3. P. 318.
210. Munkácsi B. Árja es kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. Köt. I. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Bp., 1901. L. 597.
211. Хелимский Е. А. Etymologica. 1—48 // Материалы по этимологии маторско-тайгйско-карагасского языка // Nyelvtudományi Közlemények. 1986. Köt. 88. Szám. 1/2. L. 129—130.
212. Räsänen M. Materialien zur Lautgeschichte des türkischen Sprachen // StO. 1949. V. 15.
213. Donner K. Zu ältesten Berührungen zwischen Samojuden und Türken // JSFOu. 1924. T. 40. S. 5.
214. Paasonen H. Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte. Bp., 1917. S. 194.
215. Понне Н. Материалы для исследования тунгусского языка. Наречие баргузинских тунгусов. Л., 1927.
216. A magyar nyelv történeti-etimológia szótára. Köt. 2: H—O. Bp., 1970. L. 127.
217. Collinder B. Fenno-Ugric vocabulary: An etymological dictionary of the Uralic languages. 2-nd rev. ed. Hamburg, 1977. p. 58.
218. Gabain A. von. Das Staatsbewusstsein im uigurischen Königreich von Qoço, 840—1400 // Turcica et Orientalia. Studies in honour of Gunnar Jarring on his eightieth birthday 12 October 1987. Stockholm, 1988.

ГИПШИУС А. А.

СИСТЕМА ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЯЗЫКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Характерной приметой современного состояния исследований по истории русского литературного языка является отсутствие прочных связей между накопленным богатым опытом описания языка отдельных письменных памятников и обсуждением общих вопросов, связанных с функционированием литературного языка Древней Руси и характером древнерусской языковой ситуации. Такое положение дел, по крайней мере отчасти, обуславливается несоответствием традиционных методов исследования конкретных текстов тем требованиям, которые предъявляет к ним специфика истории литературного языка как особой научной дисциплины.

Описание древнерусской языковой ситуации предполагает прежде всего реконструкцию системы языковых представлений древнерусского общества, воплощенной во всей совокупности созданных им письменных памятников. Системный характер лингвистического изучения древнерусских письменных источников выступает, следовательно, как обязательное условие их адекватной интерпретации в плане истории литературного языка. Конкретный языковой факт, будь то целый текст или отдельная словоформа, с необходимостью должен быть рассмотрен в его отношениях с другими однородными фактами. Любая форма, встретившаяся в том или ином письменном памятнике, только тогда может занять свое место в общей картине, когда известно: 1) насколько последовательно употребляется в данном тексте эта форма, 2) как соотносится ее употребление с употреблением в том же тексте других форм и 3) как употребляется данная форма в других текстах. В противном случае исследователю, имея дело лишь с разрозненными фактами, лишен возможности отличить общее от особенного, случайное от нормативного, стилистически значимое от нейтрального и т. д.<sup>1</sup> Решение общих вопросов истории литературного языка Древней Руси, свободное от элементов субъективности и схематизма, возможно лишь при опоре на широкий опыт разнообразных сопоставительных исследований, потребность в которых в настоящее время ощущается весьма остро.

<sup>1</sup> Приведем лишь один пример такого рода. В работе, специально посвященной языковым особенностям Изборника 1073 г. [1], в качестве отличительной черты Изборника называется флексия *-ть* 3 л. презенса. Между тем данная восточнославянская флексия, последовательно употребляемая во всех древнейших русских рукописях, является отличительной чертой всей восточнославянской письменности в целом. Что же касается Изборника 1073 г., то написание в нем форм 3 л. презенса действительно характеризуется исключительным своеобразием. Оно заключается, однако, не в употреблении форм с *-ть*, но в крайне широком использовании форм с нулевой флексией. См., например: *кго же хощте милоуѣкго же хощте ожесточи и ни зотѣ штоуоумоу ни текоуштоу нъ милоуѣщюуоумоу боу мнози бо глаю како кго же хоще бѣ спасае или погуби* (лл. 164об, 165).

Недостаток системности ощутимо сказывается в изучении языка канонической церковнославянской книжности. К сожалению, значительная часть имеющихся лингвистических описаний древнерусских рукописей строится вообще безотносительно к понятию нормы. Даже в работах, специально затрагивающих проблемы формирования русского извода церковнославянского языка, фонетические и морфологические элементы восточнославянского происхождения нередко рассматриваются недифференцированно, без учета того, имеем ли мы дело с последовательным или же окказиональным употреблением<sup>2</sup>. Противоположную крайность представляет точка зрения, признающая в качестве черт русского извода лишь весьма ограниченный набор почти исключительно фонетических русизмов, последовательно употребляемых в древнерусских рукописях начиная с древнейших и с течением времени полностью вытеснивших свои южнославянские корреляты (правописание юсов, рефлексов \**dj*, \**z dj*, \**z gj*, \**stj*, \**skj*, сочетаний редуцированных с плавными). Из области морфологии сюда относят обычно лишь флексии -*ть* 3 л. презенса и -*ьмь*, -*ьмь* Т. ед. *о*- и *jo*-основ. Русизмы, не входящие в этот узкий круг, рассматриваются при этом как ошибки, случайно «сорвавшиеся с пера» [3]. Создается впечатление, что канонические тексты, переведенные у южных славян, «были практически непроницаемы для восточнославянских элементов (за исключением минимальной фонетической адаптации вроде *жд* → *ж* и *мъ* → *мь*)» [4, с. 244].

Охарактеризованный выше подход явно не отражает реального положения вещей. Характер употребления в целом ряде рукописей XI—XII вв. таких морфологических русизмов, как формы на -*ь* Р. ед., И.-В. мн. *ja*-основ и В. мн. *jo*-основ (см., например, Изборник 1076 г., сентябрьская Минея 1095 г.), флексия -*а* И. ед. муж. причастий типа *неса*, *ида* (Минея 1095—1097 гг., Выголексинский сборник XII в., Ефремовская кормчая XI/XII в.), формы Д.-М. местоимений *тобѣ*, *собѣ* (Архангельское евангелие 1092 г., особенно Галицкое евангелие 1144 г.), не позволяет рассматривать их как ошибки писцов<sup>3</sup>. Фактически из основных морфологических русизмов только формы адъективного склонения на -*ѣ* (в соответствии с южн.-слав.-А) были полностью отвергнуты церковнославянской языковой нормой.

Что касается лексических корреляций, то и здесь наблюдается значительное разнообразие. Н. Н. Дурново приводит примеры последовательного употребления в рукописях XI—XII вв. полногласной лексики, лексики с начальным *о*- (в соответствии с южнославянским *к*-), начальным *роз*- и других русизмов [5, с. 78]. Число таких примеров легко может быть умножено<sup>4</sup>. Значит ли это, однако, что все названные формы могут быть в равной степени охарактеризованы как признаки русского извода церковнославянского? Безусловно, нет.

<sup>2</sup> См., например, перечисление в одном ряду столь разнородных в функциональном отношении русизмов, как «замена юсов буквами *оу*, *ю*, *а*, *я*, написания -*ьр*-, -*ьръ*- вместо -*ръ*-, полногласия, *роз*- вместо *раз*-, начальное *о*- вместо *к*-, *ж* на месте *жд* и *ч* на месте *щ* и т. д.» [2].

<sup>3</sup> Характерно, что соответствующие южнославянские формы могут, хотя и редко, исправляться на восточнославянские. Так, писец Минея 1095 г., явно руководствуясь стилистическими соображениями, исправляет форму *дѣвица* на *дѣвицѣ* в сочетании *ѿ дѣвицѣ бѣоотроковицѣ* (ЦГАДА, ф. 381, № 84, л. 136).

<sup>4</sup> Как и на морфологическом уровне, в сфере лексических корреляций также возможны исправления южнославянских форм на восточнославянские. Яркий пример такого рода находим в Захарыинском паремейнике 1271 г., где во фразе *проклатъ ханаанъ рабъ хланъ боудеть братама своима* форма *хланъ* исправлена на *холопъ* (ГПБ, Q. п. I. 13, л. 103).

Описание нормы церковнославянского языка русского извода требует более гибкого подхода, который бы учитывал как множественность индивидуальных представлений писцов о правильности книжного языка, так и различия в факторах, обусловливавших на разных языковых уровнях процесс формирования региональных норм церковнославянского.

На орфоэпическом уровне образование русского извода было обусловлено прежде всего чисто артикуляционной чуждостью ряда южнославянских звуков и звукосочетаний, которые в древнерусском книжном произношении по необходимости должны были уступить место их восточнославянским соответствиям. Хотя на уровне орфографии этот процесс в каждом конкретном случае отражался по-разному (каждый признак, по которому происходила адаптация, обладает, как отмечает В. М. Живов, своим характером изменения [6, с. 63]), в целом он носил вполне объективный характер, вследствие чего круг признаков, по которым к XIII—XIV вв. произошла полная фонетико-орфографическая адаптация церковнославянского языка на русской почве, может быть определен достаточно однозначно [7, с. 84—129]. В перспективе этой полной адаптации орфографическая вариативность, свойственная древнейшим восточнославянским памятникам, может быть объяснена в значительной своей части как проявление незавершенности процесса выработки нормы национального извода [6, с. 49—51].

Фонетико-орфографическая адаптация явилась прецедентом для введения в церковнославянскую языковую норму элементов других уровней живой восточнославянской речи. Этот процесс, однако, уже не был (по крайней мере на уровне морфологии) обусловлен объективной необходимостью, что не могло не сказаться на характере его результатов. Вариативность на морфологическом уровне носит качественно иной характер, чем орфографическая вариативность. Если вариантные орфограммы, по видимому, читались одинаково, то вариантные морфологические формы, скорее всего, читались по-разному. Так, например, написания *даждь* и *дажь* древнерусский церковный чтец или певчий XI в. мог произнести лишь как [даж'ь], поскольку сочетание [жд'] в эпоху до падения редуцированных отсутствовало в фонетической системе восточнославянских диалектов. Между тем формы причастий *иды* и *ида* были в равной степени удобопроизносимы, и за различием в написании здесь стояло, очевидно, различие в чтении. Таким образом, единство книжного произношения, выступающее в данный период как мощное стабилизирующее начало (см. [7, с. 77—79]), на морфологическом уровне отсутствовало. Вследствие этого к XIII—XIV вв., когда орфографическая норма оказывается уже унифицированной по ряду важнейших признаков, морфологическая вариативность, обладающая большей самостоятельностью, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается за счет появления новых значимых оппозиций в результате собственно восточнославянского языкового развития. Вариативность морфологических форм является, следовательно, не преходящим этапом в истории образования нормы русского извода, но принципиальным свойством самой этой нормы. То же можно сказать и относительно ряда лексических корреляций типа перечисленных выше.

Вариативность церковнославянской морфологической нормы может, однако, пониматься по-разному. Во-первых, речь может идти о характере употребления коррелирующих форм в пределах одного и того же текста. Формы и флексии восточнославянского происхождения в отличие от фонетических русизмов, как правило, не вытесняют полностью своих южнославянских коррелятов, но выступают наряду с ними как факультативные

варианты нормы. (Исключение, подтверждающее правило, составляют флексии *-ть* в 3 л. презенса и *-ѣмь, -ьмь* в Т.ед. *о*-основ, полное и раннее усвоение которых нормой русского извода обуславливалось, как отмечал еще Н. Н. Дурново, причинами чисто орфографического свойства [5, с. 80].)

В то же время, говоря о вариативности морфологической нормы, можно иметь в виду и несопадение индивидуальных картин формоупотребления, наблюдаемых в разных церковнославянских текстах. Важно отметить, что это субъективное разнообразие нет оснований рассматривать как следствие отступлений от общепринятой нормы. Применительно к ситуации, характеризовавшейся отсутствием нормативной грамматики книжного языка, единственным критерием нормативности той или иной формы является последовательность ее употребления в конкретных текстах. Церковнославянская языковая норма в таком случае может пониматься лишь как единство разнообразных индивидуальных языковых установок, совпадающих по одним параметрам и различающихся по другим. Форма, выступающая как факультативный вариант нормы или даже как ее основной представитель в одном тексте, может в другом последовательно избегаться как не книжная. Поэтому тезис о необходимости разграничения «признаков церковнославянского языка, входящих в норму этого языка, и признаков живого русского языка, находящихся вне этой нормы» [7, с. 73], совершенно справедливый по отношению к каждому отдельно взятому тексту, не может быть применен для общей классификации русизмов, разделения их на «нормативные» и «ненормативные». Поступая таким образом, исследователь рискует взять на себя роль кодификатора норм древней письменности.

Необходимо, следовательно, различать два аспекта вариативности церковнославянской языковой нормы, понимаемой, с одной стороны, как сосуществование индивидуальных языковых установок (индивидуальных норм), по-разному интерпретирующих одни и те же языковые факты, а с другой — как допущение индивидуальной нормой двух или более изофункциональных средств. Заметим, что разграничение этих двух аспектов вариативности до некоторой степени соответствует предлагаемому А. Едличкой [8] разграничению вариантовных норм и вариантных средств в современных литературных языках.

Недостаточная изученность норм языка канонических памятников не позволяет правильно оценить и языковой статус оригинальных древнерусских книжных текстов. Положение усугубляется тем, что традиционная церковнославянская книжность XIII—XIV вв., т. е. того периода, к которому относится большинство древнейших списков оригинальных памятников, остается до сих пор практически совсем не исследованной в языковом отношении. Таким образом, полностью выпадает из поля зрения истории литературного языка тот фон, на котором разворачивалось оригинальное языковое творчество древнерусских авторов и на котором только оно и может быть должным образом интерпретировано. Опыты определения «языкового ключа» так называемых «смешанных» текстов путем «статистического учета дифференциальных признаков восточнославянского и церковнославянского происхождения из области фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса» [9] представляются слишком механистичными, так как основаны на изолированном изучении «смешанного» текста, отрыве его от того контекста современной книжной традиции, органической частью которого он являлся. Между тем обращение к этому контексту обнаруживает, что большая часть генетически русских черт,



входящих в применяемую сетку дифференциальных признаков, является в той или иной степени принадлежностью языковой нормы канонической книжности (см. выше) и что, следовательно, соответствующие признаки не могут использоваться для разграничения церковнославянской и русской языковых установок.

Исследование фонетики и морфологии древнерусских письменных памятников в аспекте истории литературного языка не должно замыкаться в узких пределах традиционного списка «русизмов» и «славянизмов», но требует привлечения более разнообразного языкового материала. В этом отношении особый интерес представляет вопрос о статусе «делового языка» Древней Руси. В перспективе соотношения церковнославянского и русского компонентов деловые и светские юридические тексты естественно рассматривать как написанные на «чистом русском языке» с незначительной церковнославянской «примесью» [10]. Наличие в грамотах и Русской правде церковнославянских по происхождению элементов формуляра вполне может быть объяснено как проявление нормализации на уровне текста и в принципе не мешает считать этот круг памятников чуждым собственно языковой нормированности [7, с. 71]. Между тем есть основания утверждать, что деловой язык Древней Руси все же был объектом нормализации, которая проявляется, однако, в другой плоскости, а именно — в соотношении в нем общерусских и диалектных элементов.

Тезис о наддиалектном характере древнерусского делового языка высказывался неоднократно, однако до недавнего времени реальная степень этой наддиалектности оставалась неясной. Положение радикальным образом изменилось благодаря результатам осуществленного А. А. Зализняком нового лингвистического исследования новгородских берестяных грамот [11]. Как можно теперь с уверенностью утверждать, древнейшие пергаменные документы новгородского происхождения практически полностью скрывают целый пласт диалектной фонетики и морфологии, адекватное представление о котором позволяет получить лишь анализ бытовых берестяных грамот. Как и степень обособленности древненовгородского диалекта, степень наддиалектности языка официальной документации Древнего Новгорода оказалась существенно большей, чем ранее предполагалось. Там, где раньше усматривалась тождественность форм устной и письменной речи, сопоставление пергаменных и берестяных грамот обнаруживает последовательно соблюдаемую дистанцию и, соответственно, явные признаки нормированности языка. В рамках древненовгородской языковой ситуации этот нормированный письменный язык официальной документации определяется А. А. Зализняком как «стандартный древнерусский» [12].

Консервативность норм языка деловой письменности составляет, таким образом, его принципиальное свойство, а не специфическую особенность позднего, приказного этапа его развития. Едва ли следует видеть в этой консервативности и исключительную особенность новгородской языковой ситуации. Необходимо иметь в виду, что переход от форм живой речи к формам делового языка предполагал не только замену диалектных форм на общерусские, но также и замену ряда инноваций на традиционные формы. Уже в новгородских пергаменных грамотах XIII в. число подлежащих замене инноваций оказывается сопоставимым с количеством заменяемых диалектизмов. В этих текстах практически полностью отсутствуют не только такие морфологические новгородизмы, как флексия *-e* И. ед. муж., *-ѣ* Р. ед., И.-В. мн. твердых *a*-основ, формы местоимения *весь* с основой

ва-, формы без рефлекса второй палатализации и др. (см. их полный перечень в работе А. А. Зализняка [12, с. 130, 131]), но также такие общерусские морфологические новшества, как формы инфинитива, императива и 2 л. презенса без конечного -и, флексия -и Р. ед. ja-основ, формы Д. мн. o-основ на -амь и ряд других черт, в этот период уже несомненно свойственных живой новгородской речи. Устранение диалектизмов и частичная консервация архаичных форм выступают, таким образом, как два равноправных механизма нормирования древнерусского языка в его официальном употреблении. Понимаемая как дистанция между формами живой речи и письменного языка, норма делового языка Древней Руси (как и церковнославянская норма) существует как бы в двух измерениях — пространственном и временном. Специфика языковой ситуации Древнего Новгорода состояла, по-видимому, в том, что в первом из этих двух измерений норма проявилась здесь раньше и с большей интенсивностью, чем в других областях Древней Руси. Это не мешает, однако, рассматривать такое состояние как экстремальный вариант древнерусской языковой ситуации, в котором все общие структурные особенности последней проявляются в наиболее заостренной форме.

Все охарактеризованные выше вопросы лингвистической интерпретации древнерусских письменных источников в аспекте истории литературного языка связаны друг с другом как грани единой проблематики. Только на пути их комплексного рассмотрения может быть преодолена фрагментарность существующих представлений о языковой ситуации Древней Руси и составлена база систематически организованных данных, необходимая для ее объективного описания. Одним из объектов этого синтетического направления исследований должна стать, как представляется, система формальных признаков (СФП) языка древнерусской письменности, понимаемая как система соответствий между формами, характеризовавшими живую восточнославянскую речь, и формами, употреблявшимися в разных типах древнерусских письменных текстов.

Изучение СФП древнерусской письменности может рассматриваться как синтез двух традиционных форм лингвистического изучения древнерусских письменных памятников — описания языка одного текста по ряду языковых показателей и описания функционирования одного звена языковой системы в текстах разных типов. В то же время исследование СФП не может носить чисто описательный характер: оно предполагает прежде всего реконструкцию отношений между формами устной и разных видов письменной речи, реконструкцию механизмов перехода от одних форм к другим как важнейшего компонента языкового сознания. При этом сама система форм живой речи является также объектом реконструкции, достоверность которой во многом зависит от адекватной оценки степени и характера лингвистической информативности различных письменных источников. Изучение СФП, следовательно, выступает в ряде случаев как задача с двумя взаимообусловленными неизвестными, решение которой представляет равный интерес для истории литературного языка и исторической диалектологии.

Настоящая статья носит предварительный характер. Ниже обсуждаются некоторые общие принципы функционирования и описания СФП древнерусской письменности, иллюстрируемые преимущественно на морфологическом материале древненовгородских памятников.

На морфологическом уровне СФП древнерусской письменности складывается из отдельных рядов форм, способных в текстах одной региональной и хронологической принадлежности заполнять одно и то же звено грамматической системы. В большинстве случаев приходится иметь дело с бинарными оппозициями форм, которые в плане сравнительно-исторической грамматики могут соотноситься по-разному: как восточнославянские и южнославянские, диалектные восточнославянские и общерусские, «новые» и «старые». В результате наложения на уже существующую корреляцию результатов одного или нескольких морфологических процессов образуются ряды, состоящие из трех и более членов. См., например, такие многочленные оппозиции, как *земли / земля / земля* в Р. ед., И.-В. мн., *новово / нового / новаго / новааго* в Р. ед. муж.- ср., *есма / есме / есмы / есмъ* в 1 л. мн., *жива / жива / живы* в И. ед. муж. и др. Существенно, однако, что такого рода многочленные ряды почти всегда могут быть сведены к нескольким элементарным бинарным оппозициям, которые, следовательно, выступают как минимальные единицы СФП.

Генетическая разнородность бинарных оппозиций, составляющих СФП, порождает своеобразную терминологическую проблему. Остро ощущается отсутствие пары терминов, которая бы могла обозначить функциональное объединение в рамках СФП, с одной стороны, восточнославянских, диалектных и «новых» форм, а с другой — южнославянских, общерусских и «старых». Между тем именно это функциональное объединение составляет главную конструктивную особенность СФП и несомненно нуждается в обозначении. Определения «русское / церковнославянское», «некнижное / книжное», «разговорное / литературное» и т. д. не подходят на эту роль, как потому, что носят слишком частный характер, так и потому, что содержат в себе нежелательный элемент априорной оценки статуса соответствующих форм. Поэтому в дальнейшем, чтобы избежать громоздких формулировок, мы будем говорить об оппозициях «л е в ы х» (восточнославянских, диалектных, «новых») и «п р а в ы х» (южнославянских, общерусских, «старых») форм, или, иначе, об L R - о п п о з и ц и я х, имея в виду естественное графическое представление «шкалы книжности» в виде оси, направленной (по нарастающей) слева направо. Преимущество данной пары определений состоит, помимо их принципиальной нейтральности, также и в возможности их применения как к бинарным, так и к многочленным оппозициям. Говоря о той или иной форме как о «левой» (L-форме) или «правой» (R-форме), мы не закрепляем за нею никакого определенного статуса, но лишь обозначаем таким образом ее ориентированность на «шкале книжности» относительно ее одного или нескольких коррелятов. Понятно, что в многочленной оппозиции одна и та же форма может выступать как «левая» по отношению к одним формам и как «правая» по отношению к другим. Так, форма *нового* в ряду *новово / нового / новаго / новааго* является R-формой для формы *новово* и L-формой для форм *новаго* и *новааго*.

Чтобы иметь возможность сопоставлять на общем основании факты, почерпнутые из разных текстов, целесообразно выделить основные типы ре а л и з а ц и и бинарных LR-оппозиций, т. е. возможные типы соответствия между формами живой речи и письменного текста. При этом необходимо различать ситуации, когда в живой речи оппозиция представлена только одним своим членом (L-формой) и когда — обоими. В первом случае представляется возможным выделить три основных типа реализации:

#### 1. L → L

«Левая» форма является единственно возможной в письменном тексте, который в данном звене грамматической системы вообще не противопоставлен живой речи.

## 2. $L \rightarrow L/R$

В письменном тексте имеет место варьирование L- и R-форм, выступающих (в разных количественных соотношениях) как факультативные варианты нормы.

## 3. $L \rightarrow R$

Единственно нормативной в письменном тексте является R-форма. Формы живой речи попадают в текст лишь как случайные ошибки<sup>5</sup>.

Для ситуации варьирования в живой речи L- и R-форм (что имеет место при незавершенности определенных морфологических процессов) также могут быть выделены три типа реализации, во многом аналогичные указанным выше:

### 1а. $L/R \rightarrow L/R$

Варьирование форм в живой речи без изменения отражается в письменном тексте.

### 2а. $L/R \rightarrow (L)/R$

Варьирование форм в живой речи отражается в письменном тексте, но неадекватно: L-форма (чаще всего — новообразование) подвергается частичной замене на R-форму.

### 3а. $L/R \rightarrow R$

Из двух варьирующихся в живой речи форм в письменном тексте как нормативная употребляется только «правая»<sup>6</sup>.

В целом процесс порождения любого письменного текста может быть с известной долей условности представлен как система замен «левых» форм на «правые». При этом типы реализации 1 и 1а, не предполагающие осуществления каких-либо преобразований при переходе от форм живой речи к формам письменного текста, могут быть охарактеризованы как нулевые, типы 2, 2а — как фактивные и типы 3, 3а — как обязательные замены. (Аналогичное понятие нулевой флексии, понятие нулевой замены призвано отличить случаи, когда тождест-

<sup>5</sup> Так, например, если при предполагаемом исключительном употреблении в живой новгородской речи конца XIII в. флексий Т. ед. и косвенных падежей мн. числа прилагательных *-ых*, *-ым*, *-ыми*, Р. ед. муж. -*ого* и Д. ед. муж.-ср. *-ому* в Симоновском евангелии 1270 г. мы находим исключительно употребление флексий *-ымъ*, *-ыхъ*, *-ыми* и *-аго* при свободном варьировании флексий *-ому* и *-уму*, можно говорить о реализации оппозиции «*новыхъ* / *новыхъ*» по типу 1, «*новому* / *новому*» по типу 2 и «*нового* / *новаго*» по типу 3. Здесь и далее LR-оппозиции обозначаются для удобства парами конкретных словоформ с указанием (если это необходимо) грамматических характеристик.

<sup>6</sup> Тип 1а реконструируется с некоторой условностью: практически трудно указать случаи, которые можно было бы с уверенностью интерпретировать как адекватное отражение в письменности вариативности живой речи. Тип 2а, напротив, встречается достаточно часто. Примером его может служить употребление флексий Р. мн. *о-основ* *-овъ/-ъ(Ѡ)* в книжных памятниках XIII—XIV вв. Хотя флексия *-овъ* в принципе не запрещена книжной нормой, степень ее представленности в книжных текстах явно не отражает ее реальной распространенности в живой речи. Примеры типа 3а также многочисленны. См., например, полный запрет на новую флексию Д. мн. *о-основ* *-амъ* в тех же памятниках при предполагаемом варьировании в живой речи новых и старых флексий.

венность форм письменного текста и живой речи является следствием реализации LR-оппозиции по типу 1, от случаев, когда она проистекает от отсутствия самой LR-оппозиции, т. е. от отсутствия возможности выбора между двумя формами.)

Факультативная замена может осуществляться с разной интенсивностью и имеет нижним пределом своей интенсивности нулевую, а верхним — обязательную замену. Поэтому в ряде случаев бывает трудно или даже невозможно определить, имеем ли мы дело, например, с высокой интенсивностью осуществления факультативной замены или же со случайными ошибками в осуществлении обязательной. Имея в виду это обстоятельство, можно условно определить «порог случайности», полагая его равным соответственно 5 и 95%, однако необходимо отдавать себе отчет в этой условности и в случаях, когда реальное соотношение форм в тексте приближается к предельному, говорить о промежуточных типах реализации (1—2, 2—3 и т. д.)<sup>7</sup>.

Обращаясь теперь непосредственно к описанию принципов организации СФП, мы предполагаем, что соответствия между набором LR-оппозиций и типами их реализации в разнообразных письменных текстах носят регулярный характер, подчиняясь некоторым закономерностям, что, собственно, и позволяет говорить о системе признаков.

Характер реализации той или иной LR-оппозиции в конкретном тексте обуславливается, очевидно, тремя факторами: типом текста, специфической индивидуальной языковой установкой писца и объективными характеристиками самой оппозиции. В сложном переплетении этих трех факторов могут быть выделены случаи, когда: 1) в двух текстах разного типа, написанных одним и тем же писцом, одна и та же оппозиция реализуется по-разному; 2) в двух разных списках одного и того же текста одна и та же оппозиция реализуется по-разному; 3) в одном и том же тексте, написанном одним писцом, две разные оппозиции реализуются по-разному<sup>8</sup>.

В соответствии с тремя этими «чистыми» случаями может быть постулировано существование трех взаимосвязанных иерархий: 1) иерархии типов текстов, 2) иерархии индивидуальных языковых установок и 3) иерархии LR-оппозиций (или иерархии признаков). Результатом их совмещения и является СФП языка древнерусской письменности. Рассмотрим теперь по необходимости кратко каждую из трех ее составляющих.

Наиболее обстоятельно вопрос об иерархии типов славянских письменных текстов рассмотрен Н. И. Толстым [13]. Структура литературы как системы представлена им как своеобразная «пирамида» жанровых рубрик с непрерывным возрастанием нормированности письменного языка от бытовых текстов, занимающих нижний этаж этой пирамиды, до текстов конфессионально-литургических, составляющих ее вершину. Жанровые

---

<sup>7</sup> Выделенные типы реализации бинарных LR-оппозиций могут быть использованы и при анализе трехчленных оппозиций. В таком случае целесообразно отдельно рассматривать две бинарные оппозиции, в которых в качестве одного из членов противопоставления выступает пара форм, объединенных по некоторому признаку в общей противопоставленности третьей. Например, если при предполагаемом варьировании в живой речи флексий *-и* и *-ѣ* Р. ед. *ја*-основ в письменном тексте варьируются флексии *-ѣ* и *-а*, можно говорить о реализации оппозиции «земли(землѣ)/земля» по типу 2 и реализации оппозиции «земли/землѣ (земля)» по типу 3а. При этом в первом случае актуальным оказывается противопоставление «восточнославянское/южнославянское», а во втором — «новое / старое».

<sup>8</sup> Во всех трех случаях предполагается также единство времени и места создания текстов.

рубрики противопоставляются по ряду дифференциальных признаков, к числу которых относятся переводность / непереводность текста, его функциональная направленность, место и время создания.

Градуальные иерархические отношения между жанровыми рубриками, на которых концентрирует свое внимание Н. И. Толстой, могут и должны быть вписаны в определяющее структуру древнерусской языковой ситуации противопоставление церковнославянского и русского языков. В последнее время эта бинарная модель описания нередко ставится под сомнение как огрубляющая реальное положение вещей (см., например [4, с. 231; 14]). Нельзя, однако, не согласиться с А. А. Алексеевым в том, что «с лингвистической точки зрения нет возможности говорить более чем о двух языках Древней Руси — русском и церковнославянском, выделяемых в согласии с двумя путями стабилизации и двумя основными видами нормы, определявшими своеобразие структуры и сферу функций каждого из этих языков» [15]. Градуальные отношения между жанрами не составляют альтернативы бинарной оппозиции языков, но реализуются в ее пределах. Церковнославянский и русский выступают в рамках древнерусской языковой ситуации как внутренне дифференцированные и иерархически организованные функциональные единства разнообразных вариантов книжного и некнижного языков (см. подробнее [16]). Естественно поэтому говорить не о непрерывном возрастании нормированности письменного языка в единой иерархии текстов, но о параллельном существовании двух иерархий церковнославянских (книжных) и русских (некнижных) текстов, в пределах каждой из которых действуют свои механизмы нормирования, различаются более и менее строгие языковые установки, более или менее последовательная ориентация на образцовые тексты и т. д. Так, «Вопрошание Кириково» 1130—1156 гг. (древнейший список в Новгородской кормчей 1282 г.) — ярчайший образец древнерусского «смешанного» текста — выступает как церковнославянский текст с весьма свободной языковой установкой и минимальной ориентированностью на канонические образцы. Напротив, официальные договоры Новгорода с князьями представляют собой сильно нормированные русские тексты, часто дословно воспроизводящие предшествовавшие им документы. В двух параллельных иерархиях названные тексты занимают, следовательно, противоположное положение<sup>9</sup>. Таким образом, «гибридный церковнославянский» (по определению В. М. Живова [17]) язык новгородских «смешанных» текстов и «стандартный древнерусский» (по определению А. А. Зализняка [12]) новгородских пергаменных грамот могут рассмат-

<sup>9</sup> Именно этим, очевидно, следует объяснять то обстоятельство, что оригинальные книжные памятники могут в ряде случаев лучше отражать инновации живой речи и диалектизмы, чем деловые тексты. В частности, в «Вопрошании Кирикове» находим последовательное употребление новой флексии Р. ед. *ja*-основ *-и* (*опитѣми, коутѣи* и т. д.), притом что в пергаменных грамотах того же периода безраздельно господствует старая флексия *-ѣ*. В том же памятнике отмечаем также двукратное, в пределах одной фразы (причем в окружении маркированно книжных форм) употребление столь яркого морфологического новгородизма, как флексия *-е* в И. ед. муж., также полностью изгнанная из деловой письменности Новгорода: *прашаѣть коо: гдѣ кѣтъ крѣтъ чѣнни?* — *такѣ поведѣють, реѣ, намъ: како не ѡ ш л е ѡрѣгра<sup>н</sup>, кѣда о б р ѣ т е н е, вѣанесѣсьѣ на нбѣа* (ГИМ, Син. № 132, л. 523). Примеры такого рода соотношений вступают в явное противоречие с традиционным представлением о промежуточном положении, занимаемом «смешанными» текстами в системе древнерусских письменных жанров между текстами каноническими и деловыми.

риваться как симметричные в рамках древнерусской языковой ситуации явления.

Эта симметрия, однако, является неполной вследствие того, что иерархия книжных памятников характеризуется значительно большей амплитудой языковых и стилистических колебаний, чем иерархия некнижных текстов. Большая внутренняя однородность свойственна языковой системе канонических церковнославянских текстов, которую и следует непосредственно сопоставлять с языком некнижной письменности в целом. Язык оригинальных книжных памятников, прежде всего «гибридных» с их исключительно своеобразным механизмом порождения [17, с. 74], целесообразно рассматривать на фоне этого основополагающего противопоставления двух подсистем, выделяемых в составе СФП языка древнерусской письменности. Если СФП некнижной письменности задает тот уровень, от которого отталкиваются авторы оригинальных книжных текстов, то СФП канонических памятников — тот уровень, на который они в той или иной степени ориентируются.

Иерархия индивидуальных языковых установок неотделима от иерархии типов текстов. Обе они в целом могут быть противопоставлены иерархии признаков. Поскольку непосредственным объектом наблюдения всегда является языковая система конкретной рукописи или документа, неизбежно возникает вопрос: в какой мере реализация в них тех или иных оппозиций предопределена типом переписываемого текста, а в какой — индивидуальными языковыми предпочтениями переписчика. По понятным причинам наименьшую зависимость от типа текста (по крайней мере в пределах иерархии книжных памятников) обнаруживает орфографический уровень, а наибольшую — лексический и синтаксический. Что касается морфологии, то здесь приходится постоянно учитывать действие обоих факторов. Рассмотрим в этом отношении следующий пример.

В первом почерке Захарьинского паремейника 1271 г. реализуются по типу 3 оппозиции «*хваливьг/хваль*» (новые и архаические формы действительных причастий прошедшего времени) и «*новыхъ/новыихъ*». Сопоставление с другими почерками той же рукописи обнаруживает, что замена стяженных форм нестяженными является обязательной лишь для первого почерка, тогда как во втором и третьем она осуществляется факультативно (тип 2). Между тем употребление почти исключительно архаических причастных форм свойственно не только всем трем почеркам данной рукописи, но также и другим спискам Паремейника (ЦГАДА, ф. 381, №№ 50, 60, оба XIII в.), тогда как, например, в списках Евангелия и Пролога имеет место свободное варьирование новых и архаических форм. Таким образом, реализация по типу 3 двух разных оппозиций в первом почерке Захарьинского паремейника в одном случае связана с архаичностью языковой установки писца — попа Захарии (который, кстати, является отцом второго писца — Олуферия, что весьма показательное), а в другом — отражает, очевидно, архаичность самого перевода.

Существование помимо иерархии типов текстов и иерархии индивидуальных языковых установок также самостоятельной иерархии LR-опозиций (или иерархии признаков) сказывается в том, что формы, в равной степени свойственные живой диалектной речи, оказываются по-разному представлены в одних и тех же текстах. В принципе любой древнерусский письменный текст может рассматриваться как воплощение иерархически организованного языкового сознания, в котором разнообразные LR-опозиции обладают различным функциональным статусом, своего рода «коэффициентом преломления», определяющим возможность

и целесообразность употребления в текстах тех или иных форм. Следует предполагать, что этот «коэффициент преломления» обусловлен в общих чертах некоторыми объективными характеристиками самих оппозиций и что, следовательно, помимо индивидуальных иерархий LR-оппозиций, воплощенных в конкретных текстах, должна существовать и их общая иерархия. В связи с этим предстоит выяснить ряд вопросов. Во-первых, как соотносятся индивидуальные и общая иерархии оппозиций? Во-вторых, как соотносится иерархия оппозиций с иерархией типов текстов? И в-третьих, какие факторы определяют положение отдельных оппозиций и групп оппозиций в иерархии?

Ниже приводятся данные о реализации четырех LR-оппозиций в четырех канонических текстах XI—XII вв.: Остромировом евангелии 1055—1056 гг. (ОЕ), Архангельском евангелии 1092 г. (АЕ), Изборнике 1076 г. (И 76) и Выголексинском сборнике XII в. (Выг.):<sup>10</sup>

	ОЕ	АЕ	И 76	Выг.
«новому/новуму» (Д. ед. муж.-ср.)	3	2	2	1
«тобѣ/тебѣ» (Д.-М.)	3	2	3	2
«землѣ/земля» (Р. ед., И.-В. мн.)	3	3	2	2
ја-основ, В. мн. јо-основ				
«новыѣ/новыя» (те же формы адъективного склонения)	3	3	3	3

Как можно заметить, в каждом из четырех текстов имеет место особая картина реализации. В ОЕ все четыре оппозиции реализованы по типу 3-их L-формы в тексте или вообще не представлены или представлены как единичные отклонения от нормы (например, *каплѣ* л. 160). В АЕ и И 76 намечаются контуры общих иерархических отношений, нейтрализованных чрезвычайной строгостью нормы ОЕ. В этой общей иерархии наиболее высокое положение<sup>11</sup> занимает, очевидно, оппозиция «новому/новуму», в обоих текстах реализованная по типу 2, а наиболее низкое — оппозиция «новыѣ/новыя» (в обоих текстах — тип 3, как и в ОЕ). Оппозиции «землѣ/земля» и «тобѣ/тебѣ» занимают промежуточное положение, причем положение их относительно друг друга в двух текстах оказывается различным и потому не является фактом общей иерархии.

Как видим, разнообразие индивидуальных картин формоупотребления не исключает возможности их систематизации и выявления общих иерархических отношений между оппозициями. Взаимодействие этой общей иерархии признаков с иерархией типов текстов заключается прежде всего в том, что одни и те же иерархические отношения между LR-оппозициями в текстах разных типов могут проявляться в разной форме. Так, как мы уже имели возможность убедиться, оппозиция «землѣ/земля» в иерархии признаков занимает более высокое положение, чем оппозиция «новыѣ/новыя». В пределах переводной канонической книжности это различие, впервые отмеченное В. Д. Левиным [18], может проявляться в реализации оппозиции «землѣ/земля» по типу 2, а оппозиции «новыѣ/новыя» по типу 3, как это имеет место в И 76, Выг. и многих других памятниках. В оригинальных русских книжных текстах обе оппозиции могут реализоваться по типу 2, и тогда иерархические отношения между ними проявляются уже в интенсивности осуществления факультативной замены. Так, в читающемся в составе Успенского сборника XII в. древнейшем списке Сказания о Борисе и Глебе субстантивные формы на -я

<sup>10</sup> Принципы и календарные заголовки во внимание не принимаются.

<sup>11</sup> Условимся считать, что чем более ассимилирована книжной нормой L-форма, тем более высокое положение в иерархии занимает соответствующая оппозиция, и наоборот.



составляют 54%, тогда как аналогичные формы адъективного склонения 77%. В упоминавшемся уже «Вопрошании Кирикове» соотношение еще более выразительное — формы существительных на -а составляют здесь всего 7%, а адъективные формы — 66%. Те же иерархические отношения, но уже снова в другой форме, могут спорадически проявляться и в деловой письменности, где встречаются единичные примеры адъективных форм на -а (см., например, *новгородьскыя, ея* в новгородских пергаменных грамотах XIV в. [19, №№ 6, 7, 46]), при полном отсутствии соответствующих форм у существительных.

Необходимо отметить, что тексты, в которых бы имело место обратное соотношение между двумя рассмотренными оппозициями, кажется, отсутствуют, по крайней мере, нам они не известны. Это обстоятельство позволяет применительно к текстам, в которых обе оппозиции реализуются одинаково, говорить о нейтрализации иерархических отношений. Поскольку число возможных типов реализации весьма ограничено, в каждом конкретном тексте может проявиться лишь часть иерархических отношений между оппозициями, тогда как другая часть оказывается нейтрализованной. Иерархические отношения могут нейтрализоваться в любом из трех типов реализации. Так, отношение между оппозициями «земль/земля» и «новыѣ/новыя» в ОЕ и АЕ нейтрализуется вследствие реализации обеих по типу 3, тогда как в подавляющем большинстве грамот, вообще не знающих форм на -а ни в субстантивном, ни в адъективном склонении, то же отношение нейтрализуется по 1-му типу. Заметим, кстати, что точное отражение диалектной речи в бытовых берестяных грамотах может рассматриваться как проявление полной нейтрализации по 1-му типу всей совокупности иерархических отношений между оппозициями в СФП.

Взаимодействие иерархии текстов и иерархии признаков состоит не только в том, что в разных типах текстов одни и те же иерархические отношения могут проявляться по-разному, но и в том, что разные типы текстов несут информацию о разных участках иерархии LR-оппозиций.

В приведенной выше таблице обращает на себя внимание противопоставленность оппозиции «новыѣ/новыя», во всех четырех текстах реализуемой по типу 3, остальным трем оппозициям, для которых возможны разные типы реализации. Это противопоставление отражает важнейшую особенность структуры СФП канонических текстов (и соответственно — церковнославянской языковой нормы), в которой на каждом синхронном срезе может быть выделен и н в а р и а н т, т. е. совокупность LR-оппозиций, во всех текстах представленных нормативно лишь своими «правыми» формами, и з о н а в а р и а т и в н о с т и, в пределах которой возможно нормативное употребление как «правых», так и «левых» форм.

В зоне вариативности СФП канонической церковнославянской книжности можно выделить несколько более частных разрядов оппозиций, исходя из того, какие типы реализации характерны для них в текстах одной региональной и хронологической принадлежности. Так, в новгородской книжности второй половины XIII в. оппозиции «слову/словеси» (формы косвенных падежей ед. числа) и «церкви/церкве» (Р. ед.) реализуются, как правило, по типу 2. Таким образом, вариативность по данному признаку выступает как свойство церковнославянской нормы в целом. Между тем оппозиция «земли(земль)/земля» в тех же текстах реализуется по типу 3 или по типу 2, но не по типу 1. Напротив, для оппозиции «церкви/церкве» (М. ед.) нехарактерным является тип 3. Данная оппозиция в текстах этого периода обычно реализуется по типу 1, и в

части текстов (например, в первых двух почерках Захарьинского паремейника 1271 г.) по типу 2. Для оппозиции «*тобѣ/тебѣ*» возможны все три типа реализации.

Распределение оппозиций по разрядам в пределах зоны вариативности, как и соотношение между зоной вариативности и инвариантом, изменяется в процессе эволюции книжной нормы. Оппозиции переходят из разряда в разряд, в результате чего любое синхронное состояние нормы характеризуется объединениями в рамках одного разряда оппозиций с различной предшествующей и последующей судьбой. В частности, широкая вариативность в оппозиции «*слову/словеси*» наблюдается с начала письменной эпохи, а в оппозиции «*церкви/церкве*» (Р. ед.) складывается постепенно в XII—XIII вв. Однако на синхронном срезе второй половины XIII в. обе оппозиции относятся к одному разряду.

Иерархические отношения между оппозициями, образующими инвариант СФП канонических текстов, полностью нейтрализованы в текстах этого типа, проявляясь изредка лишь в сравнительной частотности ошибок (см. ниже примеч. 12). Между тем обращение к текстам не книжным позволяет и здесь обнаружить значительное разнообразие. Наиболее ярко проявляется различие между оппозициями, в которых в качестве L-форм выступают общерусские и диалектные образования. В «стандартном древнерусском» языке новгородской деловой письменности первые регулярно представлены своими L-формами (оппозиции «*новѣть/новѣя*», «*я(зѣ)/азѣ*», «*идуше/идуше*», «эловая» форма прошедшего времени / аорист, имперфект и др.). Между тем специфические новгородские диалектизмы в тех же текстах более или менее последовательно заменяются на их «правые» общерусские соответствия.

Очевидно, однако, что и те оппозиции, в которых участвовали диалектные формы и которые, согласно А. А. Зализняку, определяли собой дистанцию между древненовгородским диалектом и «стандартным древнерусским», не были монолитны в функциональном отношении, но также иерархически соотносились друг с другом. Например, из оппозиций «*товаре/товарѣ*» (И. ед.) и «*водѣ/воды*» (Р. ед.) последняя, безусловно, занимала в иерархии признаков более высокое положение. Об этом свидетельствует наличие текстов, в которых при последовательном употреблении флексии *-ѣ* в И. ед. муж. употребляется флексия *-ѣ* в Р. ед. жен. Таковы, в частности, пергаменные грамоты 1304—1305 гг., 1326—1327 гг., духовная Климента до 1270 г. [19, №№ 8, 14, 15, 105], берестяная грамота № 531 рубежа XII/XIII вв. и некот. др.<sup>12</sup> Тексты с обратным соотношением нам не известны.

В наиболее строго нормированных деловых текстах, где все морфологические диалектизмы последовательно устраняются, такого рода иерархические отношения нейтрализуются. Таким образом, соотношение между договором Новгорода с немцами 1263 г. и, например, завещанием Климента до 1270 г. выступает как аналогичное соотношению между Остроми-

<sup>12</sup> Примеры из берестяных грамот приводит А. А. Зализняк [11, с. 132], интерпретируя их как свидетельство сосуществования в живой речи названных флексий. Однако наличие даже в бытовых берестяных грамотах явных признаков нормированности языка (см., например, исправление формы императива *молове* на *молови* в грамоте № 531) допускает и возможность «иерархической» интерпретации. В ее пользу косвенным образом свидетельствует и частотность ошибок в книжных памятниках XI—XII вв., т. е. периода безусловного господства в древненовгородском диалекте флексии *-ѣ* в И. ед. муж. При том, что данная форма в этих текстах отмечена лишь однажды [11, с. 133], флексия *-ѣ* в Р. ед. *а*-основ (твердых) представлена рядом примеров [20].

ровым евангелием и Изборником 1076 г. В обоих случаях иерархические отношения между оппозициями, нейтрализованные в тексте с более строгой языковой установкой, проявляются в тексте с менее строгой нормой. Существенно, что при этом мы имеем дело не с более и менее удачным следованием единой общепринятой норме, каковой в рассматриваемую эпоху, по-видимому, вообще не существовало (см. выше), но с индивидуальными представлениями о правильности письменного языка, различающимися по степени строгости.

Подобно СФП канонических церковнославянских текстов СФП не книжной письменности также характеризуется своей зоной вариативности и своим инвариантом, т. е. набором оппозиций, во всех бытовых и деловых текстах представленных только L-формой. Обнаружив в не книжных памятниках проявление иерархических отношений между морфологическими новгородизмами, мы не узнаем из них ничего о соотношении в иерархии признаков таких оппозиций, как, например, «*хвалить/хвалъ*» и «*новому/новому*». Соответствующие замены в текстах данного типа вообще не производятся. Таким образом, иерархические отношения между оппозициями, нейтрализованные в инварианте СФП канонических текстов, проявляются в зоне вариативности СФП не книжных текстов, и наоборот, отношения, нейтрализованные в инварианте СФП не книжных текстов, проявляются в зоне вариативности СФП канонической церковнославянской книжности.

Крайне характерно, однако, что зоны вариативности СФП канонических церковнославянских и не книжных русских текстов не находились полностью в отношениях дополнительной дистрибуции, но частично пересекались. В новгородской письменности XIII—XIV вв. эту область пересечения составляли такие оппозиции, как «*люди/людие*» (И. мн. *i*-основ), «*видишь/видиши*» (2 л. презенса), «*неса/неса*», «*есме/есмы*» (1 л. мн.), «*земли/земль (земля)*» (Р. ед., И.-В. мн.) и некот. др. L-формы этих оппозиций могут быть нормативно представлены в канонических памятниках и в то же время подлежат замене на R-формы при написании деловых документов<sup>13</sup>.

Показательно, что при наличии довольно обширной области пересечения зон вариативности СФП канонических и не книжных памятников затруднительно назвать оппозиции, составляющие область пересечения их инвариантов. К этому статусу близки оппозиция причастных суффиксов *-уч*, *-яч/-уц*, *-яц*, оппозиции «*новыѣ/новыѣ*» и «*ка(зѣ)/азѣ*». Их L-формы, кажется, полностью выведены за пределы канонической церковнославянской нормы этого периода, тогда как R-формы представлены в не книжных текстах как исключения или употребляются в клишированных формульных сочетаниях типа *се азѣ*, *въ съ вѣкъ* и *въ боудущи*. Следует заметить, что реализация этих оппозиций по типу 2 составляет специфическую особенность оригинальных «гибридных» текстов, таких, как Новгородская летопись (Синодальный список XIII—XIV вв.) и «Вопрошание Кириково».

<sup>13</sup> Ср., например, нормативное употребление форм *жива*, *зова* в ноябрьской Минее XIII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 93, лл. 72об, 86об, 99об) и двукратное *жива* в пергаменной грамоте 1304—1305 г. [19, №№ 7, 8]. Ср. также последовательное употребление диалектной формы *есме* в целом ряде новгородских рукописей XIII—XIV вв. (Лобковский пролог 1262 г., Прологи ЦГАДА, ф. 381, № 156, ГПБ, Соф. 1324, Паремейник ЦГАДА ф. 381, № 60 и др.) и замену ее формой *есмы* в грамоте 1263 г. [19, № 29].

Осталось вкратце рассмотреть вопрос о факторах, определяющих положение оппозиции в иерархии. Таких факторов можно ориентировочно выделить три: хронологический, ареальный и парадигматический. Первые два из них в особых комментариях не нуждаются. Понятно, что чем более древней является L-форма и чем более значителен (как в территориальном, так и в престижном отношении) ареал ее распространения, тем более высокое положение в иерархии занимает соответствующая оппозиция. По этой причине оппозиции типа «восточнославянское/южнославянское» в иерархии признаков располагаются в целом существенно выше оппозиций типа «диалектное/общерусское». Вполне естественно также, что положение в иерархии различных оппозиций «новых» и «старых» форм непосредственно зависит от того, в какую эпоху — дописьменную, древнейшую письменную или уже в сравнительно позднее время — протекал в живой речи соответствующий морфологический процесс<sup>14</sup>.

Фактор, названный парадигматическим, регулирует прежде всего иерархические отношения между оппозициями, совпадающими или близкими по своим ареальным и хронологическим характеристикам. Ярким примером его действия может служить уже рассмотренное выше соотношение оппозиций «земль/земля» и «новыѣ/новыя», обусловленное, по-видимому, различным устройством соответствующих словоизменительных парадигм. Как уже отмечал Н. Н. Дурново [5, с. 81], введение в систему книжного языка восточнославянских форм на -ѣ могло быть следствием стремления избавиться от возникшей на древнерусской почве омонимии книжных форм И. ед. и Р. ед., И.-В. мн. *ја*-основ. В адъективном склонении, однако, этой омонимии не возникало, что, скорее всего, и определило более низкое положение оппозиции адъективных форм в иерархии признаков.

Сходным образом может быть объяснено и исключительное положение в иерархии признаков такого морфологического новгородизма, как форма 1 л. мн. *есме*, в отличие от остальных диалектных морфологических форм, нормативно употребляемая в канонической церковнославянской книжности. Это обстоятельство может быть связано с тем, что в условиях возникшей вследствие отвердения конечного /м'/ омонимии книжных форм 1 л. ед. и мн. числа диалектная форма стала отвечать потребностям книжной языковой системы, стремившейся освободиться от этой омонимии.

В рассмотренных случаях парадигматический фактор обуславливает потребности самой письменно-языковой системы, по тем или иным причинам стремящейся к ассимиляции определенных форм живой речи. В других случаях организация словоизменительной парадигмы может определять степень сложности морфологического пересчета от форм живой речи к формам письменного языка, выступающего как один из основных механизмов порождения письменных текстов [22]. По-видимому, именно это обстоятельство обусловило отмеченное выше различное положение в иерархии признаков оппозиций «*товаре/товарѣ*» (И. ед. муж.) и «*водѣ/воды*»

<sup>14</sup> Наличие этой зависимости в ряде случаев позволяет рассматривать иерархические отношения между однородными по происхождению оппозициями в относительно поздних текстах как своеобразную проекцию в план синхронии относительной хронологии раннего морфологического процесса. Так, существенно большая ассимилированность книжной нормой XIII—XIV в. флексии *-ому* Д. ед. муж.-ср. членных прилагательных по сравнению с флексией Р. ед. муж.-ср. *-ого* отражает, по-видимому, то обстоятельство, что в древнейшую письменную эпоху процесс образования новых форм членных прилагательных по образцу форм местоимений, распространившись на дательный падеж, еще не затронул родительного [21].

(Р. ед. жен.). Диалектная форма Р. ед. на *-ѣ* совпадала с нормативными формами Д.-М. ед., что повышало ее шансы на проникновение в письменность. Между тем флексия *-е* в И. ед. муж. представляла собой изолированное явление в парадигме и потому могла быть с легкостью выведена за пределы письменной нормы.

Приведенные выше примеры носят элементарный характер. Практически, однако, приходится чаще наблюдать сложное соотношение различных факторов, в котором ареальные, хронологические и парадигматические характеристики оппозиций могут вступать в противоречие друг с другом. Именно такого рода противоречия обуславливают, по-видимому, разнообразие индивидуальных картин формоупотребления и расхождения между индивидуальными иерархиями признаков. Характерно, что эти расхождения могут иметь место и на более высоком уровне. Так, положение относительно друг друга оппозиций *«новыѣ/новыа»* и *«земли/земль (земля)»* оказывается противоположным в СФП канонических церковнославянских и некнижных русских текстов. В СФП канонических памятников XIII—XIV вв. исконная для всей восточнославянской территории оппозиция *«новыѣ/новыа»* относится к инварианту, тогда как оппозиция *«земли/земль (земля)»*, несмотря на свой меньший «возраст», входит в зону вариативности. (Нормативное употребление форм на *-и* находим, например, в третьем почерке Захарьинского паремейника 1271 г.) Причина, возможно, заключается в совпадении новой флексии *-и* Р. ед. с нормативной флексией Д.-М. ед. Парадигматический фактор, таким образом, оказывается более значимым, чем хронологический. Иначе обстоит дело в некнижной письменности, поскольку южнославянские по своему происхождению формы на *-а* практически не употребляются в текстах этого типа. Напротив, устранение инноваций, в том числе и флексии *-и* Р. ед. *ја*-основ, в грамотах данного периода производится достаточно последовательно. Ареальный и хронологический факторы играют здесь, следовательно, доминирующую роль.

Итак, система формальных признаков языка древнерусской письменности предстает на каждом синхронном срезе как результат сложного взаимодействия трех частных систем: иерархии (вернее, иерархий) типов текстов, иерархии индивидуальных языковых установок и иерархии самих признаков, понимаемых как бинарные оппозиции «левых» и «правых» форм. Следующее сравнение, как представляется, наглядно иллюстрирует общий принцип функционирования СФП.

В плане отражения формальных особенностей живой речи любой древнерусский письменный текст может рассматриваться как своеобразный экран, на который направлен световой поток, складывающийся из множества лучей разной интенсивности (иерархия признаков). Лучи падают на экран, проходя через фильтр, пропускная способность которого определяется как химическим составом стекла (иерархия типов текстов), так и его толщиной (иерархия индивидуальных языковых установок). Картина на экране обуславливается взаимодействием всех названных факторов. При этом постановка особо плотного фильтра, вообще не пропускающего лучи малой интенсивности, не позволяет составить представление о сравнительной интенсивности этих лучей, зато позволяет дифференцировать лучи большей интенсивности. При постановке слабого фильтра имеет место обратное соотношение. Поэтому, чтобы составить полное представление о сравнительной интенсивности всех лучей, необходимо провести эксперимент, последовательно сменяя фильтры разной плотности. Неко-

торые теоретические основания аналогичного лингвистического эксперимента были рассмотрены в настоящей статье. Полное его осуществление представляется одной из актуальных задач истории русского литературного языка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Владимирова Л. А.* О некоторых языковых особенностях в Изборнике Святослава 1073 г. // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987. С. 65.
2. *Русанівський В. М.* Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. Київ, 1985. С. 24.
3. *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М., 1953. С. 103.
4. *Worth D. S.* Toward a social history of Russian // Medieval Russian culture / Ed. by Birnbaum H., Flier M. Berkeley; Los Angeles; London, 1984.
5. *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavica. 1933. Роф. XII.
6. *Живов В. М.* Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе // ВЯ. 1987. № 1.
7. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка XI—XVII вв. München, 1987.
8. *Едличка А.* Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XX. М., 1988. С. 84.
9. *Hüttl-Folter G.* Die TRAT — TOROT Lexeme in den Altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Russischen Literatursprache. Wien, 1983. S. 16, 42—43.
10. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 38.
11. *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.) М., 1986.
12. *Зализняк А. А.* О языковой ситуации в Древнем Новгороде // Russian linguistics. 1987. V. 11. № 2—3. S. 115—132.
13. *Толстой Н. И.* Однос старог српског књишког езика према старом словенском езику (У вези са развојем жанрова у старој српској књижевности) // Научни састанак слависта у Укуове дане. Београд; Трипф. 1978. С. 24.
14. *Shevelov G.* Несколько замечаний о грамоте 1130 г. и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // Russian linguistics. 1987. V. 11. № 2—3. S. 178.
15. *Алексеев А. А.* Пути стабилизации языковой нормы в России в XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2. С. 44.
16. *Гиппиус А. А., Страхов А. Б., Страхова О. Б.* Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики // Вестник МГУ. Сер. 9 Филология. 1988. № 5. С. 45—49.
17. *Живов В. М.* Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 1985. № 3.
18. *Левин В. Д.* К характеристике русского извода старославянского языка // Wiener slawistischer Jahrbuch. 1984. Bd. XIII. S. 178.
19. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
20. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907. С. 183, 202.
21. *Толкачев А. И.* Об образовании некоторых форм прилагательных в славянских языках // Славянское языковедение. М., 1959. С. 80.
22. *Живов В. М.* // ВЯ. 1988. № 4. С. 149. Рец. на кн.: *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.

ПОЛИНСКАЯ М. С.

ПОРЯДОК СЛОВ «ОБЪЕКТ — СУБЪЕКТ — ГЛАГОЛ»

Эмпирически установлено, что шесть логически возможных типов порядка слов (SOV, SVO, VSO, VOS, OSV, OVS<sup>1</sup>) неравномерно распределены в языках мира. По-видимому, примерно в половине языков преобладает порядок SOV (ср. [2, 4] и еще более категоричные оценки в [5]), около половины остальных языков имеют порядок слов SVO. Четыре других типа порядка слов существенно менее часты, причем особенно «уникальны» порядки с ИГ<sup>2</sup> объекта в начале предложения — OVS и OSV. По Дж. Гринбергу [1, с. 118], эти порядки «не встречаются совсем или, во всяком случае, чрезвычайно редки». В большинстве работ, посвященных порядку слов, последовательностям OSV, OVS отказывается в «праве гражданства» — исключение составляет серия статей Д. Дербишира и Дж. Пуллума [6—8].

Необходимость исследования языков с редкими порядками слов едва ли требует специального обоснования: интересно понять причины, по которым те или иные порядки встречаются редко, и не менее интересно обнаружить такие порядки в конкретном языке.

1. Вводные замечания

1.1. Основным, или базовым, порядком слов предлагается считать наиболее частотный для данной конструкции предложения способ линейризации его элементов, регулярно используемый при спонтанном поро-

<sup>1</sup> Здесь и далее принята традиционная нотация по [1]: S — подлежащее, или первый синтаксический актант, O — дополнение, V — сказуемое. Обозначения, введенные Дж. Гринбергом, не раз подвергались критике, причем основное возражение состояло в том, что Гринберг смешивает члены предложения (подлежащее, дополнение) и части речи (глагол). Такая критика справедлива, поэтому нелишне заметить, что S, O, V используются именно как условные обозначения; менять их нежелательно, поскольку они уже вошли в традицию.

Неудовлетворение лингвистов теорией Гринберга приводит иногда к полному отказу от описания порядка слов в терминах членов предложения. В качестве альтернативы предлагается описание в терминах актуального членения (ср. обзор в [2]). Корреляция между синтаксическим и актуальным членением известна (мы не раз будем обращаться к ней ниже), но задача состоит в том, чтобы соотнести друг с другом эти два членения, а не заменить одно другим. Как исходный пункт описания синтаксическое членение представляется более удобным благодаря своей большей формализованности. В связи с этим следует сделать еще одно замечание. В современной синтаксисе подлежащее и разные дополнения описываются через наборы свойств (признаков), причем существуют языки, в которых первый и второй синтаксические актанты примерно равны по своим свойствам (это дало основания для трактовки подобных языков как бесподлежащих [3]). Мы оставляем в стороне эти трудности и исходим из того, что во всех исследуемых языках подлежащее и прямое дополнение известны.

<sup>2</sup> В настоящей статье приняты следующие сокращения: ИГ — именная группа; абс. — абсолютив; эрг. — эргатив; Д<sub>к</sub> — косвенное дополнение; Д<sub>н</sub> — не прямое (дательное) дополнение; Д<sub>п</sub> — прямое дополнение; П<sub>н</sub> — подлежащее при непереходном нестативном глаголе; П<sub>п</sub> — подлежащее при переходном глаголе; П<sub>стат</sub> — подлежащее при стативном глаголе.

дении предложения. (Неудобство такого определения состоит в том, что оно с неизбежностью предполагает наблюдения над большим корпусом предложений и текстов и/или наличие обширных данных прямого опроса информантов. Но на нынешнем уровне наших знаний любой другой подход, вероятно, будет бесплоден<sup>3</sup>. Такое определение позволяет рассматривать языки с «жестким» и языки со «свободным» порядком слов как принципиально сопоставимые.

1.2. Всякое предложение может быть описано как семиотическая сущность, имеющая означаемое (план содержания) и означающее (план выражения). Элементы плана выражения описываются через их форму, позицию (формальные свойства) и через способность задавать форму, позицию и референцию других, относящихся к тому же уровню, элементов (функциональные свойства). Свойства элементов плана выражения суммируются в категориях «подлежащее», «прямое дополнение» и т. д. Эмпирически установлено, что вероятность для разных языковых выражений выступать в предложении, например, в качестве подлежащего различна и зависит от лексико-грамматического статуса этого выражения. Наиболее известной классификацией статусов является иерархия агентивности [10], которая, с некоторыми уточнениями, принадлежащими автору этой статьи, выглядит так:

(1) личные местоимения (связанные) > личные местоимения (свободные) > имена собственные > названия людей > названия высших животных > названия самодвижущихся или приравняваемых к таковым природных объектов > названия неподвижных естественных объектов > названия артефактов<sup>4</sup>.

«Физический смысл» этой и подобных иерархий сводится, коротко говоря, к следующему. Естественными и более частыми в реальном мире являются такие положения вещей, при которых более активный от природы, одушевленный партиципant воздействует на менее активный, неодушевленный; при этом второй меняет свое состояние, а первый обычно остается самим собой. Для партиципантов, наименования которых расположены в левой части иерархии (1), типично существовать и оставаться равными себе вне зависимости от производимых ими действий (подчеркнем, что здесь и далее имеется в виду не научное, а наивное, бытовое восприятие объектов реального мира; если подходить к ним, например, с позиций сопротивления материалов или техники износа, человек получит значительно меньше «очков», чем, скажем, кирпич). Подобные партиципantы обычно определяются через обширный круг признаков (в этом нетрудно убедиться, попытавшись интроспективно описать свое «я»). Чем больше признаков «задействовано» в представлении некоторой сущности, тем труднее измениться в с е м

<sup>3</sup> Например, фрагментарные данные языка урубу навели Дж. Какумасу и вслед за ним авторов [7] на мысль о базисном порядке OSV в этом языке. Более системный анализ показал, что урубу — язык SOV с коммуникативно маркированным порядком OSV [9, с. 327].

<sup>4</sup> Эталонная агентивность может быть определена как способность X-а начинать и/или прекращать некоторое положение вещей по своему выбору (по своей воле). В свете подобного определения противопоставление естественных и созданных человеком неодушевленных объектов оправдано. Общепринято, что язык некоторым образом отражает человеческое восприятие мира. Люди в меньшей степени склонны персонифицировать артефакты, нежели природные объекты. Создавая нечто для своих целей, человек предполагает, что артефакт будет подчинен ему («свобода воли» объекта тут только мешала бы).

В соответствии со сложившейся традицией будем говорить, что класс имен X расположен л е в е е класса Y, если он ближе к началу иерархии, т. е. X > (...>) Y.



этим признакам сразу в результате какого-то одного события. Партиципанты, наименования которых находятся в правой части (1), нередко определяются через малое число признаков, подчас через один; нарушить их самотождественность легче. Тем самым для подобных партиципантов типичны положения вещей, при которых они могут создаваться /уничтожаться/менять свое исходное состояние весьма значительно; все это делает их более подходящими для роли объекта, чем для роли субъекта, ср. [11, с. 71—113]. Партиципанты, названия которых расположены в левой части (1), могут быть и активными участниками, и объектами, но при этом важно, что сущности, находящиеся на другом краю иерархии,— «плохие» агенсы. Соответственно иерархия и н г е р е н т н о й (присущей лексически) субъектности (1) коррелирует с иерархией с и т у а ц и о н н о й (контекстно обусловленной) субъектности (термины по [12, с. 64]):

(2) Агенс > Адресат > Реципиент > Пациент > Инструмент...

Понимание предложения предполагает соотнесение этого предложения и составляющих его выражений с внешним миром. Разные языковые выражения с разной эффективностью позволяют идентифицировать соотносимые с ними внеязыковые сущности и/или отграничивать эти сущности от других, ассоциируемых сущностей (например, в силу принадлежности к одному классу). Идентификация и/или индивидуализация референта (т. е. процедуры поиска внеязыкового объекта) происходят тем легче, чем больше опознавательных признаков имеется в распоряжении коммуникантов. Можно получить шкалу референтности, которая — по нарастанию числа признаков, участвующих в представлении объекта,— будет коррелировать со шкалой (1)<sup>5</sup>:

(3) Наименование партиципанта является однозначным > референтным сильноопределенным > референтным слабоопределенным > референтным неопределенным > нереперентным слабоопределенным > нереперентным неопределенным<sup>6</sup>.

Возможно, также в силу представления объектов внешнего мира через большее/меньшее число признаков, с иерархиями (1) — (3) коррелирует иерархия сегментации и квантификации<sup>7</sup>:

(4) Партиципант принадлежит к сегментируемому классу сущностей и выступает в ед. ч. > партиципант принадлежит к сегментируемому классу сущностей и выступает в дв. ч. > партиципант принадлежит к сегментируемому классу сущностей и выступает во мн. ч. > партиципант принадлежит к несегментируемому классу сущностей и квантифицирован > партиципант принадлежит к несегментируемому классу сущностей и не квантифицирован.

Итак, от положения ИГ на шкалах (1) — (4) зависит набор ее грамматических свойств в предложении. Соответственно, можно ожидать, что правила кодирования ИГ, в том числе правила порядка слов, будут различаться в предложениях с иерархически не одинаковыми ИГ. Для двухактантных предложений следует различать местоименные (с актантами — местоимениями или именами собственными), именные [с актантами — об-

<sup>5</sup> Объект внешнего мира, выделенный из множества других объектов того же рода, будет описываться через большее число положительных признаков, чем неиндивидуализованный объект: для первого определена не только принадлежность к некоторому классу, но и отличие от других членов этого класса.

<sup>6</sup> Частным случаем неопределенной референтности является обозначение партиципанта нулевыми лексемами с бытийным и универсальным значением, ср. [13, с. 89].

<sup>7</sup> Сегментация и квантификация определяются как в [14].

щими (нарицательными) именами] и «смешанные» (с актантом — местоимением или именем собственным и с актантом — общим именем) типы; внутри каждого из этих типов имеются следующие подтипы: по положению на шкалах (1) — (4), а) ИГ подлежащего и ИГ дополнения (примерно равны, б) ИГ подлежащего выше ИГ дополнения, в) ИГ подлежащего ниже ИГ дополнения.

1.3. До сих пор потенциально различающиеся словопорядки прогнозировались на основании свойств именных составляющих предложения. Однако выбор того или иного порядка слов может зависеть от грамматического вида, времени и модальности сказуемого. Модальность здесь для простоты не рассматривается; что касается времени и вида, то мы предлагаем, хотя бы на начальном этапе исследования порядка слов в конкретном языке, рассматривать предложения со сказуемым в форме прошедшего, настоящего и будущего времени, перфекта, прогрессива и общего вида раздельно.

Интерес к видовой и темпоральной семантике в последние годы возрос [15—17]; формальные различия предложений разной видовой или временной отнесенности (если такие различия имеются) могут, в конечном счете, пролить свет на семантику соответствующих категорий.

## 2. Языки, для которых ранее постулировался порядок OSV

По [7, с. 205], OSV является базовым порядком в четырех америндских языках: апуринья (А), шаванте (Ш), надеб (Н) и урубун-капор. Авторы отмечают также, что примеры OSV как частого, альтернативного главному, порядка обнаруживаются в языках дирбал (семья пама-ньюнга, Австралия), хурритском, алеутском и гренландском эскимосском. В дирбале порядок OSV имеет место в пассивной конструкции (подробно об интерпретации соответствующих предложений как пассивных см. [12, с. 68—69], где эта трактовка основана на данных о функциональных свойствах ИГ); в гренландском эскимосском появление OSV также связано с пассивизацией (устное сообщение Н. Б. Вахтина); в алеутском транзитивном предложении возможен только порядок SOV, OSV же появляется в коммуникативно осложненных предложениях, где объект — контрастная тема и где между О и S обязательна пауза (мы благодарны Е. В. Головки за чрезвычайно подробные и полезные разъяснения по этому вопросу). Тем самым в дирбале и эскимосском порядок OSV тривиален: объект в пассивном высказывании, будучи темой, занимает сильную тематическую позицию.

Рассмотрим языки апуринья, шаванте и надеб. (О трактовке урубун как SOV-языка см. примеч. 3).

2.1. Апуринья (аравакская семья). В [7] приводится восемь примеров из А, в том числе одно отрицательное предложение и одно предложение «смешанного» типа. В остальных шести отображено положение вещей «Я приношу ананас(ы)», причем в двух из шести предложений подлежащее опущено (OV, VO). Приведем остальные четыре:

(5) а) *Anana nota apa* (OSV)

б) *Anana n-apa nota* (OVS, глагол согласуется с S)

в) *Nota apa-ru anana* (SVO, глагол согласуется с O)

г) *N-apa-ru anana nota* (VOS, глагол согласуется с S и O)

По [7, с. 207], отсутствие согласования в (5а) свидетельствует в пользу базисности этой конструкции и соответственно порядка OSV. Такая

трактовка возможна, хотя никаких доказательств связи между согласованием в предложении и системным статусом конструкции нет. Отсутствие согласования может быть интерпретировано и как указание на мену диатезы; тогда (5а) может быть признано пассивом («несогласованный» пассив противопоставлен «согласованному» активу и в других языках, например, в ирландском).

То обстоятельство, что перед глаголом ставится либо свободное, либо связанное личное местоимение, может свидетельствовать о дополнительном распределении этих форм, а значит, нейтральной конструкцией предложения в А может быть (5в) или (5д):

(5) д) *N-apary anana* [ср. (5г)].

Допустимо ли (5е) *Nota n-ara-ry anana*, неясно.

В (5г) и (5д) говорящий, возможно «договаривает» после паузы личное местоимение (ср. русск. *Привел собаку, он*); в (5б) может иметь место такое же «договаривание», но на фоне тематизации или контрастной рема-тизации объекта [ср. соответственно русск. *Собаку привел, он, Собаку привел, он* и см. ниже (7), (8)].

2.2. Шаванте (семья же). В [7] заключение о порядке слов в Ш делается на основании данных Мак-Леод [18]. Текст, приведенный у нее, свидетельствует о двух тенденциях дискурса Ш: а) после введения эксплицитно названного партиципанта в текст его референция восстанавливается в основном по глагольному согласованию, а соответствующие ИГ обычно опускаются, ср. (6) <sup>8</sup>:

(6) *Tawam-hā*

указ. слово-эмф. частица

*ma-tô-sô*

показатель -3л.-для

сохранения

темы

*tāma veder-hā* [18, с. 53]

ствол поставил

«Шурин поставил там для юноши ствол дерева»

и б) нередко глаголу без эксплицитно выраженных аргументов предшествует контрастно тематизированная ИГ, а после глагола «договариваются» наименования участников ситуации [ср. (7) и (10)].

(7) *Kīmroo-hā, tē-nasi kōbno, pikōō-hā kaikrēpiduu-hā* «Жена его, та женщина, все время вычесывала у юноши из головы вшей» [18, с. 72].

С (7) можно сопоставить французские предложения, демонстрирующие ту же тенденцию (по устному сообщению К. Дюрана; примеры расположены по убыванию предпочтительности):

(8) а) *Moi, je le déteste, Pierre.*

б) *Je le déteste, moi, Pierre.*

в) *Pierre, moi, je le déteste.*

г) *Je le déteste, Pierre, moi.*

д) <sup>9</sup>*Moi, Pierre, je le déteste.*

«Я презираю Пьера».

Если рассматривать (8в) изолированно и не учитывать коммуникативные факторы, то во французском тоже можно констатировать OSV. В Ш, как и во французском, этот порядок служит для контрастной тематизации объекта на фоне тематичного субъекта, ср.:

(9) *Toptā, vaahi, ma-tē-tiisa* «Топта, змея, ее укусила» [18, с. 59].

Ср также коммуникативно маркированный порядок OVS:

<sup>8</sup> Интерпретация грамматических показателей принадлежит автору этой статьи и выработана на основании данных Мак-Леод и анализа текста в [18].

(10) *Tawam-hā kīka, ma-tō-sakra, kīnaa-hā* «Тогда его-корзину, она взяла, его-мать» (т. е. «тогда его мать взяла его корзину») [18, с. 73].

Каков нейтральный порядок в III, остается пока неясным (задача, естественно, осложняется регулярным опущением обоих главных актантов).

2.3. Надеб (семья пуинаве). Данные о III принадлежат Э. Уэйр (к сожалению, две ее работы остались нам недоступны). Все предложения, приводимые в [7] по неопубликованной работе Уэйр, имеют порядок слов OSV [ср. (11) — (13)].

Предложения с ИГ, близкими по рангу, в (1) — (4):

(11) *bo<sup>q</sup>η taquoyool* *qi-wīh*  
овод (назв. насекомого) Зобь.-есть

«„Маькоьбол“ пожирает оводов».

(12) *samīyū* *yī* *qi-wīh*  
обезьяна человек Зобь.-есть

«Люди едят обезьян».

Предложения «смешанного» типа:

(13) а) *txiū<sup>q</sup>n* *nīy* *qī* *qi-taaq*  
тапир голова я Зобь.-собирать

«Я иду собирать плоды дерева „тапирья голова“».

б) *qī* *qawxīi* *bi-q-sōbūs*  
Я змея Зобь.-вид-кусать

«Меня чуть не укусила змея».

Примеры в [19] менее однозначны. Уэйр приводит пары предложений, описывающих одно и то же положение вещей (или два положения вещей, одно из которых логически вытекает из другого); в таких парах одно из предложений имеет порядок слов OSV, ср.:

(14) а) *kalapée* *a-sooh* *bxaah* *yo*  
ребенок вид-сидеть дерево на

«Ребенок сидит на дереве» (порядок слов П<sub>н</sub> — глагол — Д<sub>к</sub>).

б) *bxaah kalapée yo-sooh* (тж., порядок OSV) (по [19, с. 297]).

Предложения типа (14б) напоминают косвенно-объектный пассив (II преобразуется в не-II, Д<sub>к</sub> преобразуется в II); ср. подобную конструкцию в английском языке (15б):

(15) а) *This guy sat upon my case* «Этот человек сидел на моем чемодане» (актив)

б) *My case was sat upon (by this guy)* (тж., пассив). Конечно, подтвердить пассивный или активный характер предложений типа (14б) можно только на основе знания функциональных свойств ИГ в этих предложениях. То, что подлежащим в (15а) является именно ИГ *this guy*, а в (15б) — ИГ *my case*, видно, например, из способности соответствующих ИГ однозначно контролировать сочинительное сокращение:

(15) в) *This guy sat upon my case and ∅* [= *this guy/\*my case*] *ruined it* «Этот человек сидел на моем чемодане и испортил его».

г) *My case was sat upon by this guy and ∅* [= *my case/\*this guy*] *collapsed* «(букв.) Мой чемодан был сижен-на этим человеком и погиб» (пример из спонтанного диалога). Подобных данных для III нет. В их отсутствие можно обратить внимание на два обстоятельства.

а) В нескольких парах типа (14а, б) предложения с порядком слов OSV имеют более специализированное значение, чем их корреляты с другим порядком [ср. (16б), (17б)]. Специализация значения нередко сопут-

ствуует предложениям, в которых используется грамматически более периферийная либо более маркированная конструкция<sup>9</sup>.

(16) а) *kad i-yoot g̃ĩm go*  
дядя вид-сажать поле на

«Мой дядя засаживает поле (букв. сажает на поле)».

б) *g̃ĩm kad gi-yoot* «Мой дядя (впервые) засаживает (это) поле» (OSV)

(17) а) *éé i-sóbt sxóbw me*  
отец вид-стрелять трубка с помощью

«Мой отец стреляет из стрелометательной трубки (вообще)».

б) *sxóbw éé mi-sóbt* «Мой отец проверяет стрелометательную трубку на выстрел» (необходимая стадия в изготовлении оружия) (по [19, с. 301]).

Подчеркнем, что сказанное относится только к предложениям с порядком OSV типа (14б), (16б), (17б); семантические соотношения предложений типа (11)—(13) с предложениями иного словоупорядка (если таковые имеются) подлежат выяснению.

б) В предложениях (11)—(13) обращает на себя внимание тот факт, что глагол согласуется с объектом (впрочем, не исключено, что во всех этих примерах согласователный показатель субъекта — нулевой). Это, однако, еще не является свидетельством пассива (есть языки, например, шумерский, где глагол в двухактантной конструкции согласуется только с объектом), но в общем контексте увеличивает вероятность пассивной интерпретации OSV-предложений.

Если «пассивная гипотеза» верна хотя бы для (14б), (16б), (17б), она может иметь два разных продолжения. Первое. И перечисленные предложения, и (11) — (13) — пассивы. Тогда порядок OSV — принадлежность пассива, и имеет место та же ситуация, что в языках дирбал или гренландском эскимосском. По [19, с. 296], конструкции с порядком OSV в Н статистически преобладают, а значит, Н может попасть в весьма интересную группу языков с «гипертрофией» пассива (т. е. с пассивом, более частым, чем актив). (К этой же группе принадлежат, вероятно, языки дирбал [12, с. 69], маори — по наблюдениям автора.) Второе. Часть OSV-конструкций представляют собой пассив, часть — такие, как (11)—(13), — актив. Тогда остается нерешенным вопрос о синхронном и историческом соотношении разных OSV-конструкций.

Подведем итог этого раздела. «Кандидатами» на роль OSV-языка могут быть агурия и надеб. Для последнего необходимо выяснить (по функциональным свойствам актантов), не являются ли соответствующие предложения пассивами. Если они окажутся таковыми, интересно определить базовый порядок слов в Н. Из примеров видно, что в Н имеются послелоги и что посессивное словосочетание имеет структуру «посессор — принадлежность». Это типично для языка с глаголом в конечной позиции, т. е., возможно, SOV. В то же время из (14а), (16а), (17а) видно, что Н не принадлежит к жесткому типу языков с глаголом в конечной позиции, поскольку  $D_K$  может следовать за глаголом.

<sup>9</sup> Это, возможно, объясняется принципом лингвистической экономии. Для того чтобы оправдать существование относительно редкой конструкции, язык стремится придать ей дополнительную нагрузку, например, функцию выражения какого-то дополнительного значения.

### 3. Хурритский язык

Митаннийский хурритский, описанный в [20—22], — мертвый язык, все данные о котором основываются на материале одного сравнительно представительного текста и нескольких очень кратких. Согласно наиболее авторитетной грамматике [22, с. 205], нейтральным порядком слов в хурритском является OSV (в непереходном предложении SV)<sup>10</sup>. Хурритский — морфологически эргативный язык. В коммуникативно неосложненных предложениях начальному абсолютиву (т. е. П<sub>н</sub> или Д<sub>н</sub>) может предшествовать только несвязанная частица. Местоименные актанты в предложении легко опускаются, ср.

(18) а) *Asti-n sēnifuw arōz-av* «Жену моего-брата [я] дал-я» (согласование с П<sub>н</sub>)

б) *Arōz-afu-n*

давать-1 ед. (П<sub>н</sub>)-3 ед. (Д<sub>н</sub>)

«[Я] дал [ее]».

Из примеров с ИГ, относительно равными по положению в иерархиях

(1) — (4), можно привести следующие:

(19) *tizifen ān sēnifuz hisuγ-i-wa-i/e-n* «И-сердце-мое мой-брат пусть-не-огорчает» [20, с. 109].

(20) *tiwena<sup>MEŠ</sup> šu(w)alla-māna sēnifuz kandozāšena uriyašena* «Вещи названные мой-брат иметь желает» (20, с. 116<sup>11</sup>)

(21) *hijaruhha-tta-n teu/on-ae sēnifuz keb-an-u/o-en* «Золота много мой-брат пусть-пошлет мне» [22, с. 139].

Предложения с одним из актантов — местоимением/именем собственным:

(22) *inut'aninhen'ə sēnifuz tadiya, inumenin hen'a sēnifa ižaz tadav* «Как теперь брат-мой [меня] любит, как теперь моего-брата я люблю» [20, с. 119] (в первом предложении объект опущен, во втором порядок OSV).

(23) *Manen'ān šenifuz šuga faš'i/enyit'ə* «Мане [имя посланца] мой-брат также пусть-пошлет» [20, с. 109].

Функция инвертированного порядка состоит в выражении существенных сдвигов в значении, ср.:

(24) *sēnifuz anə asti šar-oz-a* «Ведь [-именно-] мой-брат жену просил» [20, с. 106].

---

<sup>10</sup> По [20, с. 126], хурритский порядок слов — SOV, и этот порядок рассматривается как характерное проявление эргативности. Корреляция между эргативностью и SOV, отмеченная для абхазо-адыгских и палеоазиатских языков, совершенно случайная: имеются эргативные языки с иными порядками слов, например, майя, западнополинезийские (VSO/VOS), и многочисленные SOV-языки без эргативности (языки Африки). Если вообще задаться целью найти аккумулятивность или эргативность в параметре порядка слов, то искомыми типами будут аккумулятивные SVO/SV (русский), OVS/VS (хишкарьяна, [7, с. 193—195]) и эргативные SVO/VS (никобарский; устное сообщение Ю. К. Лекомцева) и OVS/SV. Последний наблюдается в карибском языке макуши: *João egeran-sā* «Жоао прибыл» (SV); *Jaimé era'ma'pi João-ya* «Жоао (П<sub>н</sub>) увидел Хайме (Д<sub>н</sub>)» (OVS, П<sub>н</sub> имеет факультативный эргативный маркер *-ya*) (по [6, с. 213, 210]).

<sup>11</sup> Часть случаев вынесения ИГ объекта в начальную позицию в письме Тушратты может объясняться использованием параномазии как синтаксически эффективного и в то же время выразительного способа связи предложений в тексте (на эту особенность широкого круга архаичных текстов любезно указал нам Ю. С. Степанов). В частности, в (20) можно, зная тематику письма Тушратты, усмотреть параномастический повтор.

(25) *ḡiredân sēnifūssāman sēnifūwenevā aštiv niyārā* «И-увидит мой-брат моего-брата жены приданое» [20, с. 126] (VSO, коммуникативно подчеркнутая рема — глагол?).

Имеются, однако, случаи, когда различия между предложениями с порядком OSV и с порядком SOV весьма неочевидны; ср. два предложения с актантами, находящимися примерно в одинаковом иерархическом соотношении:

(26) а) *Keliyāssān . . . tivā andā kulōzā* «И-Келия слово это сказал» [20, с. 116] (SOV)<sup>12</sup>.

б) *andil'ân šimigenez areda (sēnif'ūwa)* «И-это Шимиге даст (моему-брату)» [20, с. 125] (OSV).

При наличии в предложении двух объектов порядок слов зависит от того, является ли второе дополнение непрямым (дательным) или же косвенным. В случае с  $D_{II}$  и  $D_{III}$  порядок, как правило,  $D_{II}$  —  $D_{III}$  (позиция подлежащего из имеющихся примеров неясна), ср. (27). Если второе дополнение косвенное, порядок, по-видимому,  $D_{II}$  —  $D_{III}$  (позиция подлежащего здесь также неясна), ср. (28).

(27) *sēnifudamān tivā ... kul-(i)l'-i/e* «Брату-моему слово ... хочу-сказать» [20, с. 109].

(28) *šala-v-ā-n aštif'un'a ar-i/e* «И-сестру-твою в-жены (букв. женой) [мне] дай» [20, с. 115].

Итак, имеются некоторые свидетельства предпочтительности порядка OSV над порядком SOV в хурритском. Конечно, какие-то случаи использования именно этого порядка могут объясняться контекстными условиями (в письме Тушратты идет речь об определенном, уже известном и автору, и адресату, круге объектов, а значит, наименования этих объектов легко могут тематизироваться) или экспрессивностью. Тем не менее, даже если исключить подобные случаи, преобладание OSV над SOV сохранится.

При признании в хурритском базового порядка OSV естественно возникает вопрос о происхождении этого порядка. Хурритский довольно последовательно демонстрирует черты языка с глаголом в конечной позиции, но этот порядок, как и в надеб (2.3), не жесткий, ср. (25). Каким именно образом порядок OSV мог стать в хурритском преобладающим, неясно. Можно предположить его развитие из SOV через SVO.

#### 4. Кабардино-черкесский язык (абхазо-адыгская семья)

В литературе вопрос о порядке слов в кабардино-черкесском языке (далее КЧ) либо не уточняется [23, с. 213], либо решается в пользу SOV [24, с. 150—151; 25, с. 12—21]. Тем не менее примеры, приводимые в грамматических описаниях, особенно в [23], указывают на частотность порядка OSV. Наше внимание на этот порядок в КЧ впервые обратили М. А. Кумахов и Р. Кимов. Результаты, приводимые ниже, основаны в первую очередь на опросе носителей языка (Р. Кимов, Б. Бербеков, Р. Дзуганова, К. Карданов, М. Кардапова — носители литературного языка; С. Амшокова, Т. Шошева — носительницы говора с. Шалушка Большой Кабарды; всем им автор выражает свою искреннюю призна-

<sup>12</sup> Возможно, глаголы говорения и ИГ «слово; речь» образуют устойчивое сочетание типа *figura etymologica* (данная интерпретация была предложена Вяч. Вс. Ивановым). В таком случае позиция слова *tivā* перед глаголом (26а), (27) будет единственно возможной.

тельность). Опрос информантов показал преобладание порядка OSV над порядком SOV в некоторых подсистемах КЧ; в четырех других абхазо-адыгских языках (близком КЧ адыгейском, абазинском, абхазском и убыхском), по-видимому, преобладает тип SOV (см., однако, 5.1). Наша задача — выяснить распределение порядков OSV и SOV в КЧ. Для дальнейшего изложения существенно, что КЧ — морфологически эргативный язык, не имеющих грамматического рода.

4.1.1. Конструкции с семантически однородными именами. Под семантической однородностью (термин В. С. Храковского) понимается равенство языковых выражений по каким-то признакам; в нашем случае это совпадение рангов во всех или нескольких из иерархий (1)—(4).

1) При спонтанном порождении транзитивных предложений с референтными ИГ, занимающими высокое положение в иерархиях, информанты обычно начинают с конструкции OSV:

(29) а) *Сэби-р фызыжы-м и-гъэ-шх-ац* «Ребенка (абс.) женщина (эрг.) накормила».

(30) а) *Джэды-р бажэ-м и-хъ-ац* «Курицу (абс., сильноопределенная ИГ) лиса (эрг.) унесла».

б) *Зы джэды-р бажэ-м и-хъ-ац* «Одну курицу (т. е. одну из определенных кур, — слабоопределенная ИГ) лиса унесла».

Порядок SOV допускается, но связывается обычно с контрастной рематизацией или подчеркиванием субъекта, ср.:

(29) б) *Фызыжы-м сэби-р и-гъэ-шх-ац* «Женщина ребенка накормила»

(30) в) *Бажэ-м джэды-р/ар и-хъ-ац* «Лиса курицу/ее унесла».

Предпочтительность OSV сохраняется также в конструкции с косвеннопереходным глаголом, ср.:

(31) *БлэкIухъу-хэ-м милициэнэры-р къэ-дж-ац* «Прохожих (мн., косв.) милиционер (абс.) звал».

2) В предложениях с референтными ИГ, занимающими одинаково низкое положение в иерархиях (1), (4), типичен порядок SOV.

(32) а) *ХуцIына-м стол-ыр и-уцIэнI/и-уцIэнI-ац* «Тесто (эрг.) стол (абс.) пачкает/запачкало» (SOV)

б) *Стол-ыра хуцIына-м и-уцIэнI/и-уцIэнI-ац* (тж., OSV, с контрастной тематизацией объекта).

Положения вещей с двумя и более ингерентно неагентивными участниками, как правило, не отображаются в КЧ переходными предложениями; соответствующий смысл передается предложениями стативной и рефлексивной конструкций. В стативных и рефлексивных конструкциях наименование объекта (O) стоит на первом месте, а наименование причины ( $\approx S$ ) — на втором, ср. пример, полученный при предъявлении информанту русского предложения *Время разрушило/разрушает камень*:

(33) *Мывэ-р зэмань-м зэ-Гыхъэрот-ац/зэ-Гыхъэротэ* «Камень (П<sub>стат</sub>) от-времени (Д<sub>к</sub>) разрушился/разрушается (рефлексив)» (форма Д<sub>к</sub>) омонимична форме П<sub>п</sub>).

3) В КЧ имеется особая конструкция предложения, получившая в литературе название индефинитной [24]. Имена обоих главных актантов в такой конструкции оформлены нулевым падежным показателем; у общих имен такие «нулевые» падежные формы регулярно противопоставлены ненулевым. Из названия конструкции видно, что неоформленные ИГ принято считать неопределенными. Правильнее было бы считать их нереферентными, что подтверждается следующими фактами: а) немаркированные ИГ употребляются как родовые в конструкциях «в качестве У» «X как род У» (для неопределенных ИГ это нехарактерно); ср.



(34) а) *ЩГалэ-м зы мыГэрысэ-р и-шх-ащ* «Парень (эрг.) одно [из] яблок (абс. марк.; одно из определенного множества) съел».

б) *ЩГалэ-м зы мыГэрысэ-θ и-шх-ащ* «Парень одно яблоко (абс. немарк., родовое) съел». б) немаркированные ИГ могут быть слабо-определенными (слабая определенность и нереферентность сочетаются, слабая определенность и неопределенность, естественно, нет), ср.:

(35) *Абы хуэдэ гу-θ сы-гьунэгэу-м фГэжэ зыми хуэ-щГы-ну-кьым* «Такую телегу (абс. немарк.) кроме моего соседа никто не-сможет-сделать». в) в функции предикатного имени употребляется всегда немаркированная форма (ср. *пшэафГэ-θ шГын* «поваром назначить»).

В транзитивном предложении КЧ неоформленными могут быть обе главные ИГ либо только объектная ИГ. Типичный порядок расположения элементов в конструкции с неоформленными ИГ — SOV, независимо от синтаксического статуса неоформленной ИГ (ср., однако, (35), где соответствующая ИГ — контрастная тема). Ср.:

(36) а) *ЦГыху-хэ-м гуэдэ-θ хэсэ* «Люди (эрг. марк.) пшеницу (абс. немарк.) сеют».

б) *ЦГыху-хэ-θ гуэдэ-θ хэсэ* «Люди (эрг. марк.) пшеницу (абс. немарк.) сеют».

Понижение референтного статуса ИГ коррелирует с понижением ее синтаксического статуса (см. 1.2); неоформленная объектная ИГ, в отличие от оформленной, не может быть самостоятельной ремой (неоформленная ИГ образует единую рему со сказуемым). Таким образом, в предложениях типа (36) имеет место конструкция, отличная от эталонной транзитивной. Строго говоря, совпадение конструкций разного типа по порядку слов не обязательно.

#### 4.1.2. Конструкции с семантически неоднородными именами.

1) Если подлежащее выше дополнения по шкалам (1), (3), (4), в транзитивной конструкции возможны порядки SOV и OSV, но SOV предпочтительнее [ср. выше (34а) и (37а)].

(37) а) *Почталъоны-м писмо-р кьы-хь-ащ* «Почтальон принес письмо» (SOV).

б) *Писмо-р почталъоны-м кьы-хь-ащ* (тж., OSV, признается худшим вариантом).

Предпочтительность SOV над OSV в предложениях с П<sub>ц</sub>—ИГ мн. ч. менее очевидна; при устном предъявлении русского предложения *Враги сожгли родную хату* пятеро из наших информантов первым давали КЧ эквивалент с порядком OSV:

(38) а) *Сы-кьы-щаль-хуа унэ-р бий-хэ-м я-гьэ-с-ащ* «Родной дом враги сожгли» (OSV).

б) *Бий-хэ-м сы-кьы-щаль-хуа унэ-р я-гьэ-с-ащ* (тж., SOV).

В косвенно-переходной конструкции с семантически неоднородными именами абсолютно преобладает SOV, ср. (31), (39а, б), с одной стороны, и (39в, г), с другой.

(39) а) *ЛГыжьы-р щГалэ-м йо-плъ* (SOV)

б) *ЩГалэ-м лГыжьы-р йо-плъ* (OSV)

«Старик (абс.) смотрит на-парня (косв.)».

[спонтанное порождение того или другого словопорядка варьирует у разных информантов и даже у одного информанта в разное время; все опрошенные носители КЧ указывают на очень слабые различия между (39а) и (39б)].

в) *ЛГыжьы-р сураты-м йо-плъ* (SOV)

г) ? *Сураты-м лГыжьы-р йо-плъ* (OSV)

«Старик смотрит на фотографию».

2) В том случае, если ранг дополнения в иерархиях (1), (3), (4) выше ранга подлежащего, порядок OSV существенно предпочтительнее порядка SOV (последний некоторыми информантами вообще отвергается):

(40) а) *ШІалэ-р псы-м и-тхьэл-ац* (OSV)

б) *?Псы-м щІалэ-р и-тхьэл-ац* (SOV)

«Парня (абс.) вода (эрг.) утопила».

4.2. Конструкции с местоименными актантами и с актантами — собственными именами. Свободные местоимения 1 и 2 л. обычно опускаются, поскольку согласовательная модель глагола весьма прозрачна. При порождении несколько искусственных предложений с восстановленными местоименными актантами информанты выдерживают порядок SOV, ср.:

(41) а) *(Сэ уэ) у-зо-гъа-джэ* «(Я тебя) обучаю».

б) *(Уэ сэ) сы-бо-гъа-джэ* «[Ты меня (мужск.)] обучаешь».

в) *(Сэ) ар и-зо-гъа-джэ* «(Я) его обучаю».

г) *Абы сэ сы-рэ-гъа-джэ* «Он меня обучает».

д) *Абы ар е-гъа-джэ* «Он<sub>1</sub> его<sub>1</sub> обучает» (индексами *i* и *j* обозначена некорреллированность актантов).

Как видно из (41а—д), порядок слов не зависит от того, является ли соответствующая местоименная ИГ подлежащим или прямым дополнением.

В предложениях с актантами — именами собственными (собственные имена не маркируются по падежу) разные носители языка отдают предпочтение разным порядкам: двое из наших информантов явно склонялись к SOV, трое — к OSV, остальные допускали оба эти порядка. Существенно однако, что всеми информантами пример

(42) *Бибэ Саидэ е-хь* «Биба несет(презент) Саиду» или «Саида несет Бибу»

вне контекста признан неоднозначным. Еще более неоднозначны примеры типа

(43) а) *Борис Мухьэмэд текІу-ац* «Борис победил(перфект) Мухамеда» или «Мухамед победил Бориса».

Естественной реакцией на (43а) оказывается вопрос

(43) б) *Хэт хэт текІуа?* «Кто кого победил?»

4.3. «Смешанный» тип конструкций. Реальные, не спровоцированные при опросе предложения с актантом — общим именем и актантом — местоимением практически не встречаются, поскольку местоимение, независимо от его синтаксического статуса, опускается (см. 4.2). В звучащих несколько искусственно предложениях с восстановленными актантами обнаруживается тенденция к порядку SOV; OSV предполагает некоторую контрастивность в тематизации объекта:

(44) а) *Сэ джэды-р с-хь-ац* «Я курицу (абс.) отнес».

б) *Джэды-р (сэ) с-хь-ац, папэ малы-р и-хь-ац* «Курицу (я) отнес, барана отец отнес» (существенно, что во втором простом предложении с актантами — общими именами употреблен как коммуникативно маркированный порядок SOV).

4.4. Вопрос, отрицание, восклицательное предложение. Общий вопрос маркируется в глаголе [ср. (46б)] и имеет особый интонационный контур (резкое повышение тона на последнем слове); кроме того, вопрос может оформляться исключительно интонационными средствами [(45), (46а)]. Во всех случаях порядок слов вопроса не отличается от порядка слов в утвердительном предложении [ср. (45) и (30а), (46) и (37а)].

(45) *Джэды-р бажэ-м и-хь-ац?* «Курицу лиса унесла?» (OSV).

(46) а) *Почтальоны-м писмо-р къи-хь-ац?* «Почтальон письмо принес?» (SOV).

б) Почтальоны-м письмо-р кэи-хь-ы-ну? (тж., оформление вопроса морфологическими средствами, SOV).

Порядок слов в частновопросительных предложениях не специфичен: вопросительное слово стоит либо в крайней левой (коммуникативно сильной) позиции, либо на месте той составляющей, к которой относится вопрос (аналогично обстоит дело в русском, ср.: *Кого вы вчера ждали?* и *Вы кого вчера ждали?*).

Отрицание маркируется в глаголе [ср. (35)] и на порядок слов не влияет. В восклицательных предложениях с семантически однородными ИГ порядок слов O...SV; при семантической неоднородности порядок слов: а) SOV, если  $S > O$ , б) OSV, если  $S < O$ .

4.5. Порядок слов в предложениях с двумя объектами. В таких предложениях роль словоупорядка возрастает, поскольку  $P_n$  и  $D_n/D_k$  в КЧ кодируются омонимично (по другой трактовке, имеет место синкретизм падежной формы эргатива, но здесь выбор той или иной грамматической интерпретации не существует), ср. (31), (32). В предложении с адресатным вторым дополнением порядок слов  $P_n - D_n - D_n...$  [порядок  $D_n - P_n - D_n...$  приводит к изменению смысла см. (47в)]. Порядок  $P_n - D_n - D_n...$  хуже, вероятно, потому, что при таком порядке омонимичные падежные формы расположены контактно (ср. такое же объяснение в [25, с. 40]). Последний порядок связан с некоторой контрастивностью в выделении  $D_n$ , однако коммуникативное различие предложений типа (47а) и (47б) невелико. Интересно, что рематизация объекта в предложениях типа (47б) «склеена» с рестриктивным толкованием этого объекта. При этом наблюдается обычная для языка ситуация, когда имеется некая формальная оппозиция (в данном случае оппозиция двух словоупорядков) и язык придает маркированному члену этой оппозиции какие-то дополнительные, например, стилистические, функции (ср. 2.3 и примеч. 9).

(47) а) *ЛIыжьы-м шы-р щIалэ-м и-ри-т-ац* ( $P_n - D_n - D_n$ )

б) *ЛIыжьы-м щIалэ-м шы-р и-ри-т-ац* ( $P_n - D_n - D_n$ ) «Старик (эрг.) дал парню (косв.) лошадь (абс.)»

в) *ЩIалэ-м шы-р лIыжьы-м (лIыжьы-м шы-р) и-ри-т-ац* «Парень (эрг.) дал лошадь (абс.) старику (косв.)».

Предпочтительность порядка  $P_n - D_n - D_n$  сохраняется и при местоименном подлежащем, ср.:

(48) *(Уэ) и гьузгу пыжы-р ди хьу-хэ-м кэ-б-гэ-э-лэ-гьу-ац* «(Ты) новой жизни путь нашему народу дал».

Рассмотрим теперь порядок слов в каузативных предложениях; образование каузатива от транзитива связано с появлением второго дополнения. В каузативной конструкции со сказуемым — каузативом от интранзитива — порядок слов обычно O (= каузируемый) S (= каузатор), ср. (49а). Каузатив, образованный от переходного глагола, имеет две модели управления — (а) и (б). В верхней строке таблицы указывается роль, в нижней — член предложения, который ее выражает:

(а)

Каузатор	Каузируемый	Объект кауз. действия
$P_n$	$D_n$	$D_k$

ср. (49б), каузатив — антипассив

(б)

Каузатор	Каузируемый	Объект кауз. действия
$\Pi_{\Pi}$	$\Delta_{\Pi}$	$\Delta_{\Pi}$

ср. (49в), каузатив — конверсив

(49) а) *ЩIалэ-р фызыжьы-м и-гъэ-кIу-ац* «Парня (абс.) бабушка (эрг.) заставила-уйти»

б) *Дохутыры-м сымаджэ-р хъуцхуэ-м и-ри-гъэ-ф-ац* «Врач (эрг.) заставил больного (абс.) пить лекарство (косв.)» (букв. «Врач больного лекарством напоил»)

в) *Дохутыры-м хъуцхуэ-р сымаджэ-м и-ры-ри-гъэ-ф-ац* «Врач (эрг.) лекарство (абс.) больному (косв.) дал-пить», ср. [23, с. 126].

Итак, при двух дополнениях  $\Pi_{\Pi}$  ставится на первое место, а более нейтральным является порядок, когда  $\Delta_{\Pi}$  предшествует любому другому дополнению. Такая аранжировка дополнений отличает КЧ от других языков, жестко располагающих глагол-сказуемое в конце предложения: в подобных языках нейтральным порядком в предложении с двумя дополнениями является  $\Pi_{\Pi}-\Delta_{\Pi}/\Delta_{\kappa}-\Delta_{\Pi}$  (автор благодарен В. А. Чирикба за сообщение фактов абхазского языка и И. Ф. Вардулу за указание фактов японского языка). Возможно, данное отличие «вынужденное» и объясняется исключительно омонимией  $\Delta_{\Pi}/\Delta_{\kappa}$  и  $\Pi_{\Pi}$  в КЧ.

Подведем предварительный итог. КЧ — язык с жестким расположением сказуемого в конце предложения. Порядки SOV и OSV распределены по-разному в разных подсистемах. OSV преобладает над SOV а) при  $S$  и  $O$ , равных по высокому положению на шкалах (1), (3), (4); б) при  $O > S$  по (1) и др. SOV преобладает в) при  $S$  и  $O$ , равных по их низкому положению на шкалах (1), (3), (4); г) при  $O < S$  по (1) и др. Наиболее часто в естественном языке отображается, как интуитивно кажется, именно последнее соотношение партиципантов, поэтому если определять порядок слов недифференцировано, SOV может оказаться в КЧ статистически преобладающим. При этом, однако, будет потеряна важная типологическая информация.

4.6. OSV — актив или пассив? Положение вещей, в котором пациенс ингерентно «субъектнее» агенса [см. выше б)], для эталонного актива не типично. Язык должен преодолеть здесь своего рода конфликт: семантически приоритетная ИГ получает грамматический (синтаксический) статус, не соответствующий ее высокому положению на шкалах типа (1). Способов преодоления этого конфликта может быть несколько: 1) низкий грамматический (синтаксический) статус соответствующей ИГ специально закрепляется (типичный случай — антипассивизация, когда наименование ингерентно субъектного пациенса получает статус не  $\Delta_{\Pi}$ , а статус ниже  $\Delta_{\Pi}$ , т. е.  $\Delta_{\kappa}$  или  $\Delta_{\kappa}$ ), и тем самым семантическая приоритетность этой ИГ «подавляется»; 2) соответствующая ИГ получает подобающе высокий синтаксический статус (типичный прием — пассивизация: наименование пациенса становится подлежащим пассива), причем за счет понижения статуса агентивной ИГ.

Мы вправе предположить, что в КЧ, в случае б), где  $S < O$ , имеет место именно пассив. Проверим это предположение, причем как для предложе-

ний типа (40), так и для предложений типа (29а), (30а). Если OSV-конструкции в КЧ представляют собой пассивы, то порядок слов в них будет тривиальным.

Существенным свойством подлежащего как особой категории является способность эффективно контролировать кореферентные связи в тексте, в частности, контролировать кореферентные нули и кореферентные (анафорические) местоимения. Универсальная, эмпирически полученная иерархия

(50)  $P_n > P_p > D_p > D_n > D_k \dots$

предсказывает, что при упоминании имени А в тексте денотат А тем скорее будет соотнесен с предупомянутым и/или последующим, чем левее в (50) находится синтаксический ранг А. Приоритетное положение в (50) определяет выбор наиболее экономного кореферентного повтора. Естественно, наилучшим с точки зрения экономии является анафорический нуль, ср. (15в, г). Менее экономно анафорическое местоимение, ср. *Не часто я у памяти в гостях, / Да и она [память] меня всегда морочит* (А. А. Ахматова). Если редуцированный кореферентный повтор не разрешает многозначности, приходится прибегать к полному повтору, ср. *Он перевозчика зовет, / И перевозчик беззаботный / Его за гривенник охотно / Сквозь волны страшные везет* (А. С. Пушкин). Разные языки допускают приоритетный контроль кореферентных связей для разного числа элементов из (50). Рассмотрим ситуацию в КЧ.

(51) а) *Фызыжсьы-м лЫжсьы-р и-гъа-шхэ-ри ∅ кІуэж-ац* «Старуха (эрг.) старика (абс.) накормив, ∅ [= старуха] ушла».

б) *Фызыжсьы-м лЫжсьы-р и и-гъа-шхэ-ри лЫжсьы-р/\* ∅ кІуэж-ац* «Старуха старика накормила (букв. накормив), старик/\* ∅ ушел».

(52) а) *Фызыжсьы-р къакІуэ-ри ∅ лЫжсьы-р и-гъэ-шх-ац* «Старуха (абс.) придя, ∅ [= старуха] старика (абс.) накормила».

б) *Фызыжсьы-р къакІуэ-ри ∅ лЫжсьы-м и -гъэ-шх-ац* «Старуха пришла (придя), старик (эрг.) ∅ [= старуху] накормил».

В (52)  $P_n$  контролирует анафорический нуль, независимо от синтаксического статуса «мишени»;  $P_p$ , как и  $P_n$ , контролирует анафорический нуль (51а), тогда как  $D_p$  этого не делает (51б). Главной чертой пассива является понижение статуса подлежащей ИГ (продвижение какой-то другой ИГ в подлежащие необязательно). Следовательно, мы можем ожидать, что «бывшее» подлежащее, ставшее агентивным дополнением, не сможет контролировать анафорический нуль. Этого, однако, не наблюдается, ср.:

(53) а) *ЩІалэ-р фызыжсьы-м бжэфу и-гъэ-са-ри ∅ лІац* «Парня (абс.) бабушка (эрг.) счету научила (букв. научив), ∅ [= бабушка] умерла».

б) *ЩІалэ-р фызыжсьы-м бжэфу и-гъэ-са-ри цІалэ-р/\* ∅ лІац* «Парня бабушка счету научила, парень/\*∅ умер».

(54) а) *ЦІыху-р уэшхэ-м и-уфІанэцІа-ри ∅ увыІ-ац* «Человека (абс.) дождь (эрг.) облил (букв. облив), ∅ [= дождь] кончился».

б) *ЦІыху-р уэшхэ-м и-уфІанэцІа-ри цІыху-р/\* ∅ ма-кІуэ-ац* «Человека дождь облил, человек/\*∅ побежал».

Таким образом, конструкции с порядком слов OSV в КЧ пассивными не являются.

## 5. Происхождение OSV<sup>13</sup>

5.1. Если обратиться к видовременным различиям в формах глаголов, то выясняется, что распределение порядков OSV и SOV связано с противопоставлением перфектных и неперфектных форм. При прочих равных условиях предпочтительность OSV очевиднее в описании событий, связанных с прошлым; особенно она сильна в предложениях с глаголом-сказуемым в одной из перфектных форм. SOV предпочтительнее при описании непрошедших, незавершенных событий.

Для дальнейшего обсуждения существенно, что в КЧ различаются: презенс, имперфект, футурум, перфект, плюсквамперфект. От форм перфекта и плюсквамперфекта образуются, с помощью суффикса *-гъа*, соответствующие формы отдаленного перфекта (по [25, с. 87], давнопрошедшего совершенного) и отдаленного плюсквамперфекта (по [25, с. 87], преждепрошедшего совершенного).

(55) а) *ЩГалэ-р фызыжьы-м бжэфу и-гъэс-ащ/и-гъэс-ат/и-гъэсэ-гъа-щ / и-гъэсэ-гъа-т* «Парня (абс.) бабушка (эрг.) счету научила (перфект/плюсквамперфект / отдаленный перфект / отдаленный плюсквамперфект)» (OSV, из семи опрошенных пятеро настаивают на этом порядке).

б) *Фызыжьы-м щГалэ-р бжэфу и-гъэсэ* «Бабушка парня счету учит(презенс)» (SOV, из семи опрошенных четверо настаивают на данном порядке).

Ср. также (56), где (56а) оценивается как намного лучший, чем (56б), вариант, а (56) — как вариант, более предпочтительный, чем (56в).

(56) а) *Лы-р хьэ-м и-хь-ащ* «Мясо (абс.) собака (эрг.) унесла (перфект)» (OSV).

б) *Хьэ-м лы-р и-хь-ащ* (тж., SOV; предложение оценивается либо как несколько искусственное, либо как содержащее контрастную рему — субъектную ИГ).

в) *Лы-р хьэ-м е-хь* «Мясо собака уносит(презенс)» (OSV).

г) *Хьэ-м лы-р е-хь* (тж., SOV).

Некоторое подтверждение корреляции между грамматическим видом / временем и определенным порядком слов обнаруживается в родственных КЧ языках. В убыхском и абазинском (В. А. Чирикба, устное сообщение), адыгейском (данные получены от М. Биболетовой, носительницы литературного языка), абхазском (данные получены от Б. Хагуша, носителя бзыбского диалекта) SOV абсолютно преобладает в не-перфекте; в предложениях с глаголом-сказуемым в перфектных формах тип OSV почти так же приемлем, как SOV. Ср. в абхазском:

(57) а) *сэ-пһ<sup>о</sup> s<sup>о</sup>ma faɬ<sup>о</sup>-эк-г'и j-aa-qaɬcaɾ* «Моя-жена приготовит (буд.) какую-нибудь пищу» (SOV)

б) *faɬ<sup>о</sup>-эк-г'и сэ-пһ<sup>о</sup> s<sup>о</sup>ma j-aa-qaɬcaɾ* (тж., OSV), где (57а) существенно предпочтительнее.

(58) а) *сэ-пһ<sup>о</sup> s<sup>о</sup>ma faɬ<sup>о</sup>-эк-г'и j-aa-qaɬca-x'a-n* «Моя-жена приготовила(плюсквамперфект) какую-нибудь пищу» (SOV)

б) *faɬ<sup>о</sup>-эк-г'и сэ-пһ<sup>о</sup> s<sup>о</sup>ma j-aa-qaɬca-x'a-n* (тж., OSV), где (58а) и (58б) признаются примерно равными по приемлемости вариантами.

Более строгая корреляция между порядком OSV и перфектом обнаруживается в языках пано (по текстам в [26]). Вполне вероятно, что подобная же корреляция «ответственна» за правые/левые линейные сдвиги ИГ

<sup>13</sup> В данном разделе проблема возникновения порядка OSV рассматривается с синтактико-типологической точки зрения; никаких попыток конкретной реконструкции здесь не делается.

в шаванте [ср. соответственно (9) с коммуникативно маркированным порядком OSV (предложение с перфектной интерпретацией) и (7) с коммуникативно маркированным порядком SOV (имперфект)]. В качестве рабочего объяснения корреляции между перфектом (плюсквамперфектом) и порядком OSV в языке с глаголом в конечной позиции можно предложить следующее.

5.2. Перфект и плюсквамперфект обозначают некоторое совершившееся в прошлом и предшествовавшее моменту времени  $x$  действие, результаты или следствия которого сохраняются в последующие за  $x$  моменты (для перфекта  $x$  — момент речи). В случае транзитивного (плюсквам)перфекта последствия действия могут, теоретически, сказываться на субъекте и/или на объекте.

В ситуации, соответствующей каноническому транзитивному предложению, имеется участник, который ее полностью контролирует. Для эффективного выполнения этой задачи такой участник не должен претерпевать существенных изменений. Чем больше признаков имеется в семантическом представлении партиципанта, тем меньше вероятность, что описываемое событие сможет радикально изменить их все или хотя бы большинство из них (см. 1.2); многопризнаковость является своего рода «гарантией» стабильности. Иерархии (1)—(4) позволяют предсказать такую относительную стабильность в первую очередь для субъекта (Агенса) канонических транзитивных глаголов. Объект определяется, как правило, через меньшее число признаков, и для него прямое изменение состояния вследствие именно данного события более предсказуемо и/или более очевидно (при этом сохранение исходного состояния можно рассматривать как частный случай изменения).

Перфектная интерпретация некоторой ситуации возникает в том случае, когда в этой ситуации есть участник, на котором сказываются последствия соответствующего события. Высока вероятность, что в транзитивном перфекте результаты будут наиболее очевидны именно для объекта (ср. [27, с. 70]; это, естественно, никак не исключает того, что последствия события скажутся и на субъекте). Для того чтобы оценить последствия события, необходимо располагать данными об исходном состоянии всех или некоторых участников — иначе трудно констатировать изменение их состояния. Таким образом, логично ожидать, что первоначальное состояние объекта является для говорящего или для обоих коммуникантов известным, данным. Трудно представить себе такую ситуацию, при которой состояние было бы известным, а носитель этого состояния — нет. Итак, мы приходим к тому, что объект в (плюсквам)перфекте с частотой, большей, чем случайная, является данным. [Такая трактовка согласуется с интуитивными представлениями носителей языка; по словам одного из наших информантов, (56а) предпочтительнее (56б) потому, что «когда говорят о прошлом, уже знают, что с чем-то что-то делали»].

Статус данного типично коррелирует со статусом темы (как и статус нового — со статусом ремы). Таким образом, в предложениях с глаголом-сказуемым в (плюсквам)перфекте сильноопределенная объектная ИГ имеет много шансов тематизироваться. Типичной позицией темы в языке с глаголом в конечной позиции является абсолютное начало предложения. Ср. в турецком (язык жесткого подтипа SOV):

(59) а) *Yılan kabağ-ı/kabak yedi* «Змея (= тема) тыкву (о пр./неопр., рема) съела» (SOV).

б) *Kabağ-ı/\*kabak yılan yedi* «Тыкву (опр./\*неопр., тема) змея (рема) съела» (OSV).

Таблица 1

Рема в переходных предложениях с глаголом-сказуемым в перфекте/не-перфекте (в процентах от общей выборки; проценты округлены до целых)

Форма глагола	Ремой является			Всего
	только ИГ объекта	только глагол-сказуемое	глагол-сказуемое + ИГ объекта	
Перфект (собств. перфект, плюсквамперфект, отдаленные перф. и плюсквамперф.)	9%	72%	19%	100
Не-перфект	55%	22%	23%	100

Таблица 2

Рема в переходных предложениях, описывающих прошлые, настоящие и будущие события<sup>1</sup> (в процентах от общей выборки, проценты округлены до целых)

Временная отнесенность события	Ремой является			Всего
	только ИГ объекта	только глагол-сказуемое	глагол-сказуемое + ИГ объекта	
Прошлое	42%	43%	15%	100
Настоящее	39%	25%	36%	100
Будущее	15%	48%	37%	100

<sup>1</sup> Статистически наименее надежны данные для будущего, поскольку формы выражения будущего весьма разнородны и часто совмещают темпоральное значение с модальным.

Чтобы проверить предположение об актуальном членении перфекта для КЧ были проведены текстовые подсчеты на материале рассказов. Х. Хавпачева, пьесы Э. Карангушева и стихотворений А. Кешокова [28—30]. Общий объем выборки — 2500 переходных предложений. Работа над текстом велась с информантом. Имеющиеся в нашем распоряжении нестрогие критерии оценки актуального членения (метод вопросов, поиск фразового ударения) позволяют наилучшим образом выявить в предложении не тему, а ремю. Поэтому наша гипотеза была взята в «слабой» формулировке, а именно: в перфекте объект существенно реже является самостоятельной ремой, чем в не-перфекте.

В текстовых переходных предложениях методом вопросов определялась именно рема. Результаты работы показаны в табл. 1, 2. В одном случае перфектные формы рассматривались в противопоставлении неперфектным (имперфекту, презенсу, футуруму), т. е. исходной была грамматическая форма (табл. 1). Во втором случае актуальное членение оценивалось с учетом того, идет ли в тексте речь о прошлых, настоящих или будущих событиях, независимо от формы глагола (табл. 2.) Предложения с ремати-



ческим субъектом были заранее исключены из выборки. (Ср. также данные в [4, с. 89—90]).

Полученные результаты подтверждают наше предположение. В целом они позволяют сделать по крайней мере три следующих вывода: 1) характерной ремой в высказывании является ИГ объекта (а не глагол + ИГ объекта); эта закономерность требует дальнейшей проверки и объяснения; 2) рематический статус ИГ объекта в перфекте значительно ослаблен (по сравнению с другими временами); 3) рематический статус глагола-сказуемого в перфекте значительно повышен. Вторая и третья закономерности взаимосвязаны. Рематизацию глагола в перфекте можно объяснить ненарративностью перфекта (на возможность этого объяснения нам указал И. Ш. Козинский).

Обратимся к характеристикам связного нарративного текста. События, происходящие в реальном мире, постоянно меняются. Относительно неизменными остаются участники этих событий, которые и выступают в качестве своего рода координат при построении связного рассказа. Благодаря относительной устойчивости во времени / пространстве агентивные партиципаны обычно являются «героями» текста — в противоположность неагентивным участникам, находящимся на втором плане, ср. [12, с. 64]. В силу свойств человеческой памяти число «героев» неизбежно ограничено: в предельном случае такой герой в тексте один. Для одного агентивного партиципанта нормально осуществлять в один определенный момент (период) времени только одно действие (будь это не так, истории о необычайной способности Цезаря делать несколько вещей одновременно едва ли поражали бы воображение). Тем самым, эталонный нарративный текст — это рассказ о последовательности из трех или более событий с одним главным, агентивным участником (примером такого минимального текста является *Veni, vidi, vici*). Наименования соответствующих событий не нуждаются в специальном коммуникативном выделении: сам факт их последовательного, т. е. иконичного, перечисления определяет их информационный статус. Состояния (и производные, и производные, часть из которых является следствием перфектных действий) выключены из такого последовательного хода событий: несущественно, предшествует ли им нечто и следует ли нечто за ними. Это означает, что говорящий вынужден специально выделять названия ненарративных (не входящих в линейную последовательность) событий. Способом выделения таких названий является рематизация соответствующих глаголов. Порядок слов, в свою очередь, является удобным формальным средством, позволяющим маркировать нетривиальное актуальное членение высказывания, в частности высказывание со сказуемым в перфекте. В языке с жестким правилом постановки глагола в конечной позиции это может приводить к порядку OSV для перфекта.

Итак, перфектные конструкции в языке SOV могут тяготеть к порядку OSV, мотивированному а) несобственно рематическим и/или значимо частым тематическим статусом ИГ объекта, б) ненарративным характером перфекта, влекущим за собой рематизацию глагола.

5.3. Предположим, что порядок OSV закрепляется и грамматикализуется в перфекте SOV-языка, и рассмотрим следствия такой грамматикализации. Постановка ИГ объекта в крайнюю левую позицию не только ослабляет ее статус как ремы, но и делает ее весьма сильным претендентом на статус темы. Между тем нормальной ситуацией для коммуникативно немаркированной конструкции является совпадение позиций темы и подлежащего. Таким образом, при закреплении объектной ИГ в крайней

левой позиции возникает регулярное несоответствие между типичной темой ( $P_n$ , субъект) и «новой» темой ( $D_n$ , объект). Это противоречие может быть преодолено двумя разными способами.

Первый способ.  $D_n$ -тема приобретает статус подлежащего.  $P_n$  с большой вероятностью теряет подлежащие признаки и может рематизоваться (последнее не является, однако, автоматическим следствием того, что  $D_n$  — тема). Конструкция превращается в подлежащий пассив ( $D_n \rightarrow$  подлежащее,  $P_n \rightarrow$  агентивное дополнение). Этот ход развития подтверждается данными большого числа языков, в которых перфект и пассив коррелируют или «склеены», ср. также [12].

Второй способ. С регуляризацией порядка OSV члены предложения не утрачивают своих грамматических свойств: подлежащее остается подлежащим, дополнение — дополнением. Для устранения противоречия между синтаксическим и актуальным членением язык восстанавливает типичное актуальное членение:  $P_n$  — тема (но с новым линейным расположением),  $D_n$  — рема. Затем конструкция с порядком OSV может грамматикализироваться как единственно возможная. Грамматикализовавшись в «перфектной» подсистеме языка, порядок OSV может а) сохраняться в ней одной, б) выйти за ее пределы, вытесняя конкурирующий порядок SOV. В КЧ в конструкциях с актантами — общими именами — имеет место, видимо, компромисс а) и б).

После грамматикализации OSV возникает необходимость в новых линейно-интонационных средствах выделения (подчеркивания) составляющих высказывания. Ср. коммуникативно нейтральные (29а), (30а) и коммуникативно маркированные (29б), (30б) типы. Порядок SOV начинает служить для рематизации субъекта (29б), (30в) и/или для контрастной тематизации объекта.

## 6. Возможные импликации OSV

Описание языкового типа обычно предполагает выявление присущих ему значимых признаков. Удобным способом хранения информации о типологических характеристиках являются импликации. Импликации OSV можно разделить на две группы: 1) импликации, общие для OSV и SOV как для подтипов «V-конечного» (в англ. терминологии «V-final») типа в параметре порядка слов (о сущности противопоставления V-конечных и V-начальных языков см., например [2, с. 25 и сл.]); 2) импликации собственно OSV. Мы рассмотрим только последние, причем наш анализ будет отличаться от принятого в [3; 20]. В нашем распоряжении нет достаточного количества языков с порядком OSV, а значит, у нас нет возможности ни обобщить в импликациях большой эмпирический материал, ни проверить гипотетические импликации статистически. Поэтому ниже высказываются предположения, основывающиеся, во-первых, на общих закономерностях иерархического устройства языка (см. 4.2), а во-вторых, на рассуждениях о типологически вероятном генезисе OSV (см. 5.2, 5.3). Исследование новых OSV-языков (если таковые вообще обнаружатся) призвано подтвердить или опровергнуть приводимые дедуктивные импликации.

(60) Если в языке порядок OSV преобладает в предложениях со сказуемым в неперфектной форме, то этот же порядок будет преобладать в предложениях со сказуемым в перфектной форме.

(61) Если в языке порядок OSV преобладает в предложениях, описывающих непрошедшие события, то этот же порядок будет преобладать в предложениях, описывающих прошедшие события.

(60) и (61) выводятся на основании наблюдений о корреляции порядка слов OSV с перфектом п шире — с описанием прошлых событий, в первую очередь таких, результаты которых значимо сказываются на объекте (см. 5.2). Если порядок OSV преобладает даже там, где он семантически не мотивирован, то логично ожидать его там, где он семантически оправдан (распространение этого порядка на семантически немотивированные области будет объясняться его грамматикализацией, см. 5.3).

В наших рассуждениях о корреляции между OSV и перфектом принимались во внимание преимущественно референтные и определенные объектные ИГ. Интуитивно кажется, что в естественных текстах нереферентные ИГ должны быть более редкими, чем референтные: коммуниканты чаще обсуждают события, с определенностью локализованные во времени / пространстве, нежели обобщенные события. Конкретная временная и пространственная отнесенность положения вещей в целом предполагает более или менее однозначную идентификацию отдельных участников (всех или хотя бы некоторых) этого положения вещей, а значит, их наименования должны быть референтными. Языку было бы невыгодно «содержать» более редкую, семантически немотивированную конструкцию предложения для нереферентных ИГ и только для них. Это позволяет выдвинуть следующее предположение.

(62) Если в языке порядок OSV преобладает в предложениях с нереферентными ИГ, то этот же порядок будет преобладать в предложениях с референтными ИГ. В КЧ конструкции с нереферентными ИГ имеют порядок слов SOV (см. 4.1.1).

С референтностью именных групп в предложении можно связать и следующую гипотетическую импликацию:

(63) Если в языке порядок слов OSV преобладает в общеотрицательном предложении, то этот же порядок будет преобладать в утвердительном предложении.

С иерархиями (1)—(4) и в особенности с иерархией агентивности (1) связана гипотетическая импликация.

(64) Если в языке порядок OSV преобладает в предложениях с местоименными актантами, то этот же порядок будет преобладать в предложениях с именными актантами. Ср. в связи с этим [1, с. 160].

(65) Если в языке преобладает порядок OSV, то косвенное дополнение в нем будет следовать за прямым.

Нелишне отметить, что в SOV-языках типичен, по-видимому, обратный порядок (сведениями о порядке  $D_{\text{п}}$  —  $D_{\text{н}}$  в тюркских языках мы обязаны А. В. Дыбо и Х. Ф. Исхаковой, в абхазском — В. А. Чирикба). Что касается расположения  $D_{\text{п}}$  и  $D_{\text{н}}$  относительно друг друга, то даже в рассмотренных нами языках оно различается: в хурритском преобладает  $D_{\text{н}}$  —  $D_{\text{п}}$ , в кабардинском  $D_{\text{п}}$  —  $D_{\text{н}}$  (см. 3 и 4.5).

## 7. Причины редкой встречаемости типа OSV в параметре порядка слов

На первый взгляд, причина «непопулярности» OSV как базового порядка слов очевидна: порядок нехорош из-за непосредственного предшествования объекта субъекту. Однако порядок VOS, где объект также непосредственно предшествует субъекту, встречается существенно чаще (например, в языках майя, в малайском, восточнофиджийском). Значит, такое объяснение по крайней мере недостаточно.

Распределение типов словопорядка по признакам «иконичность» и «гармонированности»<sup>1</sup>

	Гармонирование:	
	транз. и интранз. гармонируют	транз. и интранз. не гармонируют
Иконичность (для транз. предл.):		
Порядок иконичен	SOV/SV SVO/SV ? VSO/SV	VSO/VS SVO VS <sup>2</sup> ? SOV/VS
Порядок не иконичен	VOS/VS OVS/VS ? OSV/VS	OSV/SV OVS/SV <sup>2</sup> ? VOS/SV

<sup>1</sup> Первым указывается порядок слов в транзитивном предложении; знаком вопроса помечены реально не зафиксированные типы.

<sup>2</sup> Об этом подтипе см. примеч. 9.

В типичном нарративном тексте ИГ подлежащего значимо часто является темой (ср. [12]). Если ограничить анализ элементарными, коммуникативно или семантически не осложненными двухактантными предложениями, то можно заметить, что наилучшим «кандидатом» на статус ремы будет именно ИГ дополнения (а не глагол или глагол + ИГ объекта); это подтверждается экспериментальными данными (см. табл. 1, 2). Приоритет объекта над глаголом в отношении статуса ремы мотивирован семантически и/или прагматически. Нередко знание объекта позволяет с большой вероятностью предсказать событие, в котором он участвует, — именно как объект — и, соответственно, прогнозировать наименование этого события, т. е. глагол. (Несомненно, верно и обратное: в лексикографическое толкование глагола входит информация о типичных объектах действия, обозначаемого соответствующей лексемой. Однако объекты значимо часто обозначаются именами, события — глаголами; как раз имена отображают сущности, которые мыслятся как устойчивые во времени и/или пространстве. Естественно, удобнее принимать за точку отсчета более стабильную сущность.) Интуитивно кажется верным, что при обсуждении положений вещей с двумя или более участниками, один из которых (агенса) уже известен, коммуниканты чаще стремятся получить информацию о том, кто был претерпевающим ( пациенсом), чем о том, что сделал известный им или предупомянутый агент.

Итак, в транзитивном высказывании ИГ подлежащего типично совпадает с темой, ИГ дополнения — с ремой. Нейтральное актуальное членение интранзитивного высказывания таково: ИГ подлежащего — тема, глагол-сказуемое — рема.

По-видимому, предшествование темы реме (данного — новому, известного, или фонового, знания — сообщаемому, актуализуемому) более иконично, чем их обратное расположение. По признаку расположения темы и ремы типы в параметре порядка слов можно разделить на две

группы: 1) тема перед ремой — SOV, SVO, VSO; 2) тема после ремы — VOS, OVS, OSV.

Иконичное/неиконичное актуальное членение транзитивного предложения может согласовываться либо «рассогласовываться» с иконичным/неиконичным актуальным членением интранзитивного предложения (какое предложение, транзитивное или интранзитивное, мы примем за исходное, здесь безразлично). По признаку гармонирования актуального членения транзитивного и интранзитивного предложений типы, теоретически возможные в параметре порядка слов, также разделятся на две группы: 1) с согласованным актуальным членением (см. левый столбец табл. 3), 2) с несогласованным актуальным членением (правый столбец табл. 3).

Сложение двух признаков позволяет классифицировать типы словопорядков так, как это показано в табл. 3.

По-видимому, большая или меньшая адекватность словопорядка определяется также и тем, контактно или дистантно расположены тема и рема. В неосложненном интранзитивном предложении они всегда расположены контактно, и, вероятно, наилучшим расположением их в транзитивном предложении будет также контактное: два типа предложения будут тогда согласованы и по этому признаку. Этот признак делает наилучшим, т. е. внутренне непротиворечивым, тип SOV, который и преобладает в языках мира.

Если пренебречь реально не зафиксированными порядками, несколько огрубить картину и оценить реальные порядки по трем признакам: (а) иконичность нейтрального актуального членения, (б) гармонирование актуального членения в транзитивном и интранзитивном предложениях, (в) контактное расположение темы и ремы в транзитивном предложении, — то получится следующая иерархия:

(66) SOV > SVO > VOS > VSO > OVS > OSV.

Итак, редкую встречаемость типа OSV в языках мира можно объяснить, во-первых, его неиконичностью, во-вторых, внутренней «рассогласованностью».

### Заключение

Исследование порядка слов дает возможность наблюдать, во-первых, закономерности синтенциального синтаксиса, во-вторых, закономерности актуального членения высказывания. По-видимому, собственно синтаксические функции порядка слов более специфичны, супрасинтаксическое использование порядка слов требует особого внимания к конкретным закономерностям языка: в частности, необходимо учитывать такие особенности конкретных грамматик, как регулярное и даже предпочтительное опущение актантов в предложении (в ряде языков бассейна Амазонки), объектную и субъектную инкорпорацию (при которой соответствующая ИГ, будучи связанной в глагольном комплексе, не имеет самостоятельного позиционного статуса). Вероятно, трактовка некоторых языков как OSV может быть следствием невнимания к названным явлениям. Так, Дербишир и Пуллум даже признают OSV/OVS ареальной характеристикой языков Карибского бассейна и Амазонки. Известно, однако, что порядок слов — сравнительно неустойчивый параметр, в отличие от более стабильной морфосинтактики (инкорпорация), грамматики диатез (пассивизация), грамматически и культурно обусловленных традиций по-

строения связного текста (правила ощущения актантов). Тем самым данные языков, ранее признававшихся OSV-языками (список, данный в [7], был расширен на основании последующей работы с языками Амазонки, ср. [9]), однако конкретных данных о новых OSV-языках пока нет), нуждаются в дополнительной проверке.

Гипотеза об ареальной обусловленности OSV заставляет с особым вниманием отнестись к OSV-языкам Старого Света. Выше в этой связи обсуждались хурритский и кабардинский языки. Для хурритского отмечено некоторое преобладание OSV как контекстно менее маркированного порядка. OSV используется как в предложениях с семантически однородными ИГ, так и в предложениях с ИГ, обладающими разной ингерентной субъектностью. Поскольку в хурритском представлены, помимо OSV, порядки SOV, SVO, VSO, трудно судить о генезисе OSV как преобладающего порядка в этом языке. Кабардинский демонстрирует преобладание OSV над SOV в следующих важнейших случаях: 1) при описании положений вещей с претерпевающим, ингерентно более субъектным, чем воздействующий на него участник ( $S < O$ ); 2) при описании положений вещей, в которых и претерпевающий, и агентивный партиципant обладают одинаково высокой ингерентной субъектностью ( $S = O$ ); 3) в предложениях со сказуемым в форме перфекта или плюсквамперфекта. В иных случаях преобладает порядок SOV.

В языке со сказуемым в конечной позиции порядок OSV, вероятно, возникает и грамматикализуется в перфекте. Особый порядок слов, сопутствующий в ряде случаев перфекту, объясняется отличиями актуального членения перфектных предложений от актуального членения предложений с иными формами сказуемого. Описываемое перфектом событие «выключено» из типичной для нарративного текста цепи событий, последовательно сменяющих одно другое. Такая «выключенность» создает потребность в коммуникативном выделении именно наименования события, т. е. глагола. Так можно объяснить значимо частую рематизацию глагола-сказуемого, и только его, в транзитивном перфекте. Далее, последствия события, описываемого перфектом, очевиднее сказываются на объекте, чем на субъекте, а это закрепляет за объектом перфекта статус данного (для того чтобы судить о новом состоянии партиципанта, надо иметь сведения о его исходном состоянии, а значит, располагать и некоторой информацией о самом носителе этого состояния).

Грамматикализация OSV в перфекте может, теоретически, привести либо к сосуществованию OSV и какого-то другого порядка в разных подсистемах, либо к распространению OSV на абсолютное большинство конструкций данного языка. В последнем случае этот порядок станет «жестким», т. е. будет выражать в первую очередь синтаксические отношения и в значительной степени потеряет «чувствительность» к изменению других значений, см. [31]. Однако такая возможность реально не засвидетельствована. Действительно, среди языков с «жестким» порядком слов есть представители SOV (японский), SVO (английский), VSO (полинезийские), VOS (батакский), но нет — OSV (и OVS).

По-видимому, встречаемость того или иного типа порядка слов зависит от того, иконично ли он отражает следование категорий актуального членения<sup>14</sup>. Тема обычно предшествует реме, данное — новому; поскольку позиции темы и подлежащего совпадают чаще, чем позиции темы и допол-

<sup>14</sup> Ср. рассмотрение иконичности как фактора линеаризации в [32].

нения, порядок S...O кажется предпочтительнее порядка O...S. Редкая встречаемость типа OSV может объясняться, во-первых, нарушением иконичности в расположении темы и ремы, во-вторых, внутренней непоследовательностью (рассогласованностью) типа: порядок OSV в транзитивном предложении неиконичен, порядок SV в интранзитивном предложении иконичен, что создает дополнительное противоречие в языковой системе.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
2. *Haakens J.* Word order universals. N. Y., 1983.
3. *Кибрик А. Е.* Подлежащее и проблема универсальной модели языка // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
4. *Polinskaja M. S.* Word order types: an attempt of a hierarchy // Symposium on language universals / Ed. by Help T. Tallinn, 1987.
5. *Fenk-Oczlon G.* Ist die SVO-Wortfolge die «Natürlichste»? // Papiere zur Linguistik. 1983. Bd. 29. № 2.
6. *Derbyshire D.* A diachronic explanation for the origin of OSV in some Carib languages // Journal of linguistics. 1981. V. 17. № 2.
7. *Derbyshire D., Pullum G.* Object-initial languages // IJAL. 1981. V. 47. № 3.
8. *Pullum G.* Word order universals and grammatical relations // Syntax and semantics. 8. Grammatical relations. N. Y., 1977.
9. *Kakumasi J.* Urubu-Kaapor // Handbook of Amazonian languages. V. 1. / Ed. by Derbyshire D., Pullum G. Berlin; New York; Amsterdam, 1986.
10. *Silverstein M.* Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages / Ed. by Dixon R. M. W. Canberra, 1977.
11. *Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
12. *Козинский И. Ш., Соколовская Н. К.* О соотношении актуального и синтаксического членения в синхронии и диахронии // Восточное языкознание. Грамматическое и актуальное членение предложения. М., 1984.
13. *Падучева Е. В.* О производных диатезах отпредикатных имен в русском языке // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
14. *Гак В. Г., Куанецов С. Н.* О типологии количественной сегментации предметов // Лингвистическая типология. М., 1985.
15. Типология результативных конструкций. Л., 1983.
16. *Comrie B.* Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.
17. *Comrie B.* Tense. Cambridge, 1985.
18. *McLeod R.* Paragraph, aspects and participant in Xavante // Linguistics. 1974. № 132.
19. *Weir E. M. N.* Footprints of yesterday's syntax: diachronic development of certain verb prefixes in an OSV-language (Nadeb) // Lingua. 1986. 68. 4.
20. *Хачикян М. Л.* Хурритский и урартский языки. Ереван, 1985.
21. *Bush F.* A grammar of the Hurrian language. Ann Arbor, 1964.
22. *Speiser E. A.* Introduction to Hurrian. New Haven, 1941.
23. Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. М., 1957.
24. *Кумахов М. К., Шагиров А. К.* Абхазо-адыгские языки // Языки Азии и Африки. Т. 3. М., 1979.
25. *Яковлев Н. Ф.* Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948.
26. *Textos canahua. 1—2.* Lima, 1980.
27. *Comrie B.* Aspect and voice: some reflections on perfect and passive // Syntax and semantics 14. Tense and aspect. N. Y., 1981.
28. *КъардэнгъуцI З.* Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ. Налшык, 1956.
29. *КIыцокъуэ А.* Шум и гъуэгъу. Спиххэмрэ поэмэхэмрэ. Налшык, 1946. С. 17—94.
30. *ХъэгъунацIэ Х.* Фи щэдджыжь фIгуэ. Рассказхэр. Налшык, 1955.
31. *Payne D. L.* Information structuring in Papago narrative discourse // Language. 1987. 63. 4.
32. *Siewierska A.* Word order rules. L. etc., 1988.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

*Studia slavica mediaevalia et humanistica* Riccardo Picchio dicata / Colucci M., Dell'Agata G., Goldblatt H. curantibus. V. I—II. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986. LIX + 841 p.

Рецензируемый сборник посвящен сорокалетию преподавательской и научной деятельности одного из крупнейших славистов современности — Рикардо Пиккио. Статьи, вошедшие в сборник, очень разнообразны по тематике: здесь и конкретные вопросы истории славянских литератур, и частные лингвистические исследования, и обсуждение общих проблем славянских культурных традиций и типологии славянских культур. Это разнообразие отражает в конечном счете единство славянской филологии, взаимозависимость конкретных исследований и общих построений, связь исторических, литературоведческих, текстологических и лингвистических исследований, раскрывающих — именно в своей совокупности — разные, но тем не менее взаимосвязанные аспекты истории славянской культуры. За этим многообразием стоит единство славистики как научной дисциплины, и демонстрация этого единства как нельзя более соответствует научному облику юбиляра.

Действительно, диапазон научных интересов Р. Пиккио не только чрезвычайно широк, но и образует органическую систему, причем эта система и есть славистика в целом. Большое число работ Р. Пиккио посвящено истории отдельных славянских литератур. Он много занимается историей болгарской литературы (начиная с диссертации о творчестве П. Славейкова), посвящает ряд специальных исследований истории польской литературы (Кохановскому, Гурницкому, Мицкевичу), изучает разные периоды истории русской литературы (от Слова о полку Игореве и Повести о Петре и Февронии до Пушкина, Гоголя и Достоевского). Таким образом, славянский мир предстает перед ним в разных своих ракурсах, и это создает основу для глубокого проникновения в типологию славянского культурного развития, для ощущения органического единства лингвистических, литературных и культурных процессов, которые характеризуют разные славянские традиции.

Обобщая разнообразные характерис-

тики этого рода, Р. Пиккио формулирует противопоставление *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Romana* как двух основных типов славянских культурных традиций [1—3]. Эти традиции различаются прежде всего литературным языком: в период средневековья литературным языком *Slavia Orthodoxa* является церковнославянский, тогда как в *Slavia Romana* в этом же качестве функционирует латынь. Церковнославянский как общий литературный язык православного славянства является определяющим фактором литературного процесса в *Slavia Orthodoxa*, это проявляется в постоянной циркуляции литературных памятников между разными славянскими областями, в сложной взаимосвязи национальных инноваций и наднационального единства словесности. Сходные моменты имеют значение и для *Slavia Romana*, хотя латынь создает культурную общность иного характера, нежели церковнославянский, непосредственно вводя славян-католиков в культурные процессы, переживаемые Западной Европой. В этих условиях по-иному определяется соотношение национальной и наднациональной культуры, иначе происходит развитие национальных литературных языков, противопоставленных наднациональному литературному языку средневековья. Таким образом, *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Romana* обладают комплексом специфических характеристик, относящихся и к языку, и к литературе, и к культуре в целом.

Особое внимание уделяет Р. Пиккио специфике *Slavia Orthodoxa*. Отмечая устойчивость сложившейся здесь языковой ситуации (церковнославянский функционирует здесь в качестве основного литературного языка вплоть до XVIII в.), исследователь рассматривает характер функционирования церковнославянского в рамках всего православного славянства [4—6]. Наряду с общей нормой церковнославянского Р. Пиккио указывает на «наборы изонорм», которые определяют «приемлемость» церковнославянского в разных регионах и в разные пе-



риоды, рассматривает взаимодействие общей и локальных традиций в истории церковнославянского. Вместе с тем Р. Пиккио выделяет в церковнославянском консервативную норму, реализующуюся прежде всего в литургических текстах и подвергающуюся сознательной нормализации, и «фактические нормы», в которых отражаются локальные инновации и на уровне которых и устанавливаются те наборы изонорм, о которых было сказано выше.

С характером функционирования литературного языка соотносятся и особенности литературного процесса. В сфере *Slavia Orthodoxa* корпус литургических и библейских текстов оказывается нормопологающим не только для языка, но и для словесности в целом. Для произведений средневековой литературы характерно вообще соединение двух смысловых пластов — буквального и духовного, и это сочетание имеет для себя изначальным образцом смысловую двуплановость Св. Писания, утвержденную многовековой традицией христианской экзегезы. Описывая эту двуплановость в литературных памятниках славянского средневековья, Р. Пиккио вводит понятие «тематического ключа», открывающее существенные возможности для анализа традиционной литературы [7—9]. Таким ключом служат библейские цитаты или другого рода отсылки к сакральным текстам, которые выступают как своеобразные индикаторы духовного смысла произведения. Новые тексты не создают новых смыслов (такая цель чужда средневековой творчеству), а раскрывают тот смысл, который изначально задан избранным образцом — на этот образец и указывают цитаты и аллюзии, играющие роль тематического ключа. Таким образом, ориентация на нормативные сакральные тексты является определяющей как для языка, так и для словесности *Slavia Orthodoxa*.

При наличии смысла, заданного сакральным образцом, индивидуальное авторство, столь важное для современной культуры, не имеет существенного значения. Этим и обусловлена характерная для большинства литературных памятников *Slavia Orthodoxa* открытая текстологическая традиция: переписчики выступают как «редакторы-соавторы», и разного рода преобразования текста (его контаминация с другими текстами, использование в компиляциях и т. д.) оказываются постоянной чертой литературного процесса [10]. Эти принципиальные положения определяют для Р. Пиккио и конкретную технику текстологического анализа, разработке и демонстрации которой посвящены многие работы исследователя.

Данные характеристики языковой ситуации и литературного процесса соотносятся, естественно, с определенным типом культуры. Культурная система, сформировавшаяся в средневековье, обуславливает и многие специфические черты последующего развития. Это относится прежде всего к становлению национальных литературных языков, противостоящих церковнославянскому. Исходная модель такого становления задана полемикой о *Questione della lingua* в итальянском Cinquecento. Попадая на славянскую почву, выработанные в этой полемике понятия (достоинства, нормы и т. д.) получают специфическое содержание; это относится как к *Slavia Orthodoxa*, так и к *Slavia Romana*. Разработка данных вопросов ведется Р. Пиккио с 1960-х годов; его идеи в этой области послужили основой для ряда коллективных работ, существенно обогативших современную славистику [11, 12].

Содержание юбилейного сборника соответствует тому широкому диапазону научных интересов, который выразился в трудах самого юбиляра. Здесь и работы по отдельным славянским литературам, и конкретные лингвистические исследования, и статьи, посвященные принципиальным вопросам текстологии, и труды по истории культуры.

Ряд весьма интересных работ посвящен памятникам древнерусской литературы. Дж. Алиссандратос разбирает житие Юлиана Лазаревской, Дж. Броджи Беркофф дает классификацию эпистолярных памятников, М. Колуччи по-новому строит текстологию „Хожения за три моря“ Афанасия Никитина, Пезаре де Михелис пишет об антипротестантском трактате Ивана Грозного, Г. Ленхофф реконструирует те представления древнерусских книжников об организации повествования, которые стоят за выражением «по ряду», П. Левин анализирует содержание киево-могилянской школьной драмы, Д. С. Лихачев развивает гипотезу о том, что Слово о полку Игореве создавалось для двух певцов, каждый из которых был наделен своей позицией, М. Зелковски рассматривает смену тематических ключей в разных житиях Михаила Черниговского.

Большой интерес представляют и работы по истории польской литературы. Сюда относятся статьи П. Бухвальд-Пелцовой, А. Кадича, Я. Пелца и В. Вайнтрауба о Я. Кохановском, Э. Станкевича о языке и стиле М. Рея, Т. Улевича о литературном портрете сарматизма, И. Влашка о проповедях Скарги. Хотелось бы особо отметить работу А. Валицкого, вскрывающего глубинную общность в идеологии А. Мицкевича и славянофилов (противопоставление органического развития

рациональному, единства большинству, нравственности искусственному закону).

Сборник привлечет внимание и специалистов по южнославянским литературам. Укажу, в частности, на работы Ф. Чале о Марине Држиче, П. Динкова о читателе «Истории славеноболгарской» Паисия Хилендарского, А. Джуровой, которая, анализируя миниатюры Псалтыри Томича, показывает ее связь с Киллифаревским монастырем и Феодосием Тырновским, А. Джамбелуки Коссовой о рукописной традиции Похвального слова св. Кириллу Клименту Охридскому, Кл. Ивановой о значении переводной литературы в истории второго южнославянского влияния, Л. Матейки о соотношении языковой и поэтической системы в устном и книжном творчестве у сербов и хорватов, А. Милтеновой о южнославянских сборниках смешанного содержания.

Ряд напечатанных в сборнике работ представляет существенный вклад в изучение текстологических и лингвистических проблем славистики, и на них я остановлюсь несколько подробнее.

Методологически важной представляется работа М. Капальдо. Автор исследует источники древнеболгарской проповеди-похвалы Иоанну Богослову, приписываемой Иоанну Экзарху («Паки намь...»). Эта проповедь является компиляцией ряда греческих произведений, одни из которых дошли до нас, другие же требуют реконструкции. Сама компиляция была осуществлена, как показывает М. Капальдо, славянским автором, причем в единстве возникшего таким образом намятника проявляется оригинальность «автора-компилятора». Существенны установленные М. Капальдо соответствия между «*tesnica compositiva*» и «*tesnica di traduzione*» (поиск оригинальности в композиции — поиски стилистической оригинальности; воспроизведение источника на уровне микроструктуры — воспроизведение стилистических особенностей источника и т. д.). Предложенные М. Капальдо методы текстологической работы открывают большие перспективы для изучения литературного развития *Slavia Orthodoxa*.

В. Федер сопоставляет три слова о чтении книг из Изборника 1076 г. — является обработкой двух других. Поскольку Слово некоего калугера возникает, видимо, в Преславе X в., два других слова должны были уже существовать в это время. В. Федер указывает, что ряд орфографических особенностей поздних списков этих двух слов восходит к их архаическим протограммам, и этот вывод представляет безусловный интерес с точки зрения языковеда. Вместе с тем су-

ществовавшие в древнейший период данных слов делает вероятным и существование в то же время тех сборников, в которые эти слова устойчиво входят в качестве предисловий — Скалигеровского Протонатерика и Измарагда в 165 главах. Это существенно расширяет наши представления о репертуаре славянских литератур в древнейший период.

Н. Цыгем посвящает свою работу реконструкции славянского жития св. Людмилы на основе русского проложного чтения и латинской легенды *Fuit*. Он показывает, как возникают добавления в проложном чтении сравнительно с *Fuit*, и решает вопрос о том, почему св. Людмила не упоминается в житии св. Вацлава. Пассажи об обучении Вацлава Людмилой автор считает русской интерполяцией. В схеме жития св. Вацлава его матери, Драгомир, вдохновительнице убийства св. Людмилы (по житию св. Людмилы), отводится роль невинной жертвы, в преследовании которой кается св. Вацлав. Отсюда и молчание жития св. Вацлава о св. Людмиле. В то же время русское проложное чтение о св. Вацлаве содержит дополнения, обусловленные необходимостью согласовать его с чтением о св. Людмиле.

Интересной, хотя и спорной представляется статья Х. Голдблатта, посвященная фрагменту о «русских письменах» в Житии Константина. Вслед за Р. Пиккпо автор отмечает, что свидетельства о древнем распространении Жития Константина у южных славян относятся лишь к той его части, где речь идет о славянских миссии. Фрагмент о «русских письменах» Х. Голдблатт считает относительно поздним русским дополнением, связанным с ростом русского национального самосознания. Южнославянские версии этого фрагмента отражают ту оценку русской книжной традиции как древнейшей, которая сложилась в XV в. (Константин Костенечский). В принципе такой радикальный пересмотр сложившихся взглядов вполне возможен, однако однозначных фактических доказательств автор не приводит. Замечу еще, что новое построение требует поздней датировки Сказания о грамоте русской, что также вызывает ряд возражений.

В работе Ф. Томсона указываются греческие и славянские источники двух слов, приписываемых Клименту Охридскому. Использование этих источников с большей вероятностью исключает авторство Климента. В этой связи Ф. Томсон ставит вопрос об общей значимости тех лингвистических и стилистических критериев, которые применяются для атрибуции анонимных сочинений Клименту Охридскому.

Большой интерес представляет и ра-

бота В. Водоса, посвященная Первой Новгородской летописи. Исследуя соотношение старшего и младшего изводов этого памятника, автор указывает, что в них используются разные источники, причем старший извод может быть связан с летописцем Юрьева монастыря, а младший — с деятельностью архиепископской кафедры. Отсюда автор делает ряд общих выводов о роли монастырского летописания в русской историографии.

Перед тем как перейти к лингвистической части сборника. Ряд принципиальных вопросов поставлен в статье А. Наумова. Излагая принадлежащую Р. Пиккио концепцию единого языкового развития Slavia Orthodoxa в раннюю эпоху, А. Наумов указывает на два момента, требующие дополнительного осмысления. Р. Пиккио определяет старославянский язык до его распространения в Болгарии как «язык апостольский», т. е. имевший лишь вспомогательное миссионерское значение и в этом качестве санкционированный Римом. А. Наумов отмечает, что фактически старославянский функционирует в Великой Моравии и Паннонии как сформировавшийся литературный язык и это фактическое положение необходимо учитывать в построении его реальной истории. Второй момент относится к образованию Slavia Orthodoxa. Очевидно, что этот процесс должен быть связан с разделением церквей в 1054 г., однако значение этого события для функционирования церковнославянского остается неуясненным, и в этом плане концепция Р. Пиккио требует дальнейшей разработки.

Большой интерес представляет работа Дж. Дель 'Агаты. Рассмотрение церковнославянского как общего литературного языка православного славянства связано с представлением о свободной циркуляции памятников между разными славянскими регионами. Однако перенесение памятников из одной славянской области в другую нередко было связано с языковыми трудностями, и автор тщательно анализирует разнообразные записи писцов, указывающих на сложности в понимании церковнославянского текста. Этот анализ показывает, что в языковом сознании формировались представления о различии изводов, причем понятия «болгарского», «сербского», «русского» могли включать не только соответствующие редакции церковнославянского, но и соответствующие некиевские языки. Средневековые книжники представляли себе признаки, отличающие отдельные изводы, и могли основываться на этом практику переписывания из извода в извод. Таким образом, единство литературного языка существует при осознании разпородности изводов (прежде всего в орфографии

и лексике). Переписывание-редакция выступает при этом как закономерный процесс, который свмгает трудности коммуникации при перенесении памятника из одного региона в другой и оказывается, следовательно, манифестацией того единства в разнообразии, которое являет литературный язык Slavia Orthodoxa.

Принципиально важной представляется и работа О. Неделкович. Автор начинает с анализа церковнославянского-сербского двуязычия у Г. Стефановича Венцловича, указывая, что в отличие от Вука Караджича Венцлович рассматривает церковнославянский как единственный полноправный литературный язык, а сербский выступает для него как его гармоническое дополнение, служащее прояснению церковнославянских текстов. Как показывает О. Неделкович, «сербский» Венцловича основан на «общем илирийском», нормализованном у хорватов в ходе Контрреформации и воспринятом как готовое койне переселившимися в Венгрию православными сербами. Функционально «сербский» язык Венцловича возникает как ответ на языковую ситуацию в Slavia Orthodoxa в XVI—XVIII вв., когда непонятность церковнославянского для православного населения, его лингвистическая необразованность делали необходимым использование народного языка как вспомогательного средства, призванного сделать церковнославянский доступным. Ранее всего эта ситуация возникает в Литовской Руси, и там она приводит к формированию «простой мовы». Это развитие является прецедентом и для образования «влашского простого языка» в Румынии, и для Венцловича. В дальнейшем результатом подобных же процессов оказывается «славеноболгарский» Паисия Хилевдарского. Во всех этих случаях народный язык не стремился подменить или вытеснить церковнославянский, но должен был служить обновлению церковнославянской образованности, закреплению употребления традиционного книжного языка у православных. Нарисованная О. Неделкович картина проясняет, на мой взгляд, многие аспекты развития *Questione della lingua у славян*. Автор, однако, некритически отождествляет гибридные формы церковнославянского (язык Фр. Скорины, «славеноболгарский» Паисия Хилевдарского) с письменными вариантами народного языка (язык Симона Будного, Василия Тяпинского, «сербский» язык Венцловича и т. д.). Действительно, при всем различии их языкового состава эти языки играли одну и ту же функциональную роль. Это функциональное тождество при различии в структурной организации представ-

ляется весьма значимым явлением, которое следует выделить и объяснить как одну из характерных черт языкового развития *Slavia Orthodoxa*.

Для истории русского литературного языка очень интересным представляется исследование Г. Хюттль-Фольтер. Сопоставляя язык Повести временных лет и Начального свода в составе Первой Новгородской летописи, автор отмечает существенно большую русифицированность первого памятника сравнительно со вторым. Статистические данные говорят при этом не о случайных отличиях, но о сознательной русификации. Эту русифицирующую переработку Г. Хюттль-Фольтер приписывает преп. Нестору и связывает с тем, что под его пером монастырское летописание превращалось в национальную историографию. Этот вывод представляется смелым и значительным, и было бы желательно, чтобы он был подтвержден более широким анализом языкового материала.

Ценные данные содержатся в работе Д. Ворта о новгородских берестяных грамотах. Как и в ряде предшествующих исследований, посвященных берестяным грамотам, Д. Ворт показывает, что статистическое обследование достаточно простых параметров дает весьма содержательные результаты. В рассматриваемой работе содержится подсчет распределения берестяных грамот по годам (он потребовал довольно сложной переработки данных). В этом распределении заметна существенная неравномерность. В частности, резкий спад приходится на период с 1230 по 1270 гг., что исследователь связывает с чумой и татарским нашествием. Резкий взлет падает на 1370-е годы, вопрос о его причинах остается открытым.

Важные наблюдения содержатся в статье Г. Кайперта, посвященной источникам очерка русского языка, написанного В. Е. Адодуровым и опубликованного в приложении к Вейсманову лексикону 1731 г. В числе источников этого очерка оказываются, как показывает автор, латинские грамматики, по которым учились в петербургской академической гимназии — Альвар и «*Grammatica Marchica*». Эти грамматики представляли две традиции изучения латыни — киевскую и немецкую. Они могли быть как непосредственным источником адодуровского очерка, так и (в отдельных случаях) опосредствованными — через грамматику Шванвида, Лудольфа, Смотрицкого. По схемам «*Grammatica Marchica*» строится у Адодурова именная морфология, по схемам Альвара — синтаксис. На зависимость от этих источников указывает не только система изложения, но и примеры, представляющие

собой перевод с латыни. Г. Кайперт показывает, что у Адодурова отталкивание от Смотрицкого (построение нормативной русской грамматики, противопоставленной церковнославянской) соотносится с ориентацией на западноевропейские грамматические образцы.

Работа П. Гарда посвящена отношениям А. С. Шишкова и Н. М. Карамзина. П. Гард указывает, что критика Шишкова не касается собственно языка Карамзина (например, употребления заимствований), но только его стилистики и некоторых калек с французского. Вместе с тем в их позициях много общего — защита национального языка, убеждение в необходимости его употребления в литературе. Исследователь обращает внимание и на постепенное сближение политических взглядов двух авторов. Такой пересмотр полемики архаистов и новаторов несомненно полезен, однако кажется, что он требует более глубокого анализа их лингвистических установок, в частности, общей зависимости Шишкова и Карамзина от концепций европейского туризма (прежде всего французского) и различий в характере приложения европейских построений к русской языковой ситуации.

Отмечу, наконец, очень интересную работу А. М. Шенкера о богемизмах в польском памятнике XIV в. *Kazania świętokrzyskie*. Автор вскрывает большое число не отмеченных ранее богемизмов, относящихся к разным языковым уровням (фонологическому, морфологическому, лексическому, фразеологическому). Отсюда по-новому выясняется роль чешской традиции в формировании польского литературного языка.

Даже из этого краткого обзора видно, насколько разнообразен и интересен рецензируемый сборник. Это и в самом деле достойное приношение Рикардо Пиккио, показывающее плодотворность его идей и соответствующее широте его научных интересов. Сборник демонстрирует высокий уровень современных славистических исследований и несомненно вызовет большой интерес научной общественности.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Picchio R.* O cerkiewnosłowiańskiejej wspólnocie kulturalno-jezykowej // *Sprawozdania z posiedzeń Komisji oddziału PAN w Krakowie*. Kraków, 1962.
2. *Picchio R.* A proposito della *Slavia ortodossa e della comunità linguistica slava ecclesiastica* // *Ricerche Slavistiche*. 1963. T. 11.
3. *Пиккио Р.* Старобългарската традиция и православното славянство. София, 1987.

4. *Picchio R.* Slave ecclésiastique, slavons et rédactions // To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. V. 2. The Hague; Paris, 1967. (= *Janua Linguarum. Ser. maior.* № 32).
5. *Picchio R.* Church Slavonic // The Slavic literary languages: formation and development / Ed. by Schenker A. and Stankiewicz E. New Haven, 1980 (= *Yale Russian and East European publications.* № 1).
6. *Picchio R.* On Church Slavonic isonorms // Slavic linguistics and poetics: studies for Edward Stankiewicz on his 60th Birthday, 17 November 1980. Columbus, 1982 (= *International journal of Slavic linguistics and poetics.* V. 25/26).
7. *Picchio R.* Models and patterns in the literary tradition of medieval Orthodox Slavdom // American contributions to the seventh international congress of slavists, Warsaw, August 21—27, 1973. V. 2: Literature and folklore / Ed. by Terras V. The Hague; Paris, 1973.
8. *Picchio R.* The function of biblical thematic clues in the literary code of «Slavia Orthodoxa» // *Slavica Hierosolymitana.* 1977. V. 1.
9. *Picchio R.* Levels of meaning in Old Russian literature // American contributions to the ninth international congress of slavists, Kiev, September 1983. V. 2: Literature, Poetics, History / Ed. by Debreczeny P. Columbus, 1983.
10. *Picchio R.* Compilation and composition: two levels of authorship in the orthodox Slavic tradition // *Cyrillomethodianum.* 1981. V. 5.
11. Studi sulla Questione della lingua presso gli Slavi / A cura di Picchio R. Roma, 1972.
12. Aspects of the Slavic language question / Ed. by Picchio R. and Goldblatt H. V. 1—2. New Haven, 1984 (= *Yale Russian and East European publications.* № 4).

*Жуков В. М.*

*Gröber B., Müller L.* Vollständiges Wörterverzeichnis zur Nestorchronik. Lf. 1—4. München: Wilhelm Fink Verlag, 1977—1986. XXV + 949 S. (Handbuch zur Nestorchronik / Hrsrg. von Müller L. Bd III).

Доведено до завершения важное научное начинание: Барбара Грёбер и Людольф Мюллер<sup>1</sup> закончили растянувшуюся на десятилетие публикацию Полного словоуказателя Несторовой летописи (далее — ПС).

Нет нужды здесь еще раз говорить о значении Повести временных лет для национальных культур и языков трех восточнославянских народов — русского, украинского и белорусского, тем более что лучше Д. С. Лихачева (см. [2—4]) и не скажешь. Отметим лишь, что к знаменитому источнику, особенно в последнее время, чаще обращаются историки и литературоведы, философы и юристы, а лингвисты (несмотря на несомненные отдельные достижения), к сожалению, реже. Одним из объяснений создавшего

его положения как раз могло служить отсутствие словоуказателя. Не случайно лингвистическое издание источника, лишенное указателя слов и форм [5], принципиально считается несовершенным, а если иметь в виду Повесть (текст протяженностью почти в 50 тыс. употреблений), то ориентироваться в ней без путеводной нити просто невозможно. Теперь ощущавшаяся лагуна заполнена.

Собственно, перед нами даже не первый опыт. О. В. Творогову принадлежит хорошо известная специалистам аналогичная книга [6]. При сопоставлении двух фундаментальных трудов приходит на ум афоризм Теренция: *Si duo faciunt idem, non est idem* («Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же»). Это означает, что отнестись к названным работам в единой рецензии было бы затруднительным делом, — «Лексический состав» О. В. Творогова, исполненный на базе собственных теоретических установок, требует отдельного анализа. Поэтому дальше рассматривается только ПС.

В ПС отражаются все слова начальной части Повести временных лет (включая и Поучение Владимира Мономаха) по шести рукописям — Лаврентьевской (Л),

<sup>1</sup> Западноевропейский русист Л. Мюллер известен славистам прежде всего как исследователь литературного наследия митр. Илариона, Слова о полку Игореве и русского летописания. Ученый много занимался также Вл. Соловьевым и Достоевским, переводил их на немецкий язык. Он является и переводчиком русской поэзии (список работ Л. Мюллера см. в [4]).

Троицкой (Т), Радзивилловской (Р), Московско-Академической (А), Ипатьевской (И) и Хлебниковской (Х). Под начальной (т. е. Несторовой) по традиции понимается та часть текста Повести, которая доведена до записи игумена Сильвестра (а в И и Х до 1116 г.). Лексемы даются в нормализованных написаниях (по принципам Шахматова, см. [7]), но отражаются и варианты. Вслед за Шахматовым составители отказались от некоторых букв. Приводятся грамматические пометы. Описание значений предлагается по-немецки. Если они имеются, приводятся греческие соответствия. Основное содержание статьи, как и следовало ожидать, сводится к перечислению мест нахождения каждого слова, причем отсылки даются к известным двум томам Полного собрания русских летописей (далее — ПСРЛ-I; ПСРЛ-II) [8, 9], к колонке и строке. Такая практика лучше отсылок, например, к листам рукописей, потому что она позволяет охватить все шесть источников и делает возможным оперативное нахождение соответствующей словоформы. Словоформы, кстати, упорядочены по морфологическим признакам. Компактно приведенная разнообразная информация о слове хитроумно закодирована, и беглая расшифровка требует некоторого навыка, но в целом пользоваться справочником легко и удобно.

Чтобы читатель мог составить себе представление о словарной статье ПС, мы воспроизводим образец. Он потребует нам и для демонстрации возможностей обращения к Словоуказателю в лингвистических разысканиях. Структурные части статьи мы поместили слева цифрами в скобках.

(1) (2) (3) ИСТИНА f.

(4) истинна, истин<sup>на</sup>на, истин<sup>на</sup>на, ист<sup>на</sup>на.

(5) (6) Wahrheit — ἀλήθεια.

(7) Adv.: истину, истинно; въ истину — ἀληθῶς; по истинѣ — εἰκότως.

(8) — in Wahrheit, wahrlich, wirklich.

(9) 1.-на; 3.-нѣ; 4.-ну; 5.-ною.

(10) 42, 1; 52, 23; 73, 17; 76, 25z; 87, 6; 92, 5; 111, 10.11; 113, 7.11.19; (135, 16:) 0121, 24; 176, 21; 177, 5; 180, 19x; 197, 21; 203, 8; 212, 15; 243, 29; 264, 8; 266, 10; (285, 7:) 0265, 24 (с. 290—291).

(1) Заголовочное слово в основной форме, согласующееся с нормализованным написанием. Если основной формы в тексте не встретилось или если в нем не представлена «нормальная» орфограмма, то восстановленное заголовочное сло-

во помечается звездочкой. Варианты (например, ист<sup>на</sup>на) приведены на своих алфавитных местах с отсылкой к основной форме слова. (2) Вертикальная черточка отделяет неизменяемую часть слова от изменяемой, и ее не следует смешивать со знаком ударения. (3) При имени существительном указывается род: f.—feminini generis. (4) Орфографические варианты, зафиксированные в рукописях. (5) Перевод значения слова на немецкий язык: описание значений, как правило, осуществляется через перечисление немецких синонимов. (6) Греческое соответствие из тех фрагментов Повести, которые являются переводными. (7) Все возможные пояснения и дополнительные сведения: в данном случае относительно адвербиализации слова<sup>2</sup>. (8) Второе описание значений. (9) Сведения о словоформах: в данном случае цифрами зашифрованы падежи, указаны падежные флексии. (10) Основная часть указателя: отсылки к колонкам и строкам ПСРЛ-I. Буква «x» (например, 170, 19x) показывает, что чтение взято не из основного текста, а из аппарата ПСРЛ-I и ПСРЛ-II; буквой «y» помечается искажения из Ипатьевской летописи, восполняющие Лаврентьевскую рукопись в издании ПСРЛ-I; литера «z» указывает на чтение из аппарата ПСРЛ-II и из Т. Заключенными в скобки цифрами [например, (135, 16:)] и ифрами, начинающимися с нуля (например, 0265, 24), соотносятся отсутствующие фрагменты текста в ПСРЛ-I с существующими фрагментами в И или Х.

Естественно, отталкиваясь от примера, мы разобрали аппарат применительно лишь к конкретному слову, — в целом он намного превосходит приведенные нами сведения. Достаточно сказать, что пояснения занимают в ПС целых 25 страниц. Не приходится поэтому сомневаться во всеохватности и детальной продуманности исследовательского подхода.

Любой словоуказатель, в том числе и ПС, ценен не сам по себе, а как инструмент для исследовательской деятельности, поэтому мы опробовали его в работе. Словоуказатель универсален, но конкретный исследователь предъявляет к нему конкретные требования.

Автора рецензии интересует генезис философской лексики в русском литературном языке (см. [10]), а философская терминология широко представлена

<sup>2</sup> Б. Грёбер и Л. Мюллер имеют в виду лишь функциональную адвербиализацию, а О. В. Творогов считает ее завершившейся и лексически, поэтому у него «воистину» и «поистинѣ» пишутся слитно и различаются по своим алфавитным местам как самостоятельные слова.

в многочисленных исповеданиях/символах веры, сохранившихся в древнерусской книжности. Одно из подобных исповеданий воспроизведено в Повести временных лет (как раз под знаменательным 988 г.). Речь идет о наставлении, которое, по летописи, было предано великому князю Владимиру после корсунской купели, — «вѣрую въ единого бога отца нерожена, и въ единого сына рожена»<sup>3</sup> и т. д. (в ПСРЛ-1 колонки 112—113). Слово Владимира — серьезный и сложный трактат, имеющий, несмотря на богословское содержание, немало рационального. В нем, скажем, поднимается вопрос достоверности знания, т. е. затрагивается гносеологическая проблематика.

Ключевая для обсуждения достоверности лексема *истина* представлена в трактате трижды, что и нашло свое отражение в ПС (113, 7.11.19). Ср. контексты: 1) «изиде богъ воплощенъ, /.../ приимъ рабий зрѣкъ, истинюу, а не мечтаньемъ»; 2) «волею бо родися, /.../ волею умре. истинюу, а не мечтаньемъ»; 3) «приступаю къ пречистымъ тайнамъ, вѣрую во истину тѣло и кровь». Исповедание Владимира, как известно, представляет собой перевод либеллия знаменитого византийского писателя Михаила Синкелла (Иерусалимского), так что в греческом соответствии имеем: 1) *προσλαβὼν τὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν ἀληθεῖα οὐ φαντασίᾳ*; 2) *ἐκὼν ἐπέθανεν, ἀληθῶς καὶ ἀφαντασίᾳ τῶς*; 3) *πιστεύων αὐτὰ ἀληθῶς εἶναι σῶμα καὶ αἷμα*.

В силу зависимости древнерусского текста от греческого семантической анализ лучше начать с лексемы *φαντασία*. Восходя к глаголу *φάνω* «казаться», представляться (органам чувств), *φαντασία* в терминологическом патристическом смысле, по словарю Ламше, — это *unreal appearance, illusion*, а отсюда, между прочим, и более конкретно *vision in a dream*. Эта сема, по Срезневскому, характерна и для лексемы *мѣчтаніе*, и его материалы ясно показывают, что значение «видение, воображение» есть не что иное, как семантическая калька, потому что в качестве подтверждающих примеров лексикограф приводит выписки исключительно из переводной словесности.

Так как *истина* противительным союзом поставлена в антонимичные отношения к лексеме *мечтанье*, надо думать, что перед нами кардинальное гносеологическое разграничение: то, что не

имеет реального бытия, хотя и имеет субъективное существование, — это *мечтанье* — *φαντασία*, а то, что действительно, объективно существует, — это *истина* — *ἀλήθεια*.

Для того, чтобы удостовериться в терминологическом употреблении слова *истина* в Исповедании веры князя Владимира, чтобы надежно судить о специфике смысла русского слова в переводном тексте, надо посмотреть, как оно ведет себя в качестве одного из контекстов, т. е. там, где отнюдь не обсуждаются гносеологические темы. И здесь Полный словоуказатель Б. Грёбер и Л. Мюллера служит добрую службу: достаточно обратиться к приведенной выше статье, чтобы получить толчок для дальнейших разысканий, потому что в ней сообщается, где еще можно встретить лексему.

Ряд контекстов для семантических выводов непоказателен, но все же вполне возможны и такие выписки, которые позволяют высказать уверенное суждение. Ниже мы их приводим, продолжая общий счет примеров.

В статье 945 г. говорится о клятве, которой скрепляется договор: 4) «на роту идуть хранити истину, яко мы свѣцахомъ» (52, 23). И относительно договора 971—972 гг. Святослав, согласно летописи, заверил греков: 5) «се же имѣйте во истину, якоже /.../ написхомъ на харати сей» (73, 17). В обоих случаях предусматривается возможность нарушения договора.

Статья судьбоносного 988 г. особенно велика. Здесь, в частности, сообщается о глазной болезни, которая постигла Владимира под Корсунью. Царевна Анна обещает, что, крестившись, князь избавится от недуга. Владимир, однако, принимает ее слова не без сомнения: 6) «да аще истина будет, то по истинѣ великъ богъ будет хрестяевскъ» (111, 10.11).

Из статьи под 1071 г.: обличая трюки волхвов, Янь Выпятич говорит им: 7) «по истинѣ лжа то» (176, 21); 8) «по истинѣ прельстиль вас есть бѣсъ» (177, 5). Здесь истина отчетливо противопоставлена явной лжи.

Под 1091 г. рассказывается о пророчестве Феодосия Печерского Марье, жене Яня: 9) «по истинѣ идѣже лягу азъ, ту и ты положена будещи» (212, 15), что и сбылось.

Наконец, в повествовании об ослеплении Василька Теревольского несчастный князь говорит о себе: 10) «и аще мя вдасть лихом, не боюся смерти, но се повѣдаю ти по истинѣ» (266, 10).

Если в контекстах (1—2) лексеме *истина* противопоставляется *мечтанье*, то в контекстах (6, 9—10) *истина* противопоставляется лексеме *лжа*, т. е. сознательному

<sup>3</sup> В настоящей рецензии рассматриваются лексикологические вопросы, так что нет необходимости давать текст так, как он издан в ПСРЛ-1. Воспроизводим его по изданию О. В. Творогова [11].

утаиванию, искажению правды в словах и высказываниях неискреннего человека. Остальные контексты (4—5, 7—8) скорее наводят на мысль, что истина противостоит усугубленной лжи — обману, вероломству. Короче говоря (в краткой рецензии приходится опускать звенья доказательства), в контекстах (4—10) *ист* на выступает не как гносеологическая, а как этическая категория.

Остается сказать, что данное небольшое исследование оказалось возможным лишь благодаря наличию ПС. Замечательный справочник открывает большие перспективы для лингвистических разысканий.

Высоко оценивая рассматриваемый труд, одновременно хотелось бы высказать и один упрек. Жаль, что составители отказались от орфограмм ПСРЛ-I, т. е. от глубоко мотивированных написаний Е. Ф. Карского. Так, для лингвиста важно показывать разницу между *ia* и *a*, поэтому употребление единой литеры *a* по большому счету не может удовлетворить. Надо было бы сохранить, вслед за Карским, и полулежачее *e*, а также *ъ* вместо *ь* и диграф *ou*, равно как и лигатуру *ѡ*. Сейчас ПС указывает множество орфографических вариантов, но все же немалое их число упускает, потому что упрощения смазывают картину. Примечательно, что эти упрощения во Введении просто декларируются, но никак не обосновываются.

«.. РадуетсА купецъ прикупъ створивъ. и кормьчи в отищѣ приставъ и странник въ очьство свое пришед. також радуетсА и книжьвѣ и списатель. допед конца книгам...». Эти чеканные слова, которыми «Лаврентей мних» завершает свой труд<sup>4</sup>, составители ПС могли бы по праву обратиться к самим себе.

<sup>4</sup> Цитируем по изданию Карского.

*Верецагин Е. М.*

1. Müller L. Schriftenverzeichnis (Skripten des Slavischen Seminars der Universität Tübingen. № 26). Tübingen, 1987.
2. Повесть временных лет. Ч. 2: Приложения / Ст. и коммент. Лихачева Д. С. Под ред. Адриановой-Перетц В. П. М.; Л., 1950.
3. Лихачев Д. С. «Повесть временных лет» // Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975. С. 22—111.
4. Лихачев Д. С. Первое произведение по истории Древней Руси // Рассказы Начальной русской летописи. М., 1982.
5. Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности / Сост. Князевская О. А. при участии Коткова С. И. М., 1961. С. 62—63.
6. Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет» (Словосказатели и частотный словарь). Киев, 1984.
7. Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. I: Вводная часть. Текст. Примечания. Пг., 1916.
8. Полное собрание русских летописей, издаваемое постоянною Историко-археологической комиссией АН СССР. Т. I: Лаврентьевская летопись. Вып. 1: Повесть временных лет. 2-е изд. Л., 1926.
9. Полное собрание русских летописей, изданное.../ Археологической комиссией. Т. 2: Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908.
10. Верецагин Е. М. Терминотворчество Кирилла и Мефодия // ВЯ. 1988. № 2.
11. Повесть временных лет / Подгот. текста Творогова О. В. // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII в. М., 1978. С. 22—276.

**Noun classes and categorization.** Proceedings of a symposium on categorization and noun classification, Eugene, Oregon, October 1983 / Ed. by Craig C. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing company, 1986. 481 p. (Typological studies in language. V. 7).

Издаваемая с 1982 г. в качестве непериодического приложения к журналу «Studies in language» серия типологических исследований пополнилась в 1986 г. томом, посвященным широкому спектру вопросов, касающихся именных классификаций в естественных языках.

Выход этой книги, как и проведение специального симпозиума по проблемам «классологии», — факт знаменательный, свидетельствующий о стойком интересе

к данной проблематике. Предыдущая аналогичная конференция состоялась в Эксан-Провансе в 1967 г. [1]<sup>1</sup>, и по своему

<sup>1</sup> Обсуждение проблем именных классов состоялось также в рамках совещания по теме «Распространение банту» (Бивье, 1977), но применительно лишь к так называемым граффильдским языкам (Камерун) [2].



тематическому профилю она существенно уступает Орегонскому симпозиуму. И дело не только в том, что там обсуждение ограничивалось африканскими языками, а здесь охвачены языки всех континентов. Более глубокие различия кроются в общей теоретико-методологической ориентации, отражающей, несомненно, не только актуальные устремления частных лингвистических дисциплин, но и состояние теоретических размышлений в лингвистике в целом. Сопоставление этих двух довольно далеко отстоящих во времени изданий не должно наводить на мысль, будто в двадцатилетний промежуток ничего существенного в этой области не появлялось. Напротив, объем публикаций нарастал, становились известными новые системы именных классов (что особенно заметно в африканистике), а начавшийся в 60-е годы стремительный взлет типологии придал новую актуальность теме именных классов. Рецензируемая книга — своего рода итог типологического исследования последнего десятилетия, но отнюдь не последнее слово<sup>2</sup>.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с этим трудом, это «вложенность» даже конкретных вопросов по отдельным языкам в широкий теоретико-типологический контекст, преобладающая ориентация исследований — когнитивная и историко-типологическая. Примечательны заключительные слова вводной статьи, в которых К. Крейг выражает надежду, что эта книга привлечет внимание в первую очередь специалистов по когнитивной психологии, интересующихся классификационной деятельностью разума. И такое пожелание — не случайная прихоть редактора и одного из авторов, а естественные поиски синтеза разных подходов к исследованию одного феномена.

Попыткой этого синтеза является и сама обсуждаемая книга, что выразилось между прочим в участии наряду с лингвистами также психологов, но главным образом — в особом внимании к проблемам категоризации, которым посвящен первый раздел книги (авторы этого раздела Дж. Лакофф, М. Познер, Б. Тверски, Т. Гивон) и которые в той или иной мере затрагиваются в остальных разделах. Вообще надо отметить, что здесь, пожалуй, впервые эксплицитно сведены к одному знаменателю разнообразие виды классификаций: грамматические си-

стемы рода и класса, системы классификаторов (нумеративов) и счетных слов, так называемые народные таксономии и естественные классификации. Удивительно, однако, не то, что это произошло, а то, что это не произошло десятилетием раньше.

Концептуальной основой единого подхода к различным видам классификаций послужила теория прототипов, в психологии связываемая с именем Э. Рош, а в лингвистике — с именем Дж. Лакоффа. Именно вокруг проблемы прототипов и прототипических свойств категорий разворачивается дискуссия, содержащаяся в I разделе книги. Полагая, что теория прототипов представляет собой компромиссное истолкование категоризации, лежащее между двумя полярными подходами (платоновским и витгенштейновским), Т. Гивон доказывает ее эффективность применительно к метафорическим явлениям в грамматике (включая и самый факт грамматикализации) на примере транзитивности и трех типов речевых актов.

В трактовке Т. Гивона наиболее яркой и существенной чертой прототипичности является ее градуированность, т. е. возможность измерения. Но именно против такого «вычислительного» понимания прототипов высказывается Дж. Лакофф, видящий в классификаторах факт, противоречащий этому пониманию (с. 50). Как явствует из его типологии прототипов (типические примеры, социальные стереотипы, идеалы, образцы), его трактовка опирается на образный характер прототипа. Эти расхождения в трактовках прототипов были, по-видимому, справедливо оценены М. Познером как внешне противоречащие, но внутренне дополнительные, так как, по его мнению, понятие прототипа включает обе указанные характеристики и еще ряд прочих (с. 59).

Обсуждение теории прототипов дополняется обсуждением уровней категоризации, в связи с чем Б. Тверски указывает на экспериментально выясняемую предпочтительность базисного (в смысле Э. Рош) уровня в качестве уровня референции. Именно он наиболее информативен в сравнении с супер- и субкатегориальным (например, наибольшее количество свойств испытываемые указывали применительно к яблокам, а не к фруктам вообще или к сортам яблок). Несомненно, в том или ином распределении информативности по категориальным уровням находит отражение знание о мире, чем и объясняются, к примеру, различия в категоризации (концептуальной классификации) между городскими и сельскими жителями, проявляющиеся в структуре народных таксономий и в номинализации базисного уровня. Так,

<sup>2</sup> Особого обсуждения заслуживают вышедшие несколькими годами раньше (и никак не отраженные в рецензируемой книге) исследования кельнской типологической группы, руководимой Г. Зайлером, см. [3].

в сельской таксономии *дуб* принадлежит к базисному уровню, в городской же базисный уровень представлен понятием *дерево* (с. 67).

Исследование народных таксономий имеет довольно давние традиции (достаточно вспомнить работы Г. Конклина, Б. Берлина, М. Мэтют, в более поздние годы работы французских африканистов Ж. Тома, П. Рулон и ряда других), однако это была особая линия лингвокультурологических исследований, проводившихся в рамках «культурной антропологии» и практически не связанных с изучением грамматических классифицирующих категорий. Тем заметнее интересная попытка Д. Зубина и К.-М. Кёнке рассмотреть индексальное соотношение грамматической и лексической категоризации на примере рода и народной таксономии в немецком языке. Сделанное ими впечатляющее наблюдение относительно резкого преобладания имен мужского и женского родов на базисном уровне и имен среднего рода — на суперкатегориальном (с. 173) наводит на размышления в аспекте естественной морфологии, однако в должной мере эти наблюдения будут типологически оценены после проведения аналогичных исследований в других языках.

Эта статья входит уже в следующий раздел (II. Типологическое варьирование именных классификаций), где, помимо статей Р. М. У. Диксона о типологии классификативных систем и Д. Пейн об именной классификации в ягуа (Перу) имеются еще две работы, останавливающие внимание своей необычностью в типологическом контексте именных классификаций. Одна из них — это краткое сообщение Н. Руда о графемных классификаторах в египетской иероглифике и месопотамской клинописи — тема, совершенно ускользнувшая из поля зрения типологов. Другая — исследование Т. Сапалы о системе классификаторов в американском знаковом языке немых (которые называют его сокращенно Ameslan), в котором автор усматривает разительный параллелизм с классификативными системами звукового языка. Это тем более примечательно, что английский язык, субститутом которого служит Ameslan, не имеет классификаторов в обычном смысле этого слова.

Что касается типологии классовых систем, то Р. Диксон говорит главным образом о противопоставлении именных классов (включая родовые системы) и классификаторов: первые — грамматичны, более компактны, немногочисленны, образуют закрытые грамматические системы, допускают минимальное варьирование; вторые — лексичны, более размыты, многочисленны, образуют незакрытые

системы (т. е. классификатор способен употребляться как polisynchicное слово), допускают широкое варьирование в зависимости от стиля и формы речи.

В целом эти различия, как говорится, лежат на поверхности, но даже оперируя столь ясными характеристиками, следует помнить, что жесткая типологизация может оказаться неоправданной, ибо в языках встречаются самые неожиданные комбинации признаков. Так, в известной типологии К. Аллена [4] различались два основных типа классовых языков — языки с числовыми классификаторами и языки с согласовательными классификаторами, и материал многих языков хорошо укладывался в эту схему. Однако упомянутая статья Д. Пейн ясно показывает, что ягуа не поддается однозначному отнесению его к одному из типов, представляя собой смешанный тип, где есть и согласование, и классификаторное оформление числовых выражений.

Диксон как будто также склонен решительно разграничивать именные классы и классификаторы, хотя и допускает возможность развития первых из вторых, что, казалось бы, должно влечь за собой признание возможного переходного состояния без явной выраженности того или иного типа. Во всяком случае, великодушная статья М. Митун дает основания для такого предположения, демонстрируя постепенное перерождение инкорпорационных комплексов «имя + глагол» в словоформы с инкорпорированными классификаторами. Автор указывает в заголовке на конвергенцию классификативных систем, подчеркивая тем самым принципиальное генетическое различие между прототипическими и инкорпорированными системами классификаторов, подкрепляемое различиями функциональными: главное назначение инкорпорации изначально состоит в том, чтобы квалифицировать глагол, а не имя. Будучи внереферентными, инкорпорированные имена (а позже — разившиеся из них классификаторы) сужают предметную сферу глагола-хозяина (с. 379).

Можно было бы согласиться с антитезой двух классификативных типов, отстаиваемой М. Митун, если бы мы располагали беспорной и однозначной функциональной трактовкой прототипических классификативных систем. Но вот что интересно: П. Денни, обсуждая квантифицирующую и классифицирующую функции классификаторов, выдвигает объяснение их природы, также ориентированное на предикат. В своей квантифицирующей функции классификатор выражает сортность аргумента при имени, трактуемом как предикат; в своей классифицирующей функции он обеспечивает экспектации относительно глагола, кото-

рый должен последовать: классификатор настраивает слушающего на определенный тип (сорт) глагола (с. 302). Эта трактовка сходна с трактовкой инкорпорационных классификаторов у М. Митун, но, в свою очередь, вступает в противоречие с другим пониманием категории имени, согласно которому его прототипической характеристикой является категоризирующее начало, включенность в него понятия «рода», наряду с субстантивными понятиями «вещь» или «лицо», — в отличие от предиктирующих категорий, в частности, прилагательного [5].

Следует, однако, отметить, что при возможной дискуссионности положений обоих авторов бесспорным их достоинством является нечастое пока обращение к дискурсивной перспективе при обсуждении семантических и функциональных свойств классификаторов. Р. Диксон сделал важное наблюдение о соотношенности типа классификации с определенной предпочтительной организацией дискурса. Так, язык дьирбал (австралийский язык с именными классами) отличается заметной экономией средств в речи и широким использованием эллипсиса, тогда как соседний язык йидини (с классификаторами) выделяется педантичной полнотой дискурса (с. 109).

Эта линия рассмотрения прослеживается в ряде других статей, входящих вместе со статьей П. Денни о семантической роли классификаторов в раздел IV «Семантические и прагматические функции классификаторов»: П. Хопер, чьи прежние, совместные с С. Томпсон работы немало способствовали углублению прототипической трактовки языковых категорий, специально останавливается на дискурсивных функциях классификаторов в малайском языке, доказывая, что классификативность — пример чисто именной морфологии (т. е. близкой к прототипическим характеристикам имени). А. Л. Беккер на примере конкретного текстурального анализа показывает значимость одного из бирманских классификаторов (личностного). П. Даунинг обрисовала анафорическое употребление классификаторов в японском.

Этот раздел вместе с разделом III «Семантические признаки классификаторов» образует ядро книги. Статьи К. Крейга о классификаторах в хакальтекском языке (Гватемала) и К. Адамс об аустроазиатских классификаторах вскрывают важный параллелизм семантических принципов именных классификаций, хотя внешне хакальтекский классификативный строй поражает своеобразием, различая подсистему классификаторов социального взаимодействия и подсистему физического и функционального взаимодействия. И вновь реальность языка вносит кор-

рективы в излишне жесткие формулы: в теории естественных классификаций К. Адамс и Н. Конклин [6] утверждает невозможность одновременного действия принципов ранжирования по социальным параметрам и по родственным отношениям (принцип «или — или»), а в хакальтекском языке представлены как раз оба вида классификации (принцип «и — и»).

Важным в историко-типологическом отношении представляется факт неклассифицируемости в этом языке некоторых имен, в частности, локативов (с. 273). Известно, например, что в языках банту локативные классы по ряду признаков решительно отличаются от прочих, образуя до сих пор не решенную загадку исторической бантуистики. В третьей статье этого раздела — П. Денни и Ч. Крейдера о семантике именных классов в протобанту (статья, вмещающей уже собственную десятилетнюю историю) — локативы, разумеется, не рассматриваются. Авторы сводят семантические противопоставления классов к классификации по «родам» (люди, животные, растения, фрукты, артефакты) и по конфигурации (по фигуре или по очертаниям, далее по растянутости — нерастянутости), т. е. фактически по тем же признакам, которые К. Аллен устанавливал для различных классификаторных систем и которые фигурируют в описании К. Адамс, а также в последующих статьях по китайскому и тайским языкам.

Обращение к протобанту переводит дискуссию в плоскость истории, чему посвящен раздел V «История и усвоение детьми систем классификаторов», где, кроме уже обсуждавшейся статьи М. Митун, представлены работы: М. Эрбо о развитии китайских классификаторов в истории языка и в речи ребенка, С. Деланси об истории тайских классификаторных систем, К. Демит, Н. Фаракса, Л. Марчиза о нигеро-конголезских именных классах и согласовательных системах в онтогенезе и в историческом изменении. Статья С. Деланси перекликается со статьей М. Митун, демонстрируя историческое развитие имен в термины классов и далее в классификаторы и возникающий при этом категориальный континуум от чистого имени до чистого классификатора.

В двух других статьях этого раздела мы видим не такое уж частое в «классологии» обращение к психолингвистическим факторам с целью прояснить историческое развитие классификативных систем. В целом опора на свидетельства детской речи при обсуждении семантики и функций классификаторов себя оправдывает (ср. [7]), но наблюдающееся иногда стремление чуть ли не отождествить онтогенез и глоттогенез вызывает естественную настороженность. В содержательной статье

трех авторов имеется одно наблюдение, предполагаемые диахронические импликация которого трудно принять.

Авторы отмечают более раннее появление и более последовательное использование назальных классов (1, 3, 4, 6) в детской речи на сесото (язык банту), чем неназальных, т. е. не имеющих классного префикса с назальной фонемой (в языках банту это *m*- с последующей гласной или без нее). Можно ли эту онтогенетическую особенность представить в виде глоттогенетической тенденции? Едва ли. Во всяком случае, это далеко не очевидно. Проблема назальных классов занимает особое место в исторической бантуистике и бантоидологии, появление назального префикса считается сугубо бантуской инновацией, позволяющей отличить эти языки от их ближайших родственников в составе бенуэ-конголезской семьи (обстоятельный обзор соответствующей проблематики с обсуждением некоторых версий диахронического порядка см. в [8]). Поэтому слишком ненадежно полагаться только на факты онтогенеза, которые, кстати, сами требуют перепроверки и которые в данном конкретном случае могут отражать не столько детскую грамматику, сколько фонетическую универсалию детской речи, согласно которой, по Р. О. Якобсону, назально-вокалический комплекс принадлежит к наиболее рано появляющимся элементам звукового репертуара.

Подводя итог далеко не исчерпывающего обзора нового труда американских лингвистов, следует подчеркнуть его большой вклад в теорию и типологию именных классификаций, дополняемый информативно важным расширением фактического диапазона благодаря привлечению новых данных.

Вместе с тем эта книга вскрывает новые горизонты (новые, разумеется, в относительном смысле) ждущих решения проблем, связанных уже не столько с возникновением и расцветом классных

систем, сколько с их вырождением, сопровождающим процессы пиджинизации, умпрания языка или вообще интенсивных и широких языковых контактов. Более внимательное изучение этой стороны жизни классификативных систем способно, видимо, дать новые аргументы и для дискуссий, отраженных в рассмотренной книге.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. La classification nominale dans les langues négro-africaines. P., 1967.
2. Les classes nominales dans le bantou des Grassfields // L'expansion bantou. [V. I] / Ed. par Hyman L. M., Voorhoeve J. V. P., 1980.
3. Apprehension: Das sprachliche Erfassen von Gegenständen. Tl I: Bereich und Ordnung der Phänomene / Hrsg. von Seiler H., Lehmann Ch. Tübingen, 1982; Tl II: Die Techniken und ihr Zusammenhang in Einzelsprachen / Hrsg. von Seiler H., Stachowiak F.-J. Tübingen, 1982.
4. Allan K. Classifiers // Language. 1977. V. 53. № 2.
5. Wierzbicka A. What's in a noun? (Or: How do nouns differ in meaning from adjectives?) // Studies in language. 1986. V. 10. № 2. P. 371—372.
6. Adams K. L., Conclin N. F. Toward a theory of natural classifications // Papers from the 9th regional meeting of the Chicago linguistic society. Chicago, 1973. P. 3.
7. Клаарк Е. В. Универсальные категории: о семантике слов-классификаторов и значениях первых слов, усваиваемых ребенком // Психолингвистика. / Сост. и ред. Шахнарович А. М. М., 1984.
8. Hyman L. M. Reflections on the nasal classes in Bantu // Noun classes in the Grassfields Bantu borderland / Ed. by Hyman L. M. Los Angeles, 1980.

Виноградов В. А.

Именные классы в языках Африки / Отв. ред. Охотина Н. В. М.: Наука, 1987. 241 с.

Коллективная монография сотрудников сектора африканистики Института языкознания АН СССР посвящена фундаментальной для африканского языкознания проблеме строения именных классификаций, взятой в разных ее аспектах. К достоинствам монографии следует отнести следование традиции в сочетании с поисками новых подходов, обширность при-

влекаемого впервые материала, точность и полноту описания. Некоторые вопросы, поднятые в монографии, выходят за рамки африканистики и представляют общелингвистический интерес.

Первая и самая значительная по объему глава «Корреляция классов в языках банту» (автор — И. Н. Топорова) содержит тщательно выполненное формальное

описание корреляций именных классов в языках банту по числовому и оценочному признакам. Опираясь на предшествующие исследования (начиная с К. Майнхофа), И. Н. Топорова вводит дополнительный материал и делает следующий шаг в разработке классического вопроса африканистики. Для каждого из 22 классов приводятся с примерами все возможные для данного класса модели корреляций (одночленные и многочленные), дается их характеристика по степени регулярности и представленности в языках банту, оцениваются корреляционные возможности класса в целом. Компактное и полное описание позволило выявить типологические закономерности, например: «Четыре класса в банту коррелируют лишь по числовому признаку... В языках банту нет ни одного класса, который бы коррелировал с другими классами только по оценочному признаку» (с. 70).

Опыт систематизации классов корреляций, предпринятый И. Н. Топоровой, заслуживает высокой оценки. Одновременно он вызывает вопрос о дальнейших перспективах в исследовании данной темы. Для типологических обобщений автор пользуется формальными понятиями, принятыми в 60-е годы. Теоретико-множественная сумма (общее количество классов, с которым хотя бы в одном из языков банту коррелирует данный класс) и теоретико-множественное произведение (классы, с которыми имеется обязательная корреляция во всех языках банту) служат основой типологических обобщений, обращенных скорее к метаязыку, чем к самим языковым системам. Формальный подход нуждается в дополнении и обогащении содержательным подходом. Например, говоря о валентности, автор распределяет именные классы по шкале от максимальной (5-й, 6-й классы) до наименьшей валентности (21-й и 22-й классы). Однако номер класса сам по себе не может служить объяснением валентностных свойств. Называя причины возникновения нерегулярных корреляций, И. Н. Топорова косвенно называет и причины разных корреляционных характеристик отдельных классов. Возможно, что лексико-семантические свойства класса также влияют на его корреляционные возможности.

Во второй главе (автор — И. С. Рябова) дается описание системы именных классов в не исследованном прежде языке дабида (диалект кимбололо). Следуя пониманию класса как согласовательной парадигмы, И. С. Рябова выделяет полный набор диагностических контекстов, состоящий из определительных и предикативных конструкций, и выделяет 15 именных классов, каждый из которых получает далее развернутую лексико-

морфологическую и синтаксическую характеристику. Ценность предложенного описания безусловна, и оно заполняет одно из «белых пятен» бантуистики.

Важным для языков банту является вопрос об освоении иноязычных слов и способах их включения в систему именных классов. В четвертой главе монографии (автор — А. Н. Журицкий) рассматриваются типы грамматического оформления заимствований в языках зулу, шона, кикуйю, рунди и ганда, в пятой главе (автор — А. Д. Луцков) — в языках шона и ндебеле. В качестве приложения в монографии помещен словарь заимствований в языке зулу. Авторы видели свою задачу в том, чтобы вскрыть грамматические процессы, сопровождающие ассимиляцию слов, заимствованных из европейских и неевропейских языков, и определить те фонетические и семантические факторы, которые влияют на классную принадлежность заимствованного слова. Эта задача решается детально и сопровождается рядом интересных типологических наблюдений — о меньшем репертуаре классов у заимствований вплоть до выделения одного класса-поглотителя в языке кикуйю, о тенденции к вхождению заимствований в фонетически упрощенный подкласс (с. 188). Во «Введении» к монографии справедливо подчеркивается, что «освоение иноязычной лексики является наиболее заметным последствием расширения коммуникативных функций языка и контактирования языков» (с. 3—4). Анализ заимствований исходит из коммуникативной функции и номинативных потребностей языка открывает новые перспективы. Здесь может идти речь не только о выделении лексико-семантических групп внутри иноязычной лексики и анализе семантических изменений заимствованного слова по сравнению с исходным, но прежде всего — о процессах, сопровождающих ассимиляцию заимствованных слов в живом речевом употреблении. Практика работы с информантами, принятая в секторе африканистики, предоставляет в этом плане большие возможности.

Традиционный описательный подход, обращенный к языку как к системе, — это одно из направлений, представленных в монографии «Именные классы в языках Африки». Второе направление связано с анализом функционирования языка, его внешней семантики, текстовых процессов.

Большой интерес представляет глава третья, посвященная значению «начальной гласной» именного префикса в языках гусии и курия. Рассматривая во введении существующие точки зрения на природу и функциональную нагрузку этого префикса, автор главы И. С. Аксенова ис-

ходит из положения Т. Гивоча о том, что оппозиция «начальный гласный — его отсутствие» соответствует выражению референциального — неререференциального значения (конкретная — неконкретная референция). Последовательный анализ употребления форм с начальной гласной и без нее позволил автору исследовать закономерности употребления форм с препрефиксом и обосновать выводы, суть которых сводится к следующему: а) оппозиция форм с начальной гласной и без нее «у существительных и прилагательных, с одной стороны, и у слов, относящихся к местоименно-глагольной согласовательной синтагме, — с другой, основаны на принципиально различных параметрах» (с. 176); б) признак конкретной — неконкретной референции, выдвинутый Т. Гивочем, является не единственным и даже не основным. Семантический признак, по которому противопоставлены существительные с начальной гласной префикса и без него, — это «комбинация признаков качественного участия, конкретной/неконкретной референтности и определенности/неопределенности» (с. 176); в) в пределах местоименно-глагольной согласовательной синтагмы оппозиция «наличие — отсутствие начальной гласной» претерпевает инверсию и изменяется качественно: в отличие от существительных, отсутствие префикса говорит о немаркированности значения, а его присутствие «свидетельствует о наличии в значении слова дополнительного анафорического признака, в котором реализуется модифицированный референциальный признак...» (с. 177).

Определив начальный гласный как префикс, т. е. как единицу морфологического уровня, автор поставил себя перед необходимостью определить его значение в категориях внутренней, а не внешней семантики. В качестве доминирующего признака префикса у существительных предлагается признак качественного участия; этот признак, к сожалению, страдает некоторой зыбкостью, поскольку полный набор свойств, присущих денотату, на основе которого фиксируется его вхождение в класс и, соответственно, наличие признака качественного участия, по существу совпадает с грамматическими семами (одушевленность, личность и под.), которые являются необходимыми для зачисления в класс. Неудачным кажется отнесение референциального значения и значения определенности к коннотативному. Не вполне понятно — при той раскладке значений, которую предлагает автор, — как связано употребление форм с префиксом и без него — в подлежащем и предикатном блоках высказывания. Возможно, что для снятия возникающих противоречий следует оттолкнуться от

фактов, упоминаемых автором: невозможность препрефикса у личных местоимений, у собственных имен и имен рода, отсутствие префикса у существительного в позиции подлежащего как показатель фамильярно-разговорного стиля, разговорной окраски (с. 141) — ведь именно в разговорной речи опора на экстралингвистическую ситуацию может сделать излишним употребление специального показателя референциальной характеристики. И. С. Аксенова подчеркивает «предварительный, гипотетический характер» сделанных ею выводов. Следует отметить перспективность данного направления, активное использование лингвистического эксперимента, учет стилистических факторов.

В завершающей, шестой главе монографии «О некоторых особенностях поведения показателя класса в языке с громоздкой классной системой» (автор — А. И. Коваль) рассматривается вопрос о системных и текстовых факторах, определяющих лексикализацию классного показателя и окказиональную субстантивацию на материале языка фула. Термин «язык с громоздкой классной системой» представляется неудачным, так как вызывает нежелательные оценочные коннотации (в публикации А. И. Коваль на ту же тему в [1] использован термин «язык с многоклассной системой»). Исходная посылка автора состоит в том, что чем больше именных классов в языковой системе, тем компактнее каждый из классов и, следовательно, тем больше возможностей для лексикализации классного показателя. Процессы «субстантивации по ключевому слову», осуществляющиеся в атрибутивной синтагме (типа *pag-ge rane* «белая корова» / *rane* «корова белой мести»), а также употребление анафорического классного местоимения «при отсутствии полной лексемы» подтверждают это положение. Возможности текстовых номинаций, строящихся в языке фула по системно заданным моделям, исследуются на материале широкого круга поэтических, фольклорных, канонических, письменнолитературных текстов. Автор обращается к моделированию сознания носителя языка, рассказчика, учитывает общий культурный фон, вскрывает роль текстовых номинаций как художественного приема. Особенно интересен случай, когда «лексически нагруженное местоимение» выступает как стилистически маркированная форма текстовой номинации. Так, в реплике эпического героя *Kaa kaaldeten, en kaaldataa ko wanaa kaa kase!* букв. «Только *ee* будем мы обсуждать, ни о чем, кроме *nee*, говорить не станем!» — дважды употребленное местоимение класса KA отсылает к неупомянному существительному *haala* „речь“, здесь скорее в значении

„тема, предмет разговора“» (с. 213). Подобные явления (окказиональная субстантивация, использование местоимения 3 лица как выразительной поэтической номинации) можно встретить в языках другого типологического строя (ср. у Блока: *Молчали желтые и синие, В зеленых плакали и пели; Он говорил умно и резко* в первой строке стихотворения «Митинг»), однако в случае с языком фула общелингвистический интерес представляет тот факт, что в условиях многоклассной системы классный показатель становится своеобразным лексическим накопителем (А. И. Коваль приводит определение О. Есперсена — «напоминатель») и вносит тем самым свой вклад в развитие номинативных ресурсов языка.

В африканском языкознании сложилась методика анализа, позволяющая дать адекватное и полное описание граммати-

ческой системы бантуских языков. Эта методика продолжает доказывать свою эффективность при обращении к не описанным прежде языковым явлениям. Вместе с тем сложившийся в бантуистике фонд знаний позволяет расширить классическую проблематику и освоить те новые подходы, которые развиваются в современном языкознании. Монография «Именные классы в языках Африки» отражает, таким образом, современный этап развития африканистики.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коваль А. И. О субстантивизации и прономинализации в свете данных языка с многоклассной системой // ВЯ. 1987. № 2.

Резина О. Г.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В 1977 г. в Берлине была основана двусторонняя комиссия германистов ГДР — СССР. Такого рода двусторонние комиссии связывают ГДР с большинством социалистических стран. Их задача состоит прежде всего в том, чтобы укреплять постоянное сотрудничество германистов стран социализма, разрабатывать направления дальнейшего развития этого сотрудничества и конкретные рекомендации и обсуждать представляющие общий интерес проблемы исследования и образования. Каждый год организуется одна научная конференция, как правило, двусторонняя.

Конференции комиссии ГДР — СССР, состоявшиеся в последние годы, были посвящены следующим темам: немецкий классицизм и романтизм — исторические результаты и взаимовлияние (Москва, 1982); тенденции развития немецкого языка начиная с XVIII в. (Росток, 1983); актуальные проблемы лингвистики текста — теоретические предпосылки и методико-эмпирические возможности (Киев; 1984); дидактико-методические проблемы преподавания немецкого языка (как иностранного) в системе среднего специального образования (Дрезден, 1985); страноведчески ориентированные учебные пособия в преподавании немецкого языка: их создание и внедрение (Алма-Ата, 1986); типология и сравнение языков (Тбилиси, октябрь, 1988).

Конференция, проходившая с 1 по 14 января 1988 г. в Бранденбурге (ГДР), была организована как многостороннее мероприятие: в ней наряду с представителями ГДР принимали участие германисты НРБ, ЧССР, Кубы, ПНР, СССР и ВНР. Общая тема формулировалась как «Научно-методические вопросы взаимовлияния отдельных специальных дисциплин в системе среднего и высшего образования при подготовке германистов и преподавателей немецкого языка в социалистических странах».

В первый день состоялось совместное заседание двусторонних комиссий германистов ГДР с представителями комиссий СССР, Польши, Кубы, Болгарии, Вен-

грии и других социалистических стран. В дальнейшем работали пять секций. Пленарное заседание было посвящено организации, содержанию и методам среднего и высшего образования в разных странах. Советскую сторону представляла Ю. М. К а з а н ц е в а (проректор МГПИИЯ им. М. Тареза и сопредседатель двусторонней комиссии германистов ГДР — СССР), выступившая с докладом «Цели, содержание и условия преподавания языка германистам и преподавателям в МГПИИЯ им. М. Тареза».

Секции были сформированы по направлениям: 1) языкознание, 2) литературоведение, 3) языковая практика, 4) страноведение ГДР, 5) методика преподавания немецкого языка как иностранного.

В первой секции в центре внимания находились проблемы обучения в аспекте практического применения теоретико-языковых знаний, прежде всего в области стилистики и лингвистики текста, фразеологии и истории языка. С советской стороны выступали А. И. Д о м а ш н е в (Ленинград) с докладом о теоретических дисциплинах в системе подготовки преподавателей немецкого языка и Н. И. Ф и л и ч е в а (Москва) с докладом о роли истории языка в германистическом образовании.

Во второй секции на первый план выдвинулись вопросы о месте литературоведения в германистическом образовании в разных странах, причем иностранные участники обсуждали также различные методические предпосылки, существующие в литературоведении ГДР. Обсуждались вопросы истории восприятия «Песни о Нибелунгах» и новые тенденции в литературе ФРГ.

Третья и пятая секции тематически отчасти перекрещивались. Здесь велись дискуссии и по таким специальным темам, как обогащение лексикона фразеологизмами и поговорками, возможности и границы применения в преподавании иностранных языков компьютерной техники, последствия дифференцированного обучения преподавателей немецкого языка и переводчиков. Советскую



сторону представлял доклад З. В. Гогличидзе (Тбилиси) «Пути преодоления языковых трудностей при изучении немецкого языка грузинской аудиторией».

В четвертой секции велась дискуссия об основных проблемах статуса страноведения в общенаучной парадигме, а также о его общественной функции. Обсуждались также различные формы преподавания страноведения, соотношение информативного и практически ориентированного страноведения и междисциплинарные связи.

Программа конференции была дополнена двумя беседами за круглым столом:

21—23 сентября 1987 г. в Ереване состоялся III Международный симпозиум по армянскому языкознанию. В его работе приняли участие лингвисты Еревана, Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Душанбе, Вильнюса, Степанакерта, Кировакана, Ленинскана, а также зарубежных стран — ФРГ, Польши, Венгрии, США, Италии, Франции, Дании, Нидерландов, Бельгии, Израиля, Японии. Состоялось около 120 докладов по структуре и истории армянского языка, его генетическим и ареальным связям, типологии. Объектом обсуждения были все уровни и этапы развития языка. Лингвистическому и текстологическому анализу подверглись многие памятник письменности как оригинального, так и переводного характера. Возросло число докладов по социолингвистике. После пленарного заседания работа продолжалась в трех секциях (пленарные доклады ниже рассматриваются в рамках соответствующих секций).

В секции «Сравнительная грамматика армянского языка» прочитано 38 докладов (вместе с пленарными). Рабочими языками секции были русский, армянский, английский, немецкий, французский. Рассматривались генетические связи армянского языка с родственными, проблемы реконструкции и критериев, определяющих достоверность архетипов; в свете данных сравнительного языкознания определялась специфика фонетико-фонологического, морфологического и лексико-семантического строя армянского языка, предлагалась новая интерпретация материала.

Среди докладов на общие проблемы следует отметить доклад Г. Б. Джаякяна (СССР) «Языковая ситуация Хайасы и армянский язык», где обосновывался тезис, в соответствии с которым основным языком Хайасы был армянский, так

а) по вопросу частичного обучения студентов-германистов из социалистических стран в ГДР; б) о повышении квалификации преподавателей немецкого языка.

Участники получили возможность прослушать сообщение о X Конгрессе писателей ГДР, состоявшемся в Берлине в ноябре 1987 г., сделанное Х. Рихтером (Йена). В дополнение к этому состоялась лекция президента Союза писателей ГДР Г. Канта, перешедшая в оживленный обмен мнениями.

*Флейшер В.*

*Перевел с немецкого Гестелец Я. Г.*

как доминирующие в государстве армянские племена жили на Армянском нагорье и в соседних районах до XII в. до н.э., т.е. раньше эпохи, к которой принято относить приход армян в Малую Азию. В докладе Э. Б. Агаяна (СССР) «Армянская календарная система и система армянского летоисчисления» уточняется авторство первого списка армянского календаря: автором устойчивого списка он предполагает не Ширакаци, как это считается, а Антанаса Глакаванеци. Т. В. Гамкрелидзе (СССР) в докладе «Архаизмы древнеармянской системы консонантизма в свете „глутальной теории“» пересматривает традиционный взгляд на происхождение и.-е. консонантизма, в частности, армянского, система смычных которого автором признается как исключительно архаичная, чем снимается тезис о передвижении согласных в армянском. В докладе К. Х. Шмидта (ФРГ) «Индоевропейская основа протоармянского языка» обсуждались как общие методические принципы реконструкции и.-е. основ протоармянского, так и недавно предложенная морфологическая реконструкция медиопасива. В докладе Э. Г. Туманяна (СССР) «К проблеме ревизии восстановленных и.-е. архетипов» предлагается комплекс правил, совокупное применение которых может служить достаточно надежным критерием верификации получаемых архетипов. Доклад Т. Венемана (ФРГ) был посвящен анализу последовательности звуковых изменений, в частности, сдвигов в структуре слога от праязыкового состояния до фиксированного древнеармянского языка. Автор полагает, что такие сдвиги происходят в цепях улушения слоговой архитектоники.

Много докладов было посвящено вопросам сравнительной фонетики. О рефлексах и.-е. \**tu* в армянском доложил Дж.

Греппин (США). Рефлексы и.-е. \*l были предметом доклада М. А. Агабекян (СССР). Фонетические архетипы с 'рассмотрела Б. А. Ольсен (Дания). Проблему отражения древнего инициального у- в армянских диалектах обсуждал Дж. Вайтенберг (Нидерланды). Говоря о первоначальной связи придыхательности и палатальности звонких смычных, А. Н. Анеян (СССР) реконструирует для армянских звонких первоначальные гортанные и гортанно-палатальные варианты, давшие начало серии согласных с палатальной окраской. Рассматривая дифференциальные признаки взрывных согласных и аффрикат в восточноармянском, А. Писович (Польша) полагает, что их следует искать в простых *p, t, k*, отличающихся ненапряженной артикуляцией. Подсистему армянских смычных и аффрикат на предмет выявления признаков маркированности/немаркированности рассмотрела А. А. Хачатрян (СССР). Н. Г. Саганелидзе (СССР) осветила процессы оглушения звонких и рефлексы и.-е. звонких придыхательных в армянском языке. А. Е. Хачатрян (СССР) проанализировал исторические звукоизменения армянского языка, в частности чередование дифтонга с простым гласным в вариантах группы слов. Параллелизм инициальных гласных слов типа *arag/erag* «быстрый», их генезис и отражение в диалектах рассмотрела Д. Г. Костандян (СССР). О характере древнейших армянских согласных с учетом данных и.-е. заимствований в картвельских языках доложил Л. Г. Герценберг (СССР).

Широко обсуждались и вопросы сравнительной морфологии. Ю. С. Степанов (СССР) в докладе «Системные следы и.-е. перфекта в армянском языке» показал наличие следов системного преобразования и.-е. перфекта в компактной группе армянских глаголов на *-em* и в перифрастическом перфекте. Э. Хэмп (США) остановился на интерпретации и.-е. существительных с основой на *\*-io* и *\*-ia*, потерявших в армянском родовые различия. В. Р. Пималестиг (США) рассмотрел вопрос о переходном перфекте в древнеармянском языке, показав процесс трансформации предложения и изменения переходного глагола в переходный. В докладе М. М. Сахokia (СССР) сравнивались два типа эргативообразных конструкций в грабаре, причем конструкция с объектом, оформленным с предлогом *z*, признана вторичной. Супплетивизм парадигмы личного местоимения 2 л. армянского языка был предметом доклада Ц. Р. Арутюнян (СССР), усматривающей специфику армянского в особых системных при-

ципах корреляции основ, образующих супплетивизм. Р. Штемпель (ФРГ) путем сравнительного анализа и.-е. основ на *\*-nt* в армянском выявил их возможные архетипы.

В ряде докладов рассматривалась ареальная характеристика армянского языка, проблемы сравнительной лексикологии и этимологии. Л. А. Сараджева (СССР) в докладе «Армяно-балтийские морфологические изоглоссы» показала, что наиболее близкие связи здесь обнаруживаются в области местоименного склонения и частично в глагольной системе. Проблеме диалектного членения общиндоевропейского праязыка и вопросу генетических связей армянского языка был посвящен доклад О. С. Широкова (СССР). Семантические изменения в дописьменном периоде армянского языка выявил М. Йоб (ФРГ) на основе примеров из лексического списка М. Суодеша. Дж. Болоньези (Италия) в докладе «Расслоенное армянской лексики: смысловые заимствования из греческого» показал, в частности, что лат. *soluta oratio* и арм. *arjak ban* «проза» калькированы с греческого. Р. Ишханян (СССР) по-новому интерпретировал древнейшие топонимы и антропонимы VI—V вв. до н. э. на территории Армянского нагорья. Ареальную характеристику армянских ремесленных терминов и.-е. происхождения дала М. К. Анеян (СССР). Объяснение ряда ландшафтных терминов в свете древних армяно-аланских контактов предложила Ф. А. Елова (СССР).

На секции был предложен ряд новых этимологий. О протоиндоевропейском обозначении силы сообщил Дж. Рассел (США). Этимология армянского слова *sov* «море» была предметом доклада Э. К. Саусверде (СССР). О выражении понятия «другой» в грабаре доложила Ф. Маве (Бельгия). В. Э. Орел (СССР) возвел армянское слово *erkn* «родовые мухи» не к *\*dub-*, как это принято, а к *\*ed-*. В. Г. Джиганян (СССР) в докладе «Заметки о названиях рек Армянского нагорья» дал историко-лингвистический анализ ряда гидронимов. В. М. Мкртчян (СССР) предложил семантический анализ армянских продолжений и.-е. звукоподражательного корня *\*ghab-*, *\*kap-*. Ш. Ламберте-ри (Франция) остановился на анализе армянских глаголов на *-a*, их варьирующих формах и источниках. С. С. Сарьян (США) ознакомил с методикой своего курса «Введение в сравнительное и.-е. языкознание» для студентов.

На секции «История армянского языка и диалектология» был прослушан 31 доклад. С. Г. Абрамян (СССР) в докладе «Импликация и некоторые вопросы

развития армянского языка» выявил ее роль в развитии лексического, морфологического и синтаксического уровней армянского языка и ее специфику в различных страхах последнего. Э. Р. А т я н (СССР), выступив с докладом «Опыт сравнительно-исторического анализа некоторых типологических особенностей современного армянского языка», уточнил отдельные вопросы морфологической типологии как сферы, охватывающей двусторонние знаковые образования языка. Тенденции к гомогенности в армянском языке и основные линии ее развития рассмотрел на всех уровнях О. Л. З а к а р я н (СССР). Возможные соотношения между грамматическим значением и грамматической формой в истории армянского языка нашли отражение в докладе А. С. А б р а м я н а (СССР) «Основные пути развития взаимоотношения между грамматическим значением и грамматической формой в истории армянского языка».

На секции состоялись доклады по социолингвистическим и этнолингвистическим проблемам. Так, В. М. Г р и г о р я н (СССР) в докладе «Армянская диглоссия в условиях средневекового двуязычия» выявил тип диглоссии, в котором оппозиция книжность/нейтральность не основана, как обычно, на оппозиции исконное/заимствованное. Социолингвистический анализ этнодисперсной группы армян на общем фоне этноязыковых процессов рассмотрел А. П. Г а л с т я н (СССР), отметив важность роли национальных школ как фактора сопротивления языковой ассимиляции. З. С. П о г о с о в (СССР) в докладе «Динамика армянского языка в Душанбе» выявил специфику языка, которая отражает гетерогенность групп, использующих армянский язык в семейном общении в условиях двуязычия и многоязычия. Этноязыковые процессы в кавказской Албании в I—V вв. н.э. явились темой доклада А. А. А к о п я н а и А. П. Г а л с т я н а (СССР). Авторы считают, что в этот период этнос с единым языком, культурой и самосознанием здесь еще не сформировался и речь может идти о метаэтническом образовании. Два доклада касались вопросов армянского алфавита. С. Н. М у р а в ъ е в (СССР) («Древние алфавиты Кавказа: их различия и сходство, проблемы их родства»), анализируя армянский, грузинский и агванский алфавиты, предложил их относительную хронологию: от греческой протосистемы — к армянскому еркатагиру — к грузинскому асомтаврули — к агванскому алфавиту. В докладе Л. Б. Ч у г а с з я н а (СССР) анализируются иллюстрированные инициалы армянских рукописей, отражающие мастерство армянских

художников XIII в. Вопросы интонации утвердительного предложения в грабаре были предметом анализа Н. К. Т а г м и з я н а (СССР), связывающего ее с музыкальной стороной разговорной речи. В докладе Л. О. А к о п я н (СССР) «Связь стихотворной и музыкальной акцентуации в древнеармянских гимнических текстах» структура распева последних трактуется как реликт системы акцентуации раннего периода развития армянского языка. Н. А. К о з и н ц е в а (СССР) рассмотрела неличные формы армянского глагола в функции второстепенного сказуемого, заключив, что изменение системы аспектуальных отношений влечет за собой изменения в семантике тагисных отношений. Б. К. К а з а р я н (СССР), анализируя соотносительные слова в армянском языке, выявил процессы перехода полнозначных слов в служебные. Л. А. Т е р - П е т р о с я н (СССР) говорил об особенностях структуры предложения в армянских переводах с сирийского, отражающих влияние синтаксиса последнего на армянский язык. Доклад А. Г. М а р т и р о с о в а (СССР) был посвящен сопоставительно-типологическому анализу категории определенности — неопределенности в древнеармянском и древнегрузинском.

В ряде докладов давалась оценка отдельным письменным памятникам, определялись их роль и место в развитии армянского языка. В докладе «Лексика произведений автора XIV в. Нерсеса Палианенца» (Ю. А. В а р д а н я н — СССР) дана оценка трудов средневекового униата Палианенца как важного источника изучения среднеармянского языка. О роли переводчика, печатника и ученого-картографа XVII в. Ованеса Анкюрянца в становлении современного армянского литературного языка рассказал Г. К. М и р з о я н (СССР). Сложный путь развития литературного языка XVIII в. был показан в докладе «Общая характеристика языка литературы XVIII в.» (Ш. Л. Н а з а р я н, СССР). Р. Д а н к о ф (США) в докладе «Разговорные выражения в произведениях Мидзура» выделил три слоя тюркизмов в языке произведений Акоба Мидзура. С. Т. З о л я н (СССР) рассмотрел действительную организацию шараканов — раннесредневековых духовных гимнов, принципы их актуализации как ритуальных действий. Н. А. П а р н а с я н (СССР) в своем докладе охарактеризовала развитие новоармянского языка в XVI—XVIII вв., процессы его раздвоения на два литературных варианта. Рассматривая процессы развития лексики западноармянского языка, А. Е. С а р к и с я н (СССР) выявил специфику формирования отдельных ее пластов — архаизмов и нео-

логизмов, а также исторические сдвиги в языке. Л. Зекиян (Италия) высказал в своем докладе мнение о важности сближения двух литературных вариантов армянского языка — восточноармянского (в СССР) и западноармянского (за рубежом). Р. Термеркерын (Франция), рассматривая неологизмы в обоих вариантах армянского языка, выявил общности и различия в их словообразовании, остановившись и на возможностях их сближения. А. Ю. Русаков (СССР) ответил отрицательно на вопрос, является ли язык армянских цыган «боша» диалектом армянского языка. Проблемы языка и письменности в трудах средневековых армянских грамматистов явились темой доклада А. Н. Срапяна (СССР). В. Г. Амбарцумян в докладе «Вртанес Чалыхян и „классический армянский язык“» дает оценку грамматического наследия филолога прошлого века В. Чалыхяна. Л. Г. Брутян (СССР) сделал доклад о категории союзов в свете трудов Давида Непобедимого. Лингвистическое наследие и взгляды Г. Агаяна анализировались в докладе М. А. Баграмяна (СССР). На секции был зачитан и коллективный обзорный доклад по проблемам армянской диалектологии (Г. К. Ганян, Н. А. Мкртчян, В. В. Харатян, Б. Е. Закарян, Г. Г. Геворкян, Дж. А. Барнасян, А. Е. Хачатрян — СССР), в котором на равноуровневом материале характеризовались диалекты (или группы диалектов) отдельных ареалов.

На секции текстологии, лексикологии и лексикографии состоялось 23 доклада. Примерно треть из них освещает проблемы связей армянского языка с иранскими, грузинскими и другими языками, а также текстологические изыскания (характеристика, оценка и лингвистическая трактовка письменных памятников). В докладе «Компьютерный анализ „Истории Армении“ Мовсеса Хоренаци» (Р. Л. Урутян, Г. С. Суфляян — СССР) с помощью средств автоматизации выявляются специфические особенности языка этого произведения V в. — частотность слов, соотношение грамматических категорий и пр. В докладе «О переводе двух словосочетаний из „Истории Армении“ Мовсеса Хоренаци» О. Х. Барсегян (СССР), полемизирует по поводу высказанного в печати предложения исправить «ошибочные» переводы двух словосочетаний, считая, что перевод сделан корректно. При анализе лексик «Повести об Александре Македонском» А. А. Симомян (СССР) выделяются грецизмы, неологизмы, а также уникальные слова и выражения, созданные в процессе ее перевода на армян-

ский язык в V в. В докладе «Квантитативное исследование генетического состава лексики армянского языка» (Н. С. Манасян, СССР) сделан вывод, что интегральный закон распределения Вейбулла является вполне адекватным средством описания и объяснения дистрибуции древних слов в словаре и тексте. А. Терян (США) ставит вопрос о необходимости структурного анализа текста произведения одного из первых оригинальных армянских авторов V в. — Корюна.

В ряде докладов рассматривались связи армянского языка с другими. Предметом доклада Л. Ш. Аванесяна (СССР) были иранские корни в армянском языке, главным образом их вариативные формы, обусловленные свойственными иранским языкам чередованиями. А. Г. Периханян остановилась на армянском *takiš/lakiš* «военный сан» и его когнатах в иранском и армянском, что позволило установить наличие в индоиранском корня *\*rak-/\*rk-*. О некоторых структурно-типологических параллелизмах армянского и новоиндоарийских языков, отраженных, в частности, в категории персональность/неперсональность, агглютинативность во мн. числе и др., говорилось в докладе И. Т. Зограф, Г. А. Зограф (СССР). М. К. Андрионикашвили (СССР), опираясь на специфику звуковых соответствий, установила пути усвоения грузинским языком среднеиранских лексических элементов в эпоху Аршакидов, отделив непосредственные заимствования от тех, которые вошли в грузинский через армянский язык. Г. С. Асатрян (СССР) выявил пласт арменизмов в курманджи (свыше 300 единиц), проникших в курдский язык после XVI в. В докладе «Новые слова и новые значения слов в песнях Нагаша Овнатана» (Н. Г. Оганесян — СССР) дается структурно-семантический анализ слов, не зафиксированных в словарях габара. Говоря о значении краткого трактата Псевдо-Василия в армянской версии, М. Ван Эсброк (Бельгия) датирует текст 452 годом и указывает на наличие в нем трех символов — космогонической, ритуальной и символики благовещения. Об особенностях языка перевода «Книги вопросов Василия Кесарийского» доложила М. Улоджян (Италия). Э. Шютц (Венгрия) на основе анализа иноязычной лексики в среднеармянском расширяет знания о его фонетической системе. М. Стоун (Израиль) сообщил об армянских лапидарных надписях IX—X вв. на Синайском п-ве, которые дают ценные сведения о фонетике среднеармянского языка. Л. С. Овсепян (СССР) рассказала о моделях смешанно-

го типа в словообразовании грабара, выделив в них две разновидности. В докладе Т. М. Аветисяна (СССР) дана генетическая классификация армянских фамилий на основе принципа исконное/заимствованное. Функционально-семантический анализ армянских топоформантов был предложен А. С. Арутюняном (СССР). О математической терминологии ашхарабара XVIII—XIX вв., выделив в ее составе древнеармянские слова, диалектные слова и заимствования, доложила Л. Б. Петросян (СССР). О применении метафор в различных стилях армянского языка сообщил О. Е. Бабалян (СССР).

Были зачитаны и два коллективных обзора по лексикологии и лексикографии. В первом (Е. К. Мелконян, А. Д. Аракелян, Г. К. Хачатрян, А. С. Зейтуниан, А. К. Бархударян, М. С. Ширинян, Л. А. Тер-Григорян, С. М. Григорян — СССР) рассматривались диалектизмы в рукописях «Книги Бытия», элементы народно-разговор-

ного языка в сочинениях Бузанда, проблемы переводной литературы V в., грекофильский перевод «Церковной истории» Сократа Схоластика, библеизмы и способы их образования и пр. В обзоре по лексикографии (Г. М. Амалян, Г. Б. Тосунян, А. А. Оганян, С. А. Асланян, А. К. Барлезиян, А. К. Дарбинян — СССР) говорилось о словнике армянского языка и его средневековых источниках, о конкордансах древнеармянской литературы, о проблеме создания исторического словаря грабара V в., о зарождении армяно-русской печатной лексикографии и др.

На заключительном заседании были заслушаны отчеты о работе секций. Подводя итоги работы всего симпозиума в целом, Г. Б. Джаукян отметил его плодотворность для дальнейших научных изысканий в области арменистики, индоевропейского и общего языкознания.

Туманян Э. Г. (Москва),  
Абрамян А. С.  
(Ереван)

**МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РЕДАКЦИЮ.**  
СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ  
КНИГ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ».  
[ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.  
КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗИТА.]

Кибрик А. Е., Кодзасов С. В. Сопоставительное изучение дагестанских языков. Глагол. М., 1988. 225 с.

Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. Київ, 1988. 236 с.

Abondolo D. M. Hungarian inflectional morphology. Budapest. 1988. 291 p.

Contrastive studies. Hungarian-Japanese / Ed. by Hidasi J. Budapest, 1988. 209 p.

Dutch contributions to the Tenth International Congress of slavists. Sofia, September 14—22, 1988/Ed. by Barentsen A. A., Groen B. M., Sprenger R. Amsterdam, 1988. 645 p.

Funkční lingvistika a dialektika / Eds. Nekvapil J., Soltys O. (Linguistica XVII/1—XVII/2). Praha, 1988.

Feuillet J. Introduction à l'analyse morphosyntaxique. Paris. 1988. 223 p.

Hungaro—Slavica. 1988. X Internationaler Slavistenkongress. Sofia, 14—22 September, 1988 / Hrsg. von Kiraly P., Hollós A. Budapest, 1988. 318 S.

Nicolaas Van Wijk (1880—1941). A collection of essays on his life and work published on the occasion of the 75-th anniversary of the founding of the chair for Balto-Slavic languages at Leiden University / With an introduction by Kuiper F. B. J. / Ed. by Groen B. M., Hinrichs J. P., Vermeer W. R. Amsterdam, 1988.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — Български език  
 ВДИ — Вестник древней истории  
 ВИ — Вопросы истории  
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания  
 ВФ — Вопросы философии  
 ВЯ — Вопросы языкознания  
 ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения  
 ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
 ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
 ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание  
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР  
 ИЯШ — Иностранные языки в школе  
 РЯНШ — Русский язык в нац. школе  
 РЯШ — Русский язык в школе  
 СБНУ — Сборник за народни умотворения  
 СТ — Советская тюркология  
 ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки  
 ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der. Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
 AfslPh — Archiv für slavische Philologie  
 AGI — Archivio glottologico Italiano  
 AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
 AL — Acta linguistica  
 AmA — American anthropologist  
 ANF — Arkiv för nordick filologi  
 AO — Archiv orientalni  
 APAW — Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
 BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague  
 BPTJ — Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
 BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
 BSOS — Bulletin of the school of Oriental studies  
 BzNf — Beiträge zur Namenforschung  
 CAJ — Central Asiatic journal  
 CFS — Cahiers F. de Saussure  
 CJ — The classical journal  
 FPhon — Folia phoniatica  
 FuF — Finnisch-ugrische Forschungen  
 HR — Hispanic review  
 IF — Indogermanische Forschungen  
 IIJ — Indo-Iranian journal  
 IJAL — International journal of American linguistics  
 JA — Journal asiatique  
 JASA — Journal of the acoustical society of America  
 JEGPh — Journal of English and Germanic philology  
 JP — Język polski  
 JRAS — Journal of the Royal Asiatic society  
 JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne  
 JФ — Јужнословенски филолог  
 KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen  
 LM — Les langues modernes  
 MM — Maal or minne  
 MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne  
 MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
 MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
 NSS — Nysvenska studier  
 NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
 PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
 PMLA — Publications of the Modern language association of America

RES — The Review of English studies  
 RÉG — Revue des études grecques  
 RESI — Revue des études slaves  
 RF — Romanische Forschungen  
 RKJL — Rozprawy Komisji jezykowej Lodzk. t-wa naukowego  
 RKJW — Rozprawy Komisji jezykowej Wroclawsk. t-wa naukiwego  
 RLR — Revue de linguistique romane  
 RO — Rocznik orientalistyczny  
 RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa  
 RS — Rocznik slawistyczny  
 SaS — Slovo a slovesnost  
 SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse  
     für Sprachen Literatur und Kunst  
 SFL — Studi di filologia italiana  
 SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu historiu  
 SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
 StO — Studia orientalia  
 SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
 TA — Traduction automatique  
 TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
 TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague  
 TIL — Travaux de l'Institut de linguistique  
 TPhS — Transactions of the Philological society  
 UAJb — Ural-Altäische Jahrbücher  
 UJB — Ungarische Jahrbücher  
 VR — Vox Romanica  
 WW — Wirkendes Wort  
 ZAS — Zentralasiatische Studien  
 ZCPH — Zeitschrift für celtische Philologie  
 ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum  
 ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
 ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie  
 ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen  
 ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
 ZRPB — Zeitschrift für romanische Philologie  
 ZSL — Zeitschrift für Slavistik  
 ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschriften entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

4. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

5. Библиография в журнале оформляется следующим образом.

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи; б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

6. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

8. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого набор материала; корректура авторам не высылается.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.12.88	Подписано к печати 21.02.89	Формат бумаги 70×100 <sup>1/4</sup>		
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт. 74,2 тыс.	Уч.-изд. л. 15,3	Бум. л. 5,0
	Тираж 5639 экз.	Зак. 2431	Цена 1 р. 60 к.	

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6